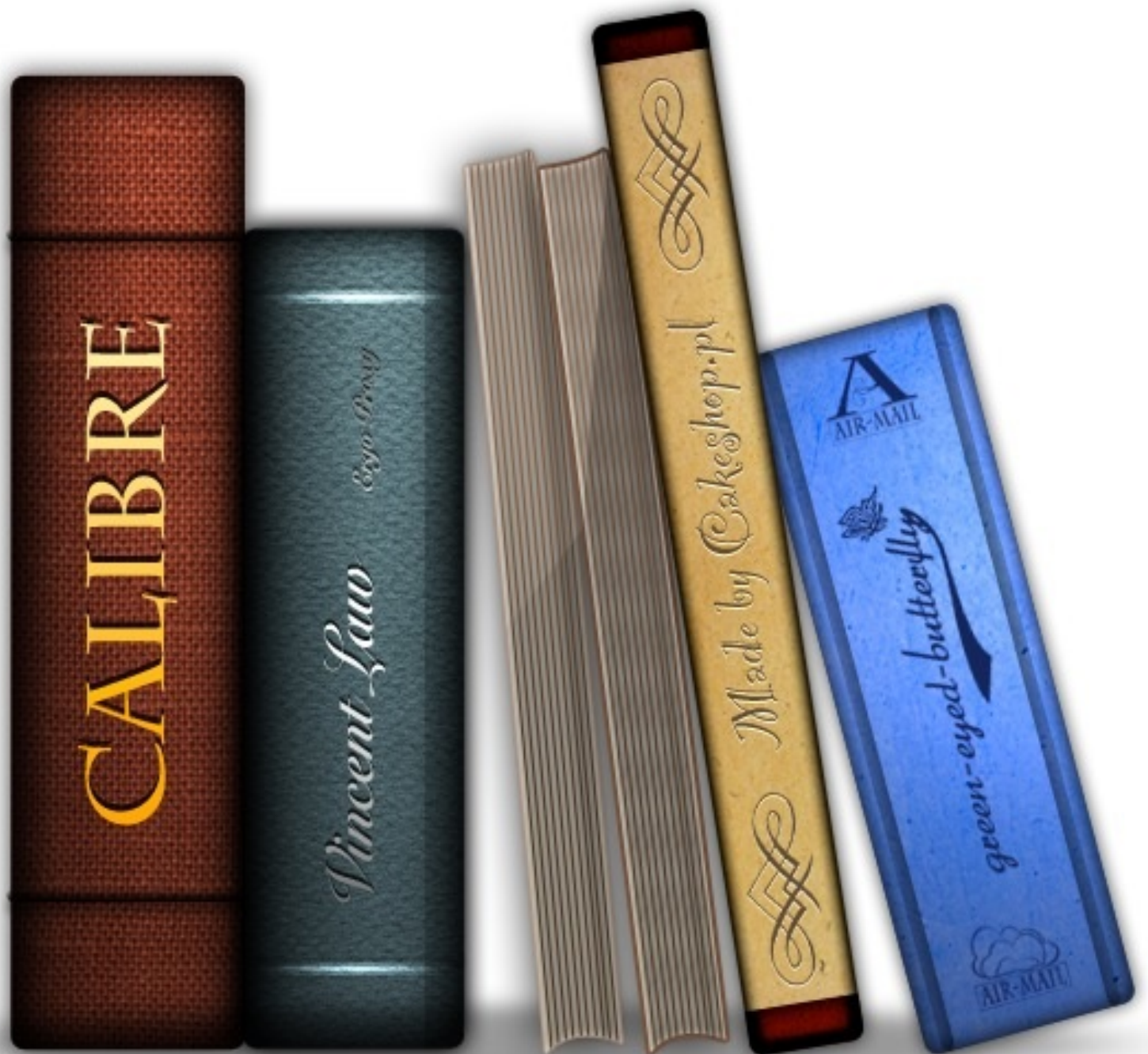


Герой иного времени

Анатолий Брусникин



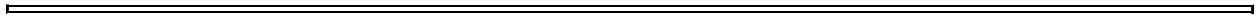
calibre 0.7.44

Annotation

Действие нового романа А.Брусникина происходит на Кавказе во времена «Героя нашего времени» и «Кавказского пленника». Это географическое и литературное пространство, в котором все меняется и все остается неизменным: «Там за добро – добро, и кровь – за кровь, и ненависть безмерна, как любовь».

- [Анатолий Брусникин](#)
 - [Разговор с незнакомкой](#)
 - [Из книги Г.Ф.Мангарова «Записки старого кавказца»](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Зара](#)
 - [Зигзаг](#)
 - [Дарья Фигнер](#)
 - [Капитан Иноземцов](#)
 - [Майор Честноков](#)
 - [Эмархан](#)
 - [Никитин](#)
 - [Алина Сергеевна Незнамова](#)
 - [Два моления](#)
 - [Моление двум Сысяям, благодарственное](#)
 - [Моление Деве Марии о милосердии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)



Анатолий Брусникин
Герой иного времени

Разговор с незнакомкой

«Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть».

А. Бестужев-
Марлинский, «Аммалат-
бек»

Девушка была милой и доброй, хоть очень расстроилась бы, если кто-нибудь счел ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в двадцать лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающей, изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы», это казалось ей оригинальным и европейским. Впервые в жизни девушка совершала самостоятельное путешествие, и нешуточное: из Петербурга на Кавказ, к серным источникам, но не лечить желудок и не искать среди армейской молодежи жениха, как другие барышни. Она собиралась навестить отца, занимавшего важный пост в армии.

Петербургжанка ехала на своих, целым поездом: впереди дорожная карета, запряженная парой каурых англичанок, затем повозка с багажом, еще одна со столичными деликатесами и винами для родителя (он был гурман), да запасные тягловые лошади, да чистокровная кобыла для верховой езды – на случай, если путешественнице надоест качаться на рессорах. Распоряжался караваном пожилой унтер-офицер, которого генерал командировал на север с поручением доставить дочь в сохранности и в назначенный срок.

Первую часть пути, от Петербурга до Москвы, девушка робела и вела себя послушно, но характер у нее был отцовский, смелый, к новым обстоятельствам она привыкала быстро. Мысленно она пообещала себе, что после Москвы всё будет по-другому. В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнеслась бы к племяннице как к взрослой, но уж, вырвавшись из-под родственной опеки, барышня собиралась начать новую жизнь.

Так она и сделала.

Распрощавшись с провожающими на Серпуховской заставе, отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции, в Бирюлеве, велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было. Позади осталось всего 17 верст, лошади нисколько не устали. Но девушка объявила, что желает чаю.

Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяное: «Вы уж извольте распорядиться, как я сказала» – и, сдвинув седые брови, велел кучеру сворачивать. У служивого имелась строжайшая инструкция от генерала с подробным указанием всех перегонов, привалов и ночевок, но за время дороги старик успел привязаться к своей светловолосой подопечной и готов был исполнить любой ее каприз.

Неожиданная остановка огорчила возниц, горничную и лакея. Погода стояла солнечная, опьяняюще свежая, как бывает в середине апреля, и все настроились ехать вперед – под чеканный стук копыт по подсохшему шоссе, под звон бубенцов. И вдруг на тебе!

Слуги хмуро потащили в избу самовар, посуду – им не пришло бы в голову поить барышню станционным чаем из чужих стаканов. Своевольница поднялась в казенную избу, не обращая внимания на кислые физиономии.

Был, однако, некто, кого импровизированная остановка обрадовала.

От самой заставы за экипажем следовала всадница в черном платье для верховой езды и узкополой шляпке с вуалью. Поскольку дама держалась в полусотне шагов от последней повозки и расстояния не сокращала, никто не обратил на нее внимания. Лицо амазонки было бледным, брови сдвинуты; она то откидывала со лба волосы, то покусывала тонкие губы – словом, пребывала в волнении или, может быть, колебаниях. Но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции, узкая рука в кружевной перчатке начертала на груди крест, с уст сорвалось радостное восклицание. Отбросив с виска черный локон, наездница тронула лошадь хлыстиком – та легко запустила иноходью.

Через несколько минут после блондинки дама вошла в зал. Там было пусто. Покидающие Москву редко меняют лошадей на первой станции, а те, кто, наоборот, едет в город с юга, обычно торопятся поскорее достичь заставы и не хотят останавливаться в непосредственной близости от цели своего путешествия.

Пока барышне сервировали стол, брюнетка делала вид, что изучает таблицу с прејскурантом, но, едва слуги удалились, приблизилась к столу, откинула с лица вуаль и прерывающимся голосом сказала:

– Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени. Я

после объясню... А кто вы, мне известно.

Девушка, прежде не замечавшая, что в помещении есть еще кто-то из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомку вопросительно. Та выговаривала слова, держалась, была одета как принято в самом взыскательном обществе.

Петербуржанка сказала:

– Прошу вас садиться. Что вам угодно и откуда вы меня знаете?

– Я следовала за вами от самого дома вашей тетушки на Пречистенской. Я живу там же, неподалеку, но это не имеет важности... Я бы проделала и более длинный путь, лишь бы поговорить с вами.

Удивившись еще больше, барышня не нашлась, что сказать, и снова показала на свободный стул.

– Благодарю... – Москвичка сняла шляпу.

Ее лицо было не первой молодости и не то чтобы очень красиво, но в нем ощущалось что-то необычайно привлекательное. Девушка отметила матовую бледность кожи, интересные тени под густыми ресницами, легкие морщинки по краям рта – и подумала, что, оказывается, можно сохранять приличную внешность и за тридцать, притом нисколько не молодясь.

– Да, я все про вас знаю, – продолжала дама. – Москва – маленький город. Я расспросила всех, кого только могла. У нас с вами немало общих знакомых... Мне рассказали, что вы умны, добры и милосердны...

При этих словах губы блондинки немного скривились – она бы предпочла, чтобы о ней говорили иное, но брюнетка очень волновалась и не заметила ее недовольства.

– ...Я решила вам довериться. Лучшего выбора у меня не будет. Я хочу обратиться к вам с просьбой, касающейся одного человека. – Она запнулась. – Я пока не назову вам и его имени. На случай, если вы откажете... Простите мне эту невежливость и не сердитесь. Сейчас вы всё поймете.

– Слушаю вас, – сказала девушка, очень довольная, что женщина много старше ее годами волнуется и говорит сбивчиво, а сама она так спокойна и сдержанна. – И не волнуйтесь. Хотите чаю?

– Нет, спасибо... Я вижу, что не ошиблась. Вы действительно ангел, как мне и говорили. Но мой рассказ может получиться долгим. Готовы ли вы выслушать?

Хоть и раздосадованная «ангелом», барышня кивнула. Ей становилось всё любопытней. Она не представляла, о чем может ее просить такая интригующая, такая взрослая дама – верно о чем-нибудь необычном. Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу

же начиналось с романтического приключения.

– Кто вы все-таки? – спросила она. – Не хотите называться – не нужно, но все же – кто?

Брюнетка пожала плечами, аттестовала себя коротко:

– Никто. Старая дева. Речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на двенадцать лет моложе, мое детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он, но у нас в семье часто о нем говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея: государь с государыней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шатобриан, дюжина родственников, и среди них он – очень молодой, красивый, в мундире с какими-то орденами. Я подолгу смотрела на него, часто о нем думала. Он казался мне принцем из сказки. Когда он наезжал к нам, я была слишком маленькой и его не запомнила. Потом у него произошла какая-то дуэльная история (тогда они случались гораздо чаще, чем теперь), и он уехал в далекие страны. Их названия были для меня, как музыка: Америка, Испания, Греция. Во времена моего детства в гостиных часто звучали имена «Боливар», «Квируга», «Ипсиланти». Он, должно быть, видел этих великих людей, думала я с восторгом. Сегодня в это трудно поверить, но тогда все любили порассуждать о революциях, юноши мечтали где-нибудь сражаться за чью-то свободу. Но они мечтали, а он – сражался.

Я была подростком, почти девушкой, когда вокруг стали говорить, что надобно сначала избавить от рабства собственных соотечественников, а потом уж заботиться о счастье испанцев или греков. Вы недоверчиво улыбаетесь? Мне и самой странно. Прошло меньше двадцати лет, а кажется, будто это было во времена античности...

Человек, о котором я рассказываю, вернулся из долгих странствий в канун Несчастья. Вы понимаете, о чем я... Это было в исходе 1825 года, – прибавила дама, видя на лице слушательницы недоумение. Та неуверенно кивнула. – Он прибыл в Петербург, кажется, в самый день возмущения. Не знаю, в чем именно заключалось его преступление против власти, но приговор он получил ужасный, по первому разряду, то есть повешение, по конфирмации замененное пятнадцатью годами каторги с последующим сибирским поселением навечно. Навечно, – повторила она медленно, с дрожью. – Мне после шепнули, что в отличие от многих, виновных куда более, он дерзил на следствии и восстановил против себя самого... Нет, не буду об этом. – Дама сбилась, видимо, забеспокоившись, не сказала ли она нечто, могущее испугать собеседницу. – Я не хочу, не должна касаться материй, которые... не имеют значения. Лучше я расскажу о своих

отношениях с... этим человеком.

Она опустила глаза и, не переставая говорить, теперь всё смотрела на скатерть, будто видела там картины из прошлого.

– Вы уже, конечно, догадались, что я полюбила его. Я не могла в него не влюбиться еще заочно – со всеми этими рассказами, с миниатюрным портретом, с девичьим томлением и скукою деревенской жизни. Вероятно, эти мечтания закончились бы тем, что я встретила бы какого-нибудь более или менее обыкновенного человека, обнаружила бы в нем всевозможные достоинства или напридумывала их, вышла бы замуж, и потом была бы счастлива или несчастна, Бог весть. Но вышло так, что по дороге из-за границы в Петербург мой троюродный брат заглянул в наше имение... И я увидела человека исключительного, по сравнению с которым остальные мужчины навсегда утратили для меня всякую привлекательность. Я полюбила уже не по-девичьи, а по-настоящему, на всю жизнь. Это чувство наполнило доверху мое существо и существование. Испытания и страдания, какие принесла мне эта любовь, не способны омрачить счастья, которым она меня одарила. В самые тяжкие минуты я спрашиваю себя: готова ли я была бы променять свой жребий на какой-то иной? И в ужасе содрогаюсь. Нет, никогда!

Москвичка смахнула слезинку. Глаза замороженно слушавшей петербуржанки тоже вмиг увлажнились.

– Итак, мне шел осьмнадцатый год. И вела я себя, как всякая влюбленная девочка. Не сводила с него глаз, повсюду за ним ходила и прочее подобное. Я знала, что очень недурна – мне все это говорили. А он слыл ценителем женской красоты. Я слышала про его любовные приключения, но эти слухи меня не отталкивали, совсем наоборот... И, конечно же, он обратил на меня внимание. Несмотря на неопытность, я понимала, что это обычный интерес мужчины к хорошенькой девице, но надеялась, что он сумеет рассмотреть во мне не только свежее личико и стройную фигурку. Однако я ужасно боялась, что он уедет в столицу, так меня и не узнав. Страх заставил меня совершить самый смелый поступок в моей жизни...

– Вы написали ему признание?! Как Татьяна Онегину? – вскричала барышня, прижав руку к сердцу.

– Нет. Я ночью пришла к нему в комнату, пала ему на грудь и осталась до утра.

Блондинка растерянно моргнула. Она была фраппирована.

– Но... – пролепетала она – и не закончила.

– Я сказала, что я старая дева, но не говорила, что я девица.

Рассказчица наконец подняла глаза. В них не было смущения. Опустить взгляд и покраснеть пришлось барышне.

– И вы не сожалеете о своей... слабости?

– Слабости? Сожалею? – Дама тихонько рассмеялась. – Эта ночь – самое драгоценное воспоминание моей жизни. Я как единственное сокровище берегу память о часах, когда он был полностью мой.

– Единственное сокровище? – переспросила девушка с жгучим интересом, позабыв стеснительность.

– Нет, конечно, нет, – поправилась брюнетка. – Еще у меня есть письма.

– Он вам писал... откуда? – Барышня неопределенно махнула рукой в сторону, где по ее представлению находилась Сибирь.

– Редко, коротко и довольно сухо. Нет, я имела в виду мои письма к нему. В них записана вся моя жизнь. Каждое утро, в течение долгих лет, у меня начинается с одного и того же. Я пишу ему о том, что приключилось со мною за минувший день, о чем я думала, что чувствовала. Это лучшее время суток. Нет, не так. – Она поправилась. – Только в эти минуты я живу. Потому что я с ним. Мне кажется, что он меня слышит. Изза ежедневных писем моя жизнь прошла осмысленно, она не была пустой. Потому что я кому-то ее рассказывала, а это очень-очень важно – оглядываться на каждый прожитый день. За это я тоже должна быть благодарна ему...

– Каждое утро? – Девушка покачала золотой головкой. – Сколько же это получается?

– Несколько тысяч. Но отправляла я меньше, гораздо меньше. Там, где его содержали, дозволялось одно письмо в месяц. Место это столь отдаленное, что частной оказии не сыщешь, туда доходит только казенная почта. Правда, никто кроме меня ему не писал, потому что близких родственников у него нет, а дальние пугливо отстранились, чему я была эгоистически рада. Дозволенная квота вся принадлежала мне. Я не выбирала, какое из написанных за месяц писем отправлять. Я тасовала их, как карточную колоду, и посылала любое. Одни выходили интереснее и были складнее написаны, другие решительно нехороши, но я не хотела выглядеть перед ним лучше, чем я есть. В одном ошибки произойти не могло: каждое письмо дышало любовью. Она была со мною всякий день.

Темноволосая теперь говорила спокойно, даже с улыбкой, а светловолосая начала всхлипывать, ей пришлось достать платок.

– Вы отправляли всего двенадцать писем в год? А остальные?

– Сжигала. На что их хранить? Я и сегодня утром ему написала, да не пошлю. Хотите прочесть? Никогда никому не показывала, но вам, если

пожелаете...

Она потянулась к бисерной сумочке, прикрепленной к поясу.

Блондинка запротестовала:

– Нет, зачем же я буду вторгаться... – Но вдруг сверкнула глазами. – ...

Да, хочу! Очень хочу!

Она взяла листок, исписанный ровным и мелким, очень красивым почерком.

– Вы перебеливаете? Хоть потом и не отправляете?

– Конечно. Перебеливать и убирать из письма лишнее – это самое приятное.

Вот что говорилось в письме:

Милый друг, я долго размышляла, пытаюсь понять Ваше решение, показавшееся мне невыносимо жестоким, и наконец мне сделалось ясно, что Вы, как это всегда бывает, правы. Я больше не досаую на Вас, я досаую на себя за недостаточное умение понимать Вас и недостаточное доверие к Вашим поступкам.

День мой был светел, как всякий день после истечения срока Вашей каторги. Хоть, желая утешить меня, Вы и писали, что бремя Ваше не такое уж суровое, положение Ваше сносно, а работы не тяжелы, при одной мысли о цепях, оскорбляющих Ваше – нет, не достоинство, его цепями оскорбить нельзя, – Ваше вольнолюбие, сердце мое разрывалось от негодования. Слава Богу, с этим покончено, ликовала я, и принуждение находиться в далеком, диком краю без возможности когда-либо его покинуть казалось мне почти безделицей по сравнению с перенесенными Вами муками. К тому же, Вы знаете, я столько лет ждала окончания каторжного срока как великой недостижимой мечты еще и потому, что надеялась вновь увидеть Вас, соединиться с Вами. Я, как Вы несомненно помните, имела дерзость проситься Вам в жены. Вы ведь не рассердились? Вы знаете: мне все равно, венчанной или нет, лишь бы быть с Вами рядом, но, согласно существующим установлениям, с тем, кто пребывает в вечной ссылке, дозволено находиться лишь законной супруге.

Целую неделю, после получения Вашего письма с новым адресом, я писала о всяких пустяках, чтобы не касаться главного – своего горестного недоумения. Ведь Ваш ответ на мое бесстыдное предложение взять меня в жены пришел через

тринадцать бесконечно длинных месяцев! Я не знала, что и думать, и лишь твердая моя вера, что, пока я жива, с Вами ничего случиться не может, уберегала меня от отчаяния. Но вот, наконец, почта доставила письмо. И что же? Я узнаю, что, едва выйдя с каторги, Вы подали прошение о замене вечной ссылки отданием в солдаты и не хотели писать мне, пока не окажетесь на Кавказе!

Глупое мое сердце сжалось от мысли, что Вы поступили подобным образом, не желая венчаться со мной. «Он сделал это, потому что горд и не хочет жалости, – твердила себе я. – Нужно написать, нужно объяснить ему, что это не жалость и не милосердие, а нечто совсем другое!» Потом, вовсе утратив разум от горя, я говорила себе: «Не обманывайся. Он тебя не любит, любовь у мужчин не длится столько времени. Пока всё исчерпывалось редкой перепиской, он готов был тебя терпеть, но ныне, когда встреча сделалась вероятной, обманываться и обманывать больше не хочет. Ему милей мысль о пуле, нежели о жизни с тобой».

Простите меня, милый. Я кажусь себе умной, но часто бываю слепа и глуха. Вернусь к вчерашнему дню, когда у меня вдруг открылись глаза. Я где-то была, с кем-то разговаривала (не помню, неважно), и вдруг внутри у меня словно зазвучала дивная музыка. Пелена упала, я прозрела.

Вас не могли не покоробить мои прекраснодушные мечтания о жизни в суровой стране, среди дикой природы. В детстве я слишком увлекалась Бернарденем де Сен-Пьером, и с тех пор голова моя наполнена ерундой о Поле с Виргинией среди девственных лесов. На самом деле сибирская жизнь, должно быть, груба и безобразна, а положение бесправного ссыльного, без того тяжелое, стало бы вдвойне унижительным для Вас, если бы я оказалась рядом. Мне следовало думать не о своих чувствах, а о Ваших. Мой приезд усугубил бы Ваши страдания.

Я перечитала Ваше письмо и увидела, что, оглушенная обидой, проглядела в нем главное: Ваше обещание. А ведь, казалось бы, я достаточно Вас знаю. Вас никогда не устроит половина, Вам нужно всё – или ничего.

Друг мой, Вы не отвергаете меня. Но Вы соглашаетесь со мной соединиться либо вольным человеком – либо никак.

Принимаю Ваше решение с полным пониманием и любовью. Если Бог есть, Он сохранит Вас для меня, а меня для Вас.

Что бы ни случилось, Ваша А.

Читая, петербуржанка несколько раз неблаговоспитанно шмыгнула носом, но не заметила этого. Дважды на бумагу упали слезинки.

– И вы сжигаете такие письма? Каждый месяц? – спросила она глуховатым, будто простуженным голосом.

Дама грустно улыбнулась.

– Нет, только раз в год, осенью, когда в саду жгут листья. Проглядываю, вспоминаю, что было, – и бросаю в костер. Они ведь никому не нужны, эти неотправленные письма, даже мне самой – как никому не нужна опавшая листва. Исполнила свое назначение, осыпалась, и Бог с нею.

– Но теперь вы можете посылать всё, что пишете! У солдата, пусть даже из ссыльных, ограничений на почту нет!

– Могу. Но не делаю этого. Боюсь, его заметет таким обильным листопадом. – Она рассмеялась. – Я теперь посылаю ему письма дважды в месяц, ни в коем случае не чаще. И слежу, чтоб письмо было не длинным. Раньше-то иной раз выходило страниц по десяти.

– Но почему?

Очевидно, по поведению собеседницы москвичка уже поняла, что ее просьба будет выслушана благосклонно, и потому позволила себе перейти от искательности к некоторой назидательности, естественной при разговоре с юной девушкой.

– Мужчины не любят, когда на них обрушивают чересчур много любви. Во всяком случае такие мужчины. Запомните это. Не делайте обычной женской ошибки, не пытайтесь сажать птичку в клетку вашей любви. Вы когда-нибудь тоже полюбите – и, если я вас правильно разгадала, полюбите человека недюжинного. Это великое счастье, но оно потребует всей вашей души и всего вашего ума.

Барышня почувствовала себя польщенной, но в то же время и задетой. Она уже два с половиной месяца воображала, будто влюблена в одного конногвардейца.

– А отчего вы думаете, что я еще не полюбила?

– Вижу. – Дама улыбнулась на нотку обиды в ее голосе. – У вас спящее лицо. Женщина просыпается, когда в первый раз по-настоящему полюбит. Я с таким же, как вы, лицом ходила и будто во сне жила, пока однажды в декабре под нашими окнами не зазвонил колокольчик. Сейчас мне кажется, что этот звук меня и пробудил... А впрочем, давайте проверим, любите вы или нет. Тот, о ком вы подумали, когда сдвинули брови... Скажите, бывает,

чтобы прошло пять минут, а вы ни разу о нем не вспомнили?

– Разумеется, бывает!

– А бывает, чтобы вы посмотрели на кого-то другого и сказали себе: «Какой красивый мужчина!»?

– Да. Я ведь не ханжа! Но мой... избранник, – не без колебания употребила барышня слишком ответственное слово, – очень хорош собой, я смело могу сравнивать его с кем угодно.

– Вам за него страшно – ежечасно, ежеминутно? Вы боитесь, что он разобьется, выпав из седла? Заболеет неизлечимым недугом? Что безжалостный бретер вызовет его на смертельный поединок? Что безумец на улице бросится на него с ножом?

– Что за дикие фантазии! Мне и в голову подобное не приходит!

– Ну так вы скоро его забудете. Разлука и новые впечатления об этом позаботятся. Я вам скажу, что такое любовь. Это каждоминутный непрекращающийся страх. Такой сильный и постоянный, что других страхов уже не остается. Юной девушкой я много чего боялась, всяких пустяков: мышей, тараканов, грома, цыган – всего не упомяну. А теперь боюсь только одного: что он умрет, и я останусь на свете одна... Но наши испытания близятся к концу. Он больше не каторжник и не вечный сибирский ссыльный. Он солдат, он на Кавказе! Скоро мы соединимся!

Залюбовавшись счастливой улыбкой, омолодившей и осветившей лицо дамы, и не желая, чтобы это сияние померкло, петербуржанка сказала очень осторожно:

– Но ведь он – нижний чин, подневольный человек. В известном смысле его положение тяжелее, чем у ссыльного...

Улыбка не померкла. Дама спокойно ответила:

– Он обещал, что быстро выслужит офицерский чин, а потом немедленно подаст в отставку.

– Вы не знаете, как трудно достаются эполеты людям такой судьбы. Отец, он генерал, рассказывал мне, что...

– А вы не знаете его! – Брюнетка, вспыхнув, перебила генеральскую дочь. – Он слов на ветер не бросает! Если пообещал, обязательно исполнит. – И смутилась. – Простите меня, простите! Вы не рассердились? Я так боюсь, что вы не согласитесь выполнить моей просьбы!

– Сделаю всё, что будет возможно. Говорите, – твердо ответила блондинка и крепко сжала обе руки собеседницы. – Вы желаете, чтобы я разыскала вашего возлюбленного и что-то ему передала?

Москвичка выразила свою благодарность ответным рукопожатием.

– Да... То есть нет... Искать его не нужно, я вам сейчас назову его имя

и место службы. Ничего ему не передавайте. Просто... пишите мне: как он, здоров ли, не нуждается ли в чем-то. Вот всё, о чем я прошу. Только, ради Бога, будьте осторожны. За такими, как он, бдительно следят. Неизвестно, как может быть истолковано ваше к нему внимание. А пуще того я боюсь, не догадался бы он сам, что я через вас о нем пекусь. Это может ему не понравиться.

– Будьте совершенно покойны, я не подведу ни его, ни вас. – Девушка достала из бархатной ташки нарядную книжечку с карандашиком. – Итак, его имя?

**Из книги Г.Ф.Мангарова «Записки
старого кавказца»
СПб, 1905 г.**

Глава 1

«И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот такая».

Л.Толстой, «Хаджи-Мурат»

Сейчас и тогда. Юный честолюбец николаевской эпохи. Счастливый выстрел. Мечты начинают сбываться.

Человеку, в особенности человеку молодому, свойственно ощущать себя центром мироздания, пупом вселенной. В юности не был исключением и я. Но мне – уж не знаю очень посчастливилось или очень не посчастливилось – на восходе жизни оказаться в орбите действительно крупного человека, после чего во весь остаток дней я более не испытывал иллюзий относительно масштаба своей персоны. Пожалуй, все-таки это была удача. И жалею я сегодня только об одном: как завершилась история этой необыкновенной личности, я так и не узнал и теперь, верно, никогда не узнаю. Разве что по ту сторону Занавеса, до которого мне осталось не более шага.

Всякое время порождает и размножает людей свойственного ему типа. Размах и мелочность, мужество и робость, благородство и низость подвержены моде, как всё на свете. Когда я был молод, особи, подобные тому, о ком я собираюсь написать, почти совсем повывелись. Еще и поэтому он так бросался в глаза – словно чудом уцелевший мамонт среди малорослых зверушек иного климата. Сейчас, в дни моего угасания, вновь настала пора Героев и Демонов, которых расплодилось невиданное множество, и подчас нелегко понять, кто сражается на стороне Добра, а кто на стороне Зла.

Я часто думаю: а каким бы был в двадцатом веке он? Нет, я выразился неверно. Он бы, конечно, был бы точно таким же, эдакие люди в зависимости от веяний эпохи не изменяются. С кем он был бы – вот о чем

следовало бы спросить. С душителями или с разрушителями? Иных вокруг, увы, не вижу. В стороне от событий он точно бы не остался, это было не в его обычаях. Быть может, он сумел бы открыть какой-то иной путь, не знаю.

Я часто мысленно беседую с ним, признаю или оспариваю его правоту. Не преувеличу, если скажу, что вся моя жизнь прошла в воображаемом диалоге с ним. Я часто сверял свои поступки по его стандарту. Если я не сумел прожить свои годы в покое и довольстве, виной этому он. Но если я получился не таким пустым и скверным, каким обещался, за это тоже следует благодарить его. В минуты трудного выбора я спрашивал себя: а как поступил бы он? Ответ всегда был ясен, ни разу не возникло ни малейшего сомнения. Его стандарт не оставляет почвы для колебаний. Бывало, я не находил в себе достаточно силы, чтобы ему соответствовать, но, даже совершая что-то, в его терминологии, *hors de considération*, я знал, что нехорош, а это знание, согласитесь, уже многого стоит.

С тех пор, как наши дороги пересеклись и разделились, миновало больше шестидесяти лет. Сменился век, сменилось всё. Из своего поколения я остался один. Никого из тех, с кем я дружил или враждовал в первой молодости, больше нет. Смотрясь в зеркало, я пытаюсь разглядеть под складками дряблой, усталой кожи прежнего себя (этому греху предаются все старики), но не обнаруживаю и тени своего тогдашнего облика. Я не помню своего юного лица. Это, пожалуй, неудивительно. Портретов с меня никто не писал, а фотографирование вошло в обиход много позднее. Вспоминается что-то овальное, с ухоженными височками и подкрученными тонкими усиками, с золотистой прядью, со старательно сдвинутыми бровями – мне так хотелось выглядеть не юным и свежим, а пресыщенным и недовольным.

Читая о моих кавказских приключениях, нельзя забывать, что я был очень молод и, как водится в этом возрасте, глуп. Незадолго перед тем мне сравнялось двадцать три года. Правда, в те времена этот возраст не казался таким детским, как ныне. У всех на памяти еще были министры и полководцы немногим за двадцать, вроде Питта Младшего или братьев Зубовых, а также юные фаворитки, под каблучком которых оказывались монархи и монархии. И, конечно, каждый небогатый и неродовитый офицерик вроде меня свято помнил, что Бонапарт стал генералом в двадцать четыре. Еще только отправляясь на Кавказ, я чуть ли не до дня подсчитал, сколько мне остается до тулонского возраста Наполеона. Вышло два года, срок по моим представлениям очень солидный, почти вечность.

Я, однако, был достаточно благоразумным юношей, чтоб понимать:

времена бонапартов закончились и никакие подвиги не превратят меня за два года из подпоручиков в генералы. Что ж, я был согласен на что-нибудь менее недостижимое: флигель-адъютантские аксельбанты, женитьбу на дочери главнокомандующего или картежный выигрыш в сто тысяч. Не стоит презирать прагматичность моих мечтаний, такое уж это было время. Родись я четвертью века ранее, грезил бы о доле Цезаря или Брута.

Таких, как я, кто своей волей перевелся из столицы в Кавказский корпус, вокруг было немало. Кто-то сбежал от долгов, кому-то, как мне, служить в гвардии оказалось не по средствам, кто-то желал пощекотать себе нервы приключениями, и все без исключения рассчитывали на крестик и внеочередной чин. Горская война в протяжении чуть не полувека была молодому российскому офицерству и школой войны, и лотереей счастья.

К началу моего повествования я пробыл на линии немногим более полугода. Вначале Фортуна обласкала меня, оправдав самые смелые надежды. Коротко расскажу, как это случилось. Это воспоминание, не скрою, мне не то чтобы приятно или лестно, но оно меня забавляет.

По прибытии на Кавказ я попросился в боевой отряд, предназначенный для экспедиций вглубь немирной территории. У меня уж все было рассчитано. Я знал, что до весны похода не будет, и намеревался провести осень и зиму в подготовке к будущим подвигам. Упорства мне было не занимать. С детства оно, наряду с самолюбием, было сильнейшим из качеств моей натуры. Оба эти свои достоинства (если, конечно, считать их таковыми) я употребил в полной мере.

Мне во что бы то ни стало хотелось вызывать в своих новых сослуживцах, опытных кавказцах, любопытство и восхищение. Первое оказалось легко. Для этого достало моей неюношеской – а впрочем, может быть, как раз очень даже юношеской – рассудочности, которая в возрасте более зрелом меня совершенно покинула.

Я приехал со специально составленным сводом правил новой жизни и очень строго его придерживался. Вовсе не играть и не пить вина, как я полагал, мне будет невозможно – товарищи отвернутся. Поэтому пить я постановил не более двух стаканов вина за раз, а в карты играть на особо выделенную четверть жалования, ни в коем случае ее не превышая. В результате, как это обычно бывает при расчетливой игре, я все время был в небольшом выигрыше, а пьяным меня никто не видывал, отчего в полку укрепилось мнение, будто я обрусевший немец (это неправда, моя фамилия «Мангаров» азиатского корня). Но любопытство старых служаек я стяжал не умеренностью, а своими воинственными упражнениями.

На зимних квартирах кавказские офицеры жили лениво. Если нет

дежурства, спали допоздна, ходили затрапезно, а о занятиях фрунтом у нас никто и не думал. Я же, постановив как можно лучше подготовить себя к грядущему Тулону, усердно осваивал науку войны по заранее составленной программе. В нее входило укрепление мышц и выносливости, джигитовка, рубка лозы и в особенности практикование в стрельбе. Я был наслышан о невероятной меткости «хищников», как у нас называли враждебных горцев, и думал превзойти их в мастерстве.

Если мои купания в холодной речке, манипуляции с ядрами, заменявшими мне гири, держание в вытянутой руке ведра с водой, беготня вверх-вниз по крутому склону вызывали лишь сожалеющие взгляды и добродушные насмешки, то успехами в стрельбе я сумел-таки завоевать некоторый капитал почтительности. Я предусмотрительно начинал огнестрельные экзерсисы на отдалении от лагеря и устроил тир на ближайшем лугу, лишь когда добился недурных результатов. Вот тогда-то, месяца через полтора после начала занятий по французскому учебнику «L'art du tir»,^[1] я и показал товар лицом.

Томящиеся бездельем офицеры, а также не обремененные обязанностями старые солдаты собирались посмотреть на меня. Мой денщик с важностью раскладывал на изгороди крупную осеннюю ежевику. Я вставал в пятнадцати шагах и сшибал ягоды одну за другой, все реже промахиваясь, а позднее и вовсе не допуская ни одной ошибки. У меня было правило выпускать по сто пистолетных зарядов каждый день.

Смотрелся я живописно. Пока мой Степка заряжал, я со скучающим видом позевывал, потом – бах! – и с жерди слетала очередная мишень. Помню прилив жаркого восторга, когда разжалованный за дуэль однополчанин (он слыл «отчаянной башкой») сказал: «Да, брат, не хотел бы я оказаться с тобой на барьере».

Однако карьерная польза мне вышла не от пистолета, а от ружья.

Я привез с собой отличный штуцер; из него я тоже выпускал ежедневно по сотне пуль, но только уже в послеобеденное время. Основательный французский учебник посвятил меня в тайну безупречной меткости, которая достигалась двумя условиями: твердой опорой и идеальной пристрелянностью. Первое я обеспечил, снабдив винтовку сошками, какими пользуются горцы. Поручкой второму условию была точнейшая идентичность зарядов – вес и форма пуль, количество и качество пороха измерялись мною при помощи специального аптекарского инструмента. Еще одну дополнительную гарантию меткости я ввел сам. Нарезной ствол позволял посылать пулю гораздо дальше, чем можно прицелиться невооруженным глазом. Чтобы усилить этот доставшийся мне

от природы инструмент, я прикрепил к дулу сверху подзорную трубку, а на ее стекле прорезал крест, исполнявший роль прицела. Мое изобретение ужасно мне нравилось. С его помощью – если не было ветра – я научился без промаха дырявить небольшую тыкву на почтенной дистанции в пятьсот шагов. На более коротком или более длинном расстоянии моя трубка пользы не приносила – очевидно, нужно было как-то сдвигать угол прицела, а этого я не умел. Но мне вполне хватило меткости на пятиста шагах, чтобы потрясти воображение выдавших виды кавказцев и заслужить у них, наконец, желанное восхищение.

Как я уже сказал, это редкостное, хоть малоприменимое на практике умение мне очень пригодилось.

Едва в предгорья северного Кавказа пришла весна, наш отряд в составе нескольких батальонов и казачьих сотен выступил в поход. Не буду рассказывать, в чем состоял смысл этой неисторической операции, – сегодня это вряд ли кому-то интересно. Довольно сообщить, что на третий день мы встретились с неприятелем, причем вышло так, что противоборствующие стороны оказались на двух длинных, плавных склонах, опускавшихся к долине неширокой речки. День был солнечный, воздух прозрачен, и мы видели врага, как на ладони, что в кавказских делах случалось редко. Пользуясь тем, что наши пушки еще не одолели перевал, «хищники» роились перед нами несколькими скопищами, в каждом по сотне-полторы всадников. Некоторые лихачи выносились вперед, к речке. Им навстречу выбегали наши охотники. Между этими немногочисленными стрелками и происходил настоящий бой. Я впервые увидел, как воюют конные джигиты. По одиночке, с одной плетью, совсем слегка трогая ею коня, они неслись вперед, выхватывали ружье, стреляли и тут же поворачивали обратно, с поразительной ловкостью перезаряжая на скаку свое длинноствольное оружие.

Однако и смельчаки сходились не ближе сотни шагов, так что особенных потерь ни у нас, ни у них пока не было. Наугад пущенные пули, правда, летали где им заблагорассудится, в том числе и над моею головой, так что я чувствовал себя участником настоящего сражения и был несказанно рад, что нисколько не трушу.

Рота, в которой я состоял субалтерном, расположилась цепью чуть ниже нашего штаба – то есть, на максимальном отдалении от речки и противника. Я всё поглядывал на нашего главного начальника генерала Фигнера, в ту пору командовавшего Средне-Кавказской линией, и, успокоившись по поводу своей храбрости, ломал голову, как бы мне отличиться, коли уж судьба поставила меня прямо под носом у его

превосходительства.

Тут на вершине противоположного склона, то есть примерно в симметричном по отношению к нашему штабу месте, тоже показалась кучка всадников с бело-зеленым значком. Один выехал вперед и стал рассматривать наше расположение. Он был, кажется, длиннородый, в большой папахе, обмотанной чалмой. Солдаты вокруг меня загудели: «Шмель, Шмель, сам пожаловал!». Я потихоньку поднялся к генеральской свите, где все тоже живо обсуждали, Шамиль это или нет. Пожилой полковник, видно, из знатоков, всех разочаровал – он узнал стяг одного из шамилевских наибов, Саид-бека.

При взгляде на подзорные трубы, которые начальники и адъютанты устали на предводителя мюридов, я вострепнулся. Вот он, мой шанс!

Денщик был послан за штуцером. Поскольку наша рота лениво и вразнобой, больше для развлечения, постреливала в сторону «хищников», не было ничего странного, что и офицер сделает то же самое.

Вроде бы по случайности встав так, чтобы генерал не мог меня не заметить, я установил винтовку на подпоры и стал неторопливо целиться.

– Смотрите на подпоручика, смотрите! Что это он? – слышалось сзади, но я не обращал внимания.

Саид-бек (в стеклышко мне было теперь хорошо видно, что у него действительно длинная густая борода), следуя горским представлениям о величавости, сидел в седле неподвижный, как конная статуя. Расстояние от моей точки склона до противоположной составляло как раз пятьсот шагов – эту дистанцию я научился определять без ошибки. Боялся я только одного: что в миг выстрела караковая лошадь наиба мотнет головой или переступит копытами.

Задержав дыхание, я как мог плавно нажал крючок. Дым помешал мне разглядеть, удачен ли выстрел. Бросив штуцер, я нетерпеливо выпрямился – и увидел безо всякого увеличительного стекла, как всадник покачнулся и всплеснул руками.

– Убит! Вот это выстрел! – шумели за моей спиной. – Ваше превосходительство, смотрите!

Я закашлялся от волнения.

К длиннородому с двух сторон кинулись мюриды, чтобы снять его с седла, но он оттолкнул их, выпрямился, развернул лошадь. Покачиваясь, но не падая, быстрой рысью поскакал вверх и через несколько мгновений скрылся за вершиной холма. Свита последовала за ним, а минуту спустя стали уходить и остальные «хищники».

Хоть наиб был всего лишь ранен, но выходило, что бой выигран

благодаря одному моему выстрелу. Наша передовая цепь уже переправлялась на тот берег.

Опускаю лестный разговор с генералом, как и обратный путь, когда я впервые в жизни чувствовал на себе сотни глаз и ощущал себя героем. Мысли мои были об одном: какое меня ждет отличие – чин и крест или только что-то одно?

Награда превзошла мои самые отчаянные грезы. По возвращении в Серноводск, где находилась главная квартира Средне-Кавказской линии, генерал Фигнер, во-первых, произвел меня в поручики (ему на поход было дано право на три обер-офицерских производства); во-вторых, я получил золотую саблю, что ценилось много выше обычного ордена; в-третьих, его превосходительство предложил щедрый выбор: остаться при нем ординарцем либо получить самостоятельное командование – накануне пришло известие, что от лихорадки умер комендант одного из кабардинских фортов.

Ординарцев или адъютантов среди моих ровесников было пруд пруди, но начальник целой крепости – дело иное, поэтому я, не задумываясь, попросился в коменданты и тем самым продемонстрировал, что моя юношеская расчетливость была не слишком основательного свойства. Не последнюю роль в моем решении сыграло ужасно понравившееся мне название форта – Заноза.

Фигнер похвалил мой «неискательный выбор», пообещал «поглядывать» за мною, и, окрыленный, я поспешил к месту своей новой службы.

Глава 2

Форт Заноза. Мои помощники. «Львович». Тогдашнее отношение к «несчастливым». Кунаки. Бдительный фельдфебель

На этом моя блистательно начатая карьера, как скоро стало ясно, и закончилась. Укрепление с задиристым названием когда-то было основано с намерением воткнуть занозу в середину владений непокорных кабардинских князей, но те давным-давно умирились, боевое приграничье сдвинулось к западу и востоку, а маленькая крепость, как это повсеместно у нас случается, исчерпав свою полезность, осталась на иждивении квартирмейстерства, ибо упразднить нечто раз созданное в бумажном смысле очень и очень непросто. Мне мнились стычки с «хищниками», лихие вылазки в горы и новый взлет, однако служа комендантом Занозы отличиться было совершенно невозможно. Чуть не в первый день я с тоскою понял, что мой предшественник поступил куда как неглупо, померев от лихорадки. Иначе ему пришлось бы киснуть и медленно издыхать тут Бог ведает сколько лет.

Начать с того, что гор, рисовавшихся моему воображению, в окрестностях форта не обнаружилось. Лишь какие-то невеличественные и по большей части лысые куэсты (длинные холмы), дремучие кустарники да неширокие долины, изрезанные балками, в которых таились комариные болота. Всё это по весеннему времени было покрыто свежей травой, но легко угадывалось, что в июне, когда не в шутку начнет жарить солнце, зелень выгорит и преобладающей краской пейзажа станет скучный меланж желтого с бурым.

Сам форт представлял собою тесный прямоугольник, внутри которого вокруг маленького плаца стояло четыре турлучные казармы да несколько домиков под соломенной крышей; границу укрепления обозначали земляной вал без единой пушки и ров, бесстыдно заросший колючками.

Еще не осознав, какую штуку выкинула со мной Фортуна, весь полный кипучей энергией, я решил, что именно со рва свою деятельность и начну. Первым же приказом велел вырубить там неуместные заросли – и, что называется, сел в лужу, обнаружив свою кавказскую неопытность. Оказалось, что еще с ермоловских времен рвы нарочно засаживают колючими кустами, ибо продраться через них невозможно, и от внезапного штурма они защищают лучше воды или колья.

Этот азбучный урок со всей возможной деликатностью мне преподавал

хорунжий, командовавший командой казаков. Это был единственный кроме меня офицер, человек немолодой, флегматичный, всё на свете повидавший. Если б не этот мой помощник, я наломал бы черт знает каких дров, а, возможно, и вовсе не справился бы со своей должностью. Донат Тимофеевич, конечно, сразу понял, какого субъекта ему прислали в начальники, и повел себя со мною очень политично, ни разу не дав оплошки. К сожалению, за пределами службы у нас не было совсем ничего общего. Он выслужился из рядовых казаков и предпочитал общество своих станичников, ко мне же приходил исключительно за «распоряжениями». Выглядело это так. Донат Тимофеевич спрашивал: «А не сделать ли нам то-то и то-то?». «Пожалуй. Вы уж распорядитесь», – благоразумно отвечал я во всех случаях и ни разу не пожалел о своей покладистости.

По пути из Серноводска в форт я предвкушал, как устрою образцовый, на всю линию славный гарнизон. Солдаты не нахвалятся моей заботливостью, начальство наконец увидит, как должно выглядеть идеальное армейское подразделение, после чего моим талантам будет предоставлено более широкое поприще. Но, прибыв в Занозу, я сразу понял, какую кошмарную ошибку я совершил, отказавшись от места ординарца.

В первый день, знакомясь с гарнизоном, я вышел на плац в мундире и кивере, в сверкающих сапогах, обзрел свое нестройное, обтрепанное войско и почувствовал себя павлином, по ошибке залетевшим в царство ворон и воробьев. Потом я ходил попросту, в фуражке и сюртуке, к которому пристегивал эполеты только на подъем флага и утреннюю молитву – ее, за неимением постоянного попа, в Занозе читал ротный писарь. Одним словом, я быстро пал духом и опустился. Единственное, чего я себе не позволил, – это носить бешмет и черкеску, хоть хорунжий и говорил, что одеваться «по-туземному» сподручней. Но еще в отряде, где все без исключения офицеры и даже юнкера изображали из себя заправских горцев, щеголяя папахами, бурками и газырями, я сообразил, насколько оригинальней будет держаться уставного обмундирования. Теперь зеленый сюртук и белая фуражка были моим последним островком самоуважения. Отказаться от них представлялось мне окончательной капитуляцией перед обстоятельствами.

Волею генерал-лейтенанта Фигнера и собственной дурости я оказался начальником пехотной роты неполного состава и кубанской полусотни. Казаками я не занимался вовсе, то была епархия Доната Тимофеевича. В роте же состояло сто тринадцать нижних чинов, фельдфебель, три унтера и семь ефрейторов, а всего 124 души – слишком много, чтобы я мог

приглядеться к каждому или хотя бы запомнить все фамилии. Пребывая в тоске и смятении, я не очень-то и пытался. Нижние чины казались мне на одно лицо – плоское, белесое от вездесущей пыли и по тогдашнему военному обыкновению сплошь с усами. Как, верно, помнит читатель (а может быть, уже и не помнит), государь Николай Павлович, входивший в самые микроскопические мелочи жизни, быта и даже облика своих подданных, регламентировал растительность на лице мужчин, строго определяя, кому усов носить не дозволяется, а кому они вменяются в неукоснительную обязанность. Поэтому, например, Пушкин с Жуковским как лица статские не имели права на это воинственное украшение, а Лермонтов, Марлинский, Полежаев и Тарас Шевченко на портретах глядят молодцами-усачами. По захолустности и отдаленности от начальства, в форте не только казаки, но некоторые солдаты к усам плюсовали бороды.

На первом же построении ротный фельдфебель Зарубайло обратил мое внимание на разномастную группу одетых по-туземному людей, стоявших в самом хвосте ротной шеренги, перед казаками.

– Полюбуйтесь на наших «раскольников», ваше благородие, – язвительно сказал фельдфебель вполголоса, пригнувшись к моему уху. – Стыд и срам. Нету в уставе такого порядка, чтоб нижнему чину в чувяках да папахах расхаживать. А за бороду сквозь строй гоняют.

– Так это не казаки? Велите им переодеться и обриться, да дело с концом, – строго велел я, злясь, что глупо выгляжу в своем новеньком, с иголочки мундире.

Зарубайло просветлел и кинулся было выполнять команду, но вмешался хорунжий. Он объяснил, что это команда охотников, снабжающая ротный котел свежим мясом. Ходить вольно и одеваться по-охотничьи им дозволил прежний комендант, упокой Господь его душу. «А коли они вам ненадобны, пожалуй, передайте их мне», – присовокупил Донат Тимофеевич таким небрежным тоном, что я догадался: делать этого ни в коем случае не следует. Казаки столовались отдельно от солдат, своим кошом.

Приказ об обритии и переобмундировании я пока отменил.

Идя вдоль ротного строя и старательно вглядываясь в невыразительные физиономии нижних чинов (я где-то вычитал, что так всегда делал Ермолов), я наконец добрался до конца шеренги. Тогда-то я впервые обратил внимание на немолодого и, как мне показалось, совсем седого бородача. Волосы при близком рассмотрении оказались не сплошь седые, а очень светлые с небольшой примесью серебра. Одет солдат был в черную папаху, черную же линялую черкеску с тяжелыми газырями, на

поясе у него висел большой кинжал в простых ножнах, а ружье, как впрочем и у других охотников, было не уставное пехотное образца 1808 года, а горское, с маленьким прикладом и длинным дулом. Ничего приметного в этом лице я не усмотрел – разве что взгляд, какой-то очень спокойный и внимательный. Задержавшись на мне не более секунды-другой, он словно бы отметил всё, что его интересовало, и равнодушно устремился в пространство. Помню, мне это не понравилось. Я мысленно взял охотников на заметку, чтобы впоследствии «приструнить» и «обломать» всю эту вольницу. Нарочно спросил у фельдфебеля, как их звать. Он перечислил. У светлородого фамилия была самая что ни есть обыкновенная, не запоминающаяся. Она тут же выскочила у меня из головы.

Несравненно больше меня занимали так называемые «старые солдаты», ротная аристократия, на которой держится весь порядок. Хорунжий посоветовал мне отличить их особо и сразу наладить добрые отношения. От мнения, какое сложится у них о командире, зависит очень многое.

Со «стариками» я познакомился, собрав их перед комендантским домом. Их было человек пятнадцать: все унтера, три ефрейтора и георгиевские кавалеры, причем почтеннейшим считался ружейный мастер, уже закончивший двадцатипятилетнюю службу, но оставшийся свехурочно, потому что привык к армии и не имел куда уйти. Никого из охотников там я не увидел. Не было – удивительная вещь – и фельдфебеля.

Я как мог постарался впечатлить высокое собрание, но так и не понял, удалось ли мне это.

Вскоре я выяснил, что у ротных «аристократов» имеется род клуба: после ужина они обыкновенно садились со своими трубочками на ступенях крыльца гарнизонной часовни, окруженные почтительной пустотой, в которую не осмеливались вторгаться молодые солдаты. Заднее окошко моего домика выходило как раз на ту сторону, и я обнаружил, что, если потихоньку приоткрою раму, то могу слышать, о чем толкуют под крылечком.

Поскольку вопрос о впечатлении не на шутку меня занимал, а делать в вечернее время мне было решительно нечего, я частенько, разувшись, подкрадывался к своему наблюдательному пункту и подслушивал, а то и подглядывал через шторку.

К моему тяжкому разочарованию обо мне «старики» не заговаривали никогда. Их неторопливые беседы были о чем угодно – о «Шмеле», о замирении с горцами, о каше или супе, о табаке, – но только не о

коменданте, от которого, казалось бы, столь многое зависело в их подневольной жизни. Внутри сего ротного ареопага имелась своя внутренняя иерархия, не совпадавшая с числом и толщиной лычек. Как я уже сказал, фельдфебеля здесь не привечали, а если он появлялся близ крыльца, его встречали и провожали гробовым молчанием. Когда Зарубайло, не выдержав тишины, удалялся, ружейный мастер всегда выразительно сплевывал. Он служил еще в наполеоновскую войну и по манере разговаривать был очень похож на пресловутого «дядю» из лермонтовской поэмы «Бородино». Кстати сказать, остальные его так и звали – Дядя.

Как-то раз, недели через две или три после прибытия, я предавался своему непочтенному времяпрепровождению, сидя на полу под окошком. Скучно было невыразимо – хоть вой. Намерения на вечер у меня были такие: послушать солдатскую болтовню, потом выпить чаю, пройтись по валам да завалиться на складную койку, где недавно испустил дух мой предшественник.

Вдруг вижу, к заветному крыльцу подходит светловолосый охотник в своей косматой папахе, дерзновенно протягивает Дяде руку, остальным просто кивает и без слов тянет трубку. И ничего! С ним приветливо здороваются, сыплют из кисета, подносят серник.

Перед тем у «стариков» шел разговор о Наполеоне. Дядю спросили, видал ли он «Бонапартия». Тот ответил, что врать не станет, не доводилось.

– А вот Львовича спросите, – кивнул он на подошедшего. – Он доле моего с французом воевал... Как, Львович, не доводилось тебе Бонапартия видать?

– Видал, – лениво отвечал тот, раздувая трубку. – После как-нибудь расскажу.

Его, как ни поразительно, оставили в покое. А у меня, конечно, скуку словно ветром выдуло. Ну и ну, думаю. Еще больше я удивился, когда вновь выглянул из-под шторы – прямо не поверил глазам. «Львович» сел в сторонке от прочих, достал из-за пазухи маленький томик в тертом телячьем переплете и углубился в чтение. Никого это экзотическое для солдатской среды занятие, кажется, не удивило. Беседа шла себе дальше.

Любопытство побудило меня надеть сапоги, фуражку и выйти наружу. С рассеянным видом, словно бы прогуливаясь, я приблизился к крыльцу. Все неторопливо, с достоинством встали, оправляясь. Поднялся, отложив книжку, и удивительный солдат.

– Читаешь? – спросил я, будто только что заметив томик. – Стало быть, грамотен? Ну-ка что там у тебя, покажи.

Я ожидал увидеть какого-нибудь «Милорда» или, на лучший случай, «Ивана Выжигина», однако, раскрыв обложку, прочел надпись на языке мне незнакомом. Лишь имя автора – Adam Smith – позволило догадаться, что книга на английском. Нечего и говорить, что изумлению моему не было предела.

– Ты... вы кто? – еле вымолвил я. Тогда (да и сейчас) увидеть нижнего чина с экономическим трактатом на английском языке, было все равно что повстречать в лесу медведя с тросточкой и в цилиндре.

– Охотничьей команды рядовой Никитин, – спокойно отвечал солдат.

– Разжалованный?

Это могло быть единственным объяснением Адаму Смигу.

– Никак нет, ваше благородие. – Глаза смотрели равнодушно. – Наоборот. Повышенный.

– То есть? – Я был сбит с толку.

– Никитин из каторги прислан, с самой дальней Сибири, ваше благородие, – слышалось из-за моего плеча. Это неслышно подобрался вездесущий фельдфебель.

Он мне после и рассказал, что рядовой Никитин из «тех самых» – государственный преступник, приговоренный к смерти, вместо которой пятнадцать лет провел в каторге и теперь прислан смыть вину перед отечеством кровью.

Читатель ошибется, если подумает, что это известие вызвало во мне пиетет по отношению к бывшему каторжнику. Героический ореол вокруг декабристов возник много позднее, когда вошло в моду чтение подпольно ввозимого герценовского журнала, а в эпоху, о которой я рассказываю, сам этот термин еще не был в употреблении. С точки зрения общества, то были глупцы, без толку и смысла, из одной честолюбивой горячности кинувшие в грязь свое счастье, то есть имя, звание, состояние. Их называли «несчастливыми каторза»^[2] или просто «несчастливыми», что в те времена было синонимом слова «неудачник». Если эти люди и вызывали интерес, то пугливый и словно бы не вполне приличный. В кругах чинных почиталось хорошим тоном говорить о великодушии государя, предавшего смерти всего пятерых безумцев, кого уж никак нельзя было не казнить. В моем же кругу (мнение которого имело для меня большое значение) горобунтовщиков иронически именовали «наши бруты».

«Несчастливых каторза» или – каламбур того времени – «каторжников» как раз начали миловать, то есть отправлять солдатами на Кавказ, а особенные счастливицы уже даже и выслужились, тем самым положив конец своим мытарствам. Я видал некоторых на водах. Потрепанные, мятые,

слишком шумные и какие-то старомодные (ужасное слово для меня тогдашнего), они жадно наверстывали упущенное: безрассудно, по-старинному, играли в карты, много – опять-таки не по-современному – пили, не брезговали любовницами простого звания, а о политике не говорили вовсе, и, по-моему, не из опасения, а просто от полного отсутствия интереса к чему-либо кроме простых удовольствий жизни. Одним словом, ничего романтического я в них не усматривал.

Не слишком интересен показался мне и Никитин с его бело-седой бородой и умной книжкой, один вид которой наводил зевоту. Однако я все же попробовал с ним сблизиться, верней приблизить его к себе, ибо искренне считал, что делаю одолжение «несчастному». Причиной было не столько сострадание к его положению, сколько одиночество и отсутствие собеседников. С Донатом Тимофеевичем, как я уже писал, за пределами службы говорить можно было только о лошадях да генерале Ермолове, при котором он когда-то служил казачком.

Мои попытки вызвать Никитина на разговор натолкнулись на полное равнодушие. Приглашение заходить ко мне запросто, на чашку чая, было выслушано, но не использовано. На вопрос, не требуется ли какое-нибудь вспомоществование, я получил сухой ответ: «Благодарю. Ничего не нужно».

«Ну и черт с тобой, коли так», наконец оскорбился я и постановил не обращать на невежу внимания. Сделать это было легко – Никитин редко попадался мне на глаза. Он почти все время проводил с ружьем за пределами форта, но, в отличие от остальных охотников, предпочитал бродить по куэстам и кустарникам один либо в обществе своего туземного кунака.

Этот его приятель заслуживает описания, ему суждено сыграть роль в моей повести.

Родом он был аварец, звали его Галбаций. Как мне объяснили, это имя или, быть может, прозвище, означало «Волк». Он и выглядел злобным матерым волчицей: рожа разбойничья, короткая, щетиной рыже-серая борода, в вечно расстегнутом вороте бешмета на кожаном шнурке амулет – желтый волчий зуб. Приходил и уходил он когда вздумается, на всех русских кроме своего кунака глядел с ненавистью. Ни разу не видал я, чтобы они с Никитиным о чем-то разговаривали. Если «несчастный» сидел где-то с книгой, горец пристраивался рядом на корточках. В руках у него все время был кинжал, которым он строгал щепку или подравнивал свою бороду: просто проводил по ней клинком, и волоски осыпались сами собой. Кинжал был знаменитой базалаевской стали. Шашку Галбаций тоже носил

настоящую айдемировскую гурду. Я раз хотел купить у него оружие, предлагал хорошие деньги, но он молча встал и отошел в сторону. Вспылив, я приказал гнать наглеца за ворота и больше в крепость не пускать. Солдаты были рады, они давно щерились на аварца, как собаки на волка, и терпели его только из-за «Львовича», который почему-то пользовался у них особенным уважением. Я очень удивился, когда узнал, что в форте и вообще на Кавказе этот неприятный Никитин появился недавно, всего с полгода, и никак не мог считаться ветераном. Впрочем, на свете есть люди, один вид которых пробуждает в окружающих безотчетную почтительность.

За моими поползновениями наладить дружбу с охотником ревниво наблюдал фельдфебель. Он за что-то очень не любил Никитина. Когда же увидел, что дружбы не вышло, обрадовался. И стал заводить со мною осторожные разговоры. Сначала жаловался, что «каторжный» дурно влияет на солдат, пробуждая в них строптивость и непочтение к начальству. Потом стал обращать мое внимание на подозрительные исчезновения никитинского приятеля. Зарубайло нашептывал мне: «Попомните мое слово, ваше благородие. Галбаций этот неспроста к нам повадился. Зверюга он, живорез. Такой за оградой встретит – кишки выпустит. Правильно, что вы его прогнали, а только лучше было б в холодную посадить. Наведет он на нас абреков, как Бог свят наведет. Слыхали, как в Вельяминовском форте они этак вот ночью в отворенные изнутри ворота насыпались да весь гарнизон в кинжалы взяли?» Я сначала слушал, но потом, когда фельдфебель начал намекать, что ворота «хищникам» отперет не кто иной как Никитин, отмахнулся.

– Коли не верите, поручите – я сведаю, – сказал тогда Зарубайло. – Как раз Никитин на охоту собрался. Уж не на встречу ли с Галбацием? Прикажете, я прослежу.

– Изволь, я не против, – зевая ответил я. Прозябание в форте Заноза тянулось уже третий месяц, и моя апатия достигла почти полной беспробудности.

Фельдфебель обрадовался, оделся по-охотничьему, взял карабин и исчез. Он слыл опытным следопытом.

Я же выпил бутылку чихирю, местного вина, к которому понемногу начинал привыкать, да лег спать, попросив хорунжего, если утром не встану, провести построение без меня.

Донат Тимофеевич добудился меня только назавтра к полудню.

– Беда, Григорий Федорович, – сказал он, подавая мне чашку кумыса, отменного средства от похмелья. – Просыпайтесь. Мои казаки в лес за

лозой ездили, Зарубайлу привезли. Мертвого.

Я вскочил. Побежал смотреть.

У фельдфебеля на голове сбоку был пролом. Рядом с телом, рассказали казаки, валялся острый камень, но сам ли Зарубайло неловко упал, либо же кто-то нанес ему удар в висок, было неясно. Ружье и кинжал, однако, остались при трупe. Абреки оружие непременно бы забрали, они вообще раздевали мертвых врагов догола, не брезгуя даже исподним. В горах, скудных материей, всякая тряпка имела цену.

– Где Никитин? – спросил я.

Мне отвечали, что со вчерашнего дня не возвращался – видно, охота не задалась.

Тогда я отвел хорунжего в сторону и рассказал, куда и зачем ходил Зарубайло. Мой Донат Тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью.

– Вон оно что. Дело-то, похоже, темное. Коли Никитин к завтраму не объявится, придется вам реляцию в Серноводск писать. Шутка ли! Не хватало нам своего Якубовича!

Тогда на Кавказе ходил упорный слух, после не подтвердившийся, будто известный храбрец ермоловских времен Якубович был переведен из Сибири на Кавказ и передан Шамилю, став у него военным советником. Одно предположение, будто бывший каторжанин из моего гарнизона мог сбежать к неприятелю, сулило мне большие неприятности. Это, пожалуй, было чревато отставлением от должности и следствием – перспектива, которая не очень меня испугала. Я был готов ехать хоть под арест, только бы выбраться из дыры, куда меня засунуло собственное легкомыслие.

Опасения хорунжего, однако, не подтвердились. Наутро в крепость явился Никитин, за ним верхом следовал Галбаций, спешившийся и оставшийся снаружи. Они были без добычи.

Едва мне о том доложили, я потребовал охотника к себе, но он и сам уже скорым шагом направлялся к моему дому.

– Что стряслось с фельдфебелем? – как мог грозней спросил я еще издали. Хорунжий, хмурясь, стоял со мной рядом.

Никитин – он, кажется, уже перемолвился о случившемся с караульными – пожал плечами:

– Не знаю. Верно, упал с кручи, да шею себе свернул. Больно вертляв был. Черт с ним. Вы лучше о важном послушайте.

И рассказал такое, что мы с Донатом Тимофеевичем о злополучном фельдфебеле немедленно позабыли.

Глава 3

Военная обстановка. Я узнаю грозное известие. В Серноводск!
Дорожные беседы

До того как пересказать известие, доставленное Никитиным, мне придется хотя бы вкратце пояснить, в какой именно момент Кавказской войны это происходило, ибо длилась война долго и состояла из множества этапов, которые сейчас памятны лишь историкам. Не буду вдаваться в причины и ход кровавого, бестолкового, дорогостоящего противостояния русских и горцев. Довольно будет привести одну притчу, как говорят, правдивую. После того как турецкий султан, проиграв нам очередную кампанию, уступил царю кавказские земли, доселе принадлежавшие Порте сугубо номинально, русские генералы явились осваивать новые владения. Горские старейшины вышли чужакам навстречу и спросили: «Зачем вы пришли?» «Эту землю султан подарил нашему государю», – отвечал российский предводитель. «Я дарю тебе вон ту птичку, – молвил один из стариков, показав на дерево. – Скажи ей, что она теперь твоя». На вылавливание и приручение «птички» мы потратили столько денег, сколько не стоят десять Кавказов, а уж о количестве пролитой крови и говорить нечего...

Первым против русских поднял Чечню и Дагестан имам Кази-Мулла, чуть было не захвативший Военно-грузинскую дорогу, единственную сухопутную связь с Закавказьем. За десять лет до моего «занозного» сидения он пал, пронзенный солдатскими штыками. Второго имама Гамзата убили в междоусобной сваре сами горцы. Третьим вождем немирного Кавказа стал великий Шамиль, с которым мы хлебнули лиха. В пору, к которой относится мое повествование, дела у нас делались всё хуже и хуже, приближался горчайший для русского оружия период войны.

Моему переводу из гвардии предшествовало падение форта Лазарев, где под черкесскими шашками погиб до последнего человека весь гарнизон; укрепление Михайловское подорвало пороховой погреб, чтоб не попасть в руки врага; пали крепости Вельяминовская, Александровская и Николаевская. Неосторожная, а лучше сказать, глупейшая попытка отобрать у чеченцев оружие, без которого там и мужчина не мужчина, привела к тому, что вся Чечня встала за Шамиля. Карательный поход закончился кровавым и бесполезным сражением на реке Валерик, где, по свидетельству Лермонтова, «кровь текла струею дымной по камням».

Уже при мне возмутилась прежде мирная Авария, которую увлек за собой входивший в большую славу Хаджи-Мурат. Он наголову разбил экспедицию генерала Бакунина, погибшего вместе почти со всем войском. Огонь пылал и слева, в Черкесии, и справа, откуда подступал Шамиль. Посередине, где находился мой форт, еще оставалась зона спокойствия. Если бы враг вторгся в долины центрального Кавказа, Грузия с Арменией оказались бы отрезаны от России. Еще раз повторю, что все эти сведения я привожу с единственной целью – объяснить важность доставленной Никитиным вести.

Если быть точным, ее привез Галбаций, ездивший на восток по каким-то своим, вероятно разбойничьим, делам. Покойный фельдфебель был прав, когда предположил, что Никитин отправился в лес не просто на охоту, а на заранее условленную встречу со своим кунаком, изгнанным мною из форта. Новость, которую выведal и передал Никитину его дикий товарищ, заставила охотника забыть о дичи.

Одну из довольно обширных долин, находившихся в опасной близости от Военно-грузинской дороги, занимало вольное горское общество (подобные образования иногда называли «республиками», чтоб отличить от феодальных владений), именуемое Семиаульем. Оно признало русскую власть еще при Ермолове и с тех пор вело себя более или менее смиренно. И вот, как узнал Галбаций, к старейшинам Семиаулья пришло послание от грозного имама: через две недели выставить войско в полторы или две тысячи конных, начальство над которыми примет Хаджи-Мурат, а с ним вместе прибудет сам Шамиль, чтобы благословить джигитов на газават. Это означало, что вотвот произойдет то, чего мы давно боялись: к мятежным западному и восточному Кавказу присоединится центральный. Враждебные нам племена сомкнутся в единую стальную цепь.

– Что это ваш волчище вдруг овечкой обратился? – недоверчиво спросил охотника хорунжий (он, вслед за мной, называл Никитина на «вы»). – Зачем ему против своих единоверцев лазутничать?

Объяснение Никитина было по европейским меркам, вероятно, странно, но по горским понятиям совершенно логично.

Он сказал, что Хаджи-Мурат его кунаку давний кровник. Галбаций надеется при помощи русских поквитаться со своим заклятым врагом.

– Сами знаете, – пожал плечами Никитин. – У горцев довольно туманное представление о верности знамени, но зато чрезвычайно твердые принципы во всем, что касается личной дружбы или ненависти.

Донат Тимофеевич кивнул, признавая правоту этого суждения, но все еще не выглядел до конца убежденным.

– Знатный, однако, кровник у вашего разбойника. Не по чину.

– У Галбация в смертельных врагах пол-Кавказа ходит, такой уж это человек. А с Хаджи-Муратом он на ножах еще с тех пор, когда тот был за русских, а мой за Гамзата.

Здесь казачий офицер окончательно поверил в известие и зацокал языком. «Большое дело, скверное дело», – всё приговаривал он и, пока я соображал, как следует поступить, беспрестанно толковал о Хаджи-Мурате.

Этот молодой еще человек носил гордое прозвание батьяучи, то есть «особенный человек». У джигитов он был славнее самого имама. Врагов Хаджи-Мурат бил не числом, а умением. В собственном его немногочисленном отряде нукеры были молодцы на подбор. Он говорил: «Пять золотых стоят столько же, сколько пятьсот медяков». Хаджи-Мурат вообще был остер на язык, и меткое слово доставляло ему популярности не менее, чем воинский талант. В конце концов, однако, именно язык его и погубил. Однажды на диванхане у Шамиля обсуждался вопрос, кому быть его преемником. Имам желал оставить по себе своего сына Гази-Магомеда. А Хаджи-Мурат вполголоса обронил: «О чем тут спорить? У кого шашка острее, тот и преемник. Так было везде и во все времена». Фразу про шашку подхватили, стали передавать из уст в уста – и печальный конец храбреца известен. Но произошло это много позднее, лет через десять, а во время семиаульского дела Хаджи-Мурат еще не совершил главных своих подвигов, хотя имя его уже гремело. До недавних пор он был наш союзник, правитель Аварии, крупнейшего из дагестанских ханств, однако из-за интриг своих недоброжелателей и тупости нашего начальства бежал к Шамилю, с которым прежде враждовал.

Мнение Доната Тимофеевича было такое: немедля отправить к начальству казаков с донесением, причем, учитывая важность, не в Серноводск генералу Фигнеру, а прямо в Тифлис, главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Головину.

Только я рассудил иначе. Поняв, какой козырь сдала мне вдруг Фортуна, я разом пробудился от своей спячки и был намерен отыграть выигрышную карту с наибольшей для себя пользой.

С одной стороны, генерал-от-инфантерии Головин главнее генерал-лейтенанта Фигнера и вообще самый первый на Кавказе начальник. Однако про главнокомандующего корпусом было известно, что в Петербурге им недовольны и карьера его на закате. Вскоре из столицы ожидался военный министр князь Чернышев, который, как говорили, Головина снимет, а на его место назначит Фигнера. Какой же мне, спрашивается, был резон искать

отличия у закатившейся звезды?

Это было первое соображение. Второе, не менее существенное, состояло в том, что Головин меня не знает, а Фигнер, надо думать, моего счастливого выстрела не забыл.

К двум сим доводам, которые, стыжусь признаться, были для меня основными, присоединялись другие, формальные: то, что Серноводск от форта Заноза был вдвое ближе Тифлиса и что непосредственным моим по субординации командиром был начальник Средне-Кавказской линии, в подчинении которого находились самые боеспособные части. Противодействовать набегу в любом случае придется им.

Поэтому я, хоть и согласился с хорунжим, но постановил, что, если в Тифлис поскачет казак, то в Серноводск поеду я сам. Решение для коменданта необычное и в известном смысле рискованное – как это взять да оставить свою должность? Но я надеялся, что исключительность повода мне зачтется, а свою совесть успокаивал соображением (совершенно правдивым), что Донат Тимофеевич отлично управится в крепости и без меня.

От мысли о том, что через полтора дня я могу оказаться в Серноводске, голова у меня закружилась, словно от нескольких бокалов шампанского. Из моей дыры невеликий курортный городок казался Санкт-Петербургом и даже Парижем. Сколько раз за невыносимо скучные три месяца я вспоминал, как после похода скромным героем прогуливался по аккуратному серноводскому бульвару, провожаемый восхищенными взглядами!

Был и еще один магнит, неудержимо тянувший меня нарушить предписания дисциплины. За неделю перед тем почта доставила мне записку от Стольников, моего питерского приятеля. В своей всегдашней небрежной манере Базиль сообщал, что жизнь в столице сделалась совсем скучна и он сбежал от нее на кавказские воды. «Коли тебе нечего будет делать, можешь меня навестить, хоть, правду сказать, я разочарован – здесь всё та же тоска, всё те же рожи», – писал Стольников по-французски, вставив единственное русское слово «roji» – эта его привычка к избирательному употреблению отечественного языка была мне хороша знакома. «Кое-кто из наших с истинно христианским милосердием согласился скрасить мое паломничество. Был Сандро Трубецкой, да сбежал, не выдержав свежего горного воздуха, но еще остались Кискис и Тина. Право, приезжай. Давно не видались», – читал я, скрипя зубами от бессилия. Эти строки дышали прежней жизнью, от которой я уехал и по которой теперь так тосковал. Она была рядом, менее чем в сотне верст, но я

не имел возможности к ней прикоснуться. Никогда не нравившиеся мне князь Константин Бельской по прозвищу Кискис и Тина, графиня Валентина Самборская, не говоря о самом Базиле, виделись мне посланцами лучезарного Эдема, явившимися подразнить меня в крошечной яме, откуда нет исхода.

Сборы были проведены с молниеносной быстротой. Не миновало и получаса, как я уже выехал в путь. Никитина, которому по моему указанию дали выбрать любую лошадь из конюшни, и его кунака я взял с собой как непосредственных добытчиков известия.

– Что ж, это кстати, – сказал Никитин, которому и собираться было не нужно – он только прихватил бурку. – Мне бы славно наведаться в Серноводск. Надо кое с кем повидаться.

Отчего-то – возможно, из-за того, что моему решению он несколько не удивился, – мне показалось, будто Никитин заранее предугадал и мою поездку, и свое в ней участие. Признаться, у меня даже мелькнуло подозрение, не выдумал ли он всю историю с Шамилем и Хаджи-Муратом, лишь бы попасть в город по каким-то своим делам. «Если так, с вас двоих и спросится», – подумал я.

– С ним, – кивнул Никитин на Галбация, все так же сидевшего снаружи и стругавшего щепку, – я поговорю. Он на вас зол и приказа не слушает, но мне не откажет.

Так и вышло.

Я, собственно, даже сказал абреку, что прошу его на меня не сердиться за давешнее, но дикарь моей вежливости не оценил. Скользнув по мне неприязненным взглядом, тронул плеткой своего поджарого кабардинца и во всю дорогу держался в стороне от нас. Я видел его черную папаху то слева от тропы, то справа, иногда она надолго пропадала, потом вдруг на вершине холма вырастал летучий силуэт в развевающейся бурке.

– Это он нас стережет, – успокоил меня Никитин, когда заметил, что я слежу за перемещениями горца с беспокойством. – Места тут тихие, но всякое может быть. А он любую засаду издали почует.

Ехать было восемьдесят с лишком верст. Я рассчитывал оказаться в городе к концу следующего дня. Был май, самое лучшее время года в тех краях. Склоны и луга покрылись свежей травой, солнце сияло, но не жарило, а иногда над грядой дальних синеватых гор двумя белыми горбами высывался Эльбрус, давно уж переставший меня радовать и даже изрядно поднадоевший.

Мой спутник занимал меня несравненно больше пейзажных красот. В дороге деться ему от меня было некуда. Сначала мы двигались молча, я

прикидывал, как бы его разговорить.

Если я подробно не описываю внешность своего героя, то лишь потому, что в ней – за вычетом уже поминавшегося мною взгляда – не имелось ничего замечательного. Лицо его было в морщинах, особенно подле глаз, но, по-моему, не вследствие возраста, а скорей от привычки щуриться и задумчиво сдвигать брови. Рассеянным при этом он не выглядел – скорее сосредоточенно прислушивающимся к чему-то, никому более не внятному. Роста Никитин был немногим выше среднего, худощав, как-то весь собран, но в обычных обстоятельствах не быстр в движениях; впоследствии я узнал, что при необходимости этот человек умеет быть стремительным.

Для начала я попросил его показать горское снаряжение, вызывавшее мое любопытство.

– Извольте, – стал объяснять он. – Винтовка у меня харбукской работы, с ореховым прикладом и костяной пятой. Легкая, а бьет без промаха. Тут важно, чтоб заряды были ровно отмерены.

Он достал из газыря пулю в промасленной тряпочке, а потом и заряд.

– Знаю, – кивнул я. – И присошками тоже пользуюсь. А что у вас, Олег Львович, за шашка?

За пределами форта я стал называть его именем-отчеством, он отвечал тем же – это показалось мне неплохим предзнаменованием.

Шашка и кинжал у него были по виду самые простые, в кожаных ножнах без украшений, с деревянной рукояткой.

– Чеченская. Ихние мастера не любят украшений, зато сталь у них отменная. Советую также обзавестись вот такими пистолетами. – Он вынул из-за спины горский же пистолет. – Осечки с ними не бывает. И вот еще важная в горах вещь – андийская бурка. Пощупайте-ка.

Я пощупал.

– Легка и тверда, верно? В такой можно ночевать на мерзлой земле, а пуля, если на излете, ее не пробивает.

Советы эти я принимал с благодарностью. Мне достало ума не изображать из себя командира перед старшим по возрасту и опыту. Никитин, почуяв эту перемену, сделался со мной прост и доброжелателен. Понемногу я подпадал под обаяние его личности. Сам не заметил, как стал рассказывать ему всю свою жизнь. Он слушал сочувственно, иногда усмехался, но не обидным образом, а будто вспоминал или узнавал себя прошлого.

Иногда он уже не только отвечал на мои вопросы, а говорил что-то от себя. Покажет, например, на холмик с воткнутой пикой, с которой свисала

цветная тряпка, и скажет: это-де могила воина, павшего в бою с неверными, – была здесь, стало быть, какая-то переделка.

Видно, я завоевал его доверие. Так или иначе, начал он, к случаю, рассказывать кое-что и про себя. Хорошо помню, из чего возникла первая его история.

Это было во время привала, на берегу ручья. Галбаций поил свою лошадь на отдалении от нас, потом совершил намаз и ел, тоже наособицу, что-то свое.

– Черт знает какая тут красота, – молвил я, глядя на светоносную ленту ручья, на острые скалы, на серебреющий неподалеку водопад. – Горы!

– Красиво, – равнодушно признал Никитин. – И на Амуре тоже красиво. Но я, знаете, некрасивую красоту предпочитаю. Которая в глаза не лезет, себя не выставляет, а требует внимательности, соучастия. Чтоб, знаете, серое ноябрьское поле, ивняк вдоль речки, вблизи роща, а вдали опушка леса. Где вырос, то и любишь, по тому и тоскуешь. А это даже и не горы... – Он махнул рукой. – Ничего особенного, подгорки. В Этолии были точь-в-точь такие же.

Я тут как тут:

– Это вы про греческую Этолию? Случалось там бывать?

– Да, недолго.

Он откинулся на спину, сунул в рот травинку.

Мне хотелось блеснуть своими познаниями в географии:

– Этолия – это где город Миссолонги. Там сражался и умер лорд Байрон.

– Ну уж «сражался». – Никитин подавил зевок. – Готовился только, и то не слишком рьяно... Не поспать ли нам часок? Потом будем ехать до самой ночи.

Какой тут сон!

– Вы видали Байрона?! – ахнул я.

– Видал. В лагере. Он пробовал собрать трехтысячный отряд, чтоб отбить у турок Лепанто. Пустая затея. Греков он не понимал и как за дело взяться не знал.

– И какой он был, Байрон? – я даже приподнялся, так мне было интересно.

– Плешеватый, полный, с масляными глазами. Да я к нему не приглядывался. Мы не поладили. И я уехал... Вы спите, не тревожьтесь. Галбаций постережет.

Олег Львович закрыл глаза и в ту же минуту уснул, а я сидел и смотрел на него, совершенно потрясенный.

Потом весь остаток дня, вечер и наутро, до самого Серноводска, я только и делал, что расспрашивал этого удивительного человека о его жизни. Иногда он не хотел отвечать и уводил разговор в сторону, но и там обязательно обнаруживалось что-то захватывающе интересное.

Помню, я спросил его про Галбация – с чего разбойник, ненавидящий все русское, вдруг проникся к нему такую дружбой.

– История простая, – стал рассказывать Никитин, покуривая в седле свою трубку. – Я, знаете, привык в Сибири к лесу и лесной жизни, привык охотиться в одиночку. Когда попал в форт, наши за вал почти не выходили. Пища – сухари да каша, по воскресеньям солонина, на престольный праздник или августейшее тезоименитство забивали на всю роту тощую корову, выращенную на чахлой крепостной траве. Э, думаю, несладко живет воинство христово. Сходил на охоту, самовольно. Кабы прознали – хоть тот же Зарубайло, – приговорили бы к битью, и мой зигзаг на сем закончился бы, поскольку бить я себя даю только в драке, а розги и прочее подобное для меня *hors de considération*. Но прознать о моей отлучке было, пожалуй, трудненько. Незаметно перемещаться я обучился в Сибири лучше, чем тамошний тигр. Как ушел за вал, так и вернулся. Когда же принес офицерам дичь, то был не только прощен, но и назначен старшим охотничьей команды.

Это я к тому объясняю, что Галбаций – тоже природный охотник. Только не на козлов или уток, а на людей. Он с юных лет – канлы, изгой. Убил в своем ауле какого-то обидчика и с тех пор всё скитается по чужим краям. То к ватаге какой-нибудь пристанет, то послужит у немирного князя. Но он вроде меня, предпочитает охотиться в одиночку. Видите ли, Григорий Федорович, тут другая, чем у нас философия. Отобрать у человека жизнь для Галбация все равно что нам с вами куропатку подстрелить. Притом он не злодей, есть у него своя честь, свои правила, которых он сдохнет, но не нарушит. Но «не убий» в число сих правил не входит.

Сядет он в засаду где-нибудь в лесу или на горной тропе. Увидит подходящую добычу – бьет насмерть, чаще всего в глаз, чтоб одежду кровью не попортить. Потом обирает мертвеца. Горцев он подстреливает с разбором – кто из недружного с ним племени. Русских – всех подряд.

– И вы, зная это, с ним водитесь? – вскричал я.

Никитин флегматично отвечал:

– Иных русских и я бы охотно истребил. А уж с точки зрения горцев мы подобны нашествию саранчи и всех нас нужно как можно скорее убить, чтобы «всё на Кавказе стало, как раньше» – это у Галбация любимая присказка. Хотя чем ему было хорошо до русских, для меня загадка.

Абреком у себя в Дагестане он стал, еще когда русских в глаза не видывал. Одним словом, разве волк виноват в том, что родился волком? Видно, и волки в природе зачем-то нужны. Не мне судить... Так на чем бишь я остановился? Как Галбаций меня во время охоты на мушку взял?

Я хотел поправить, что до этого он еще не дошел, однако рассказ уже тѣк дальше.

– Выстрелил он по мне, да промахнулся. А поскольку такого с ним никогда прежде не случалось, впал в страх. Горцы в большинстве своем суеверны, как дети. И чем храбрее, тем суеверней. Если б покорять Кавказ поручили мне, а я бы на это согласился, – прибавил он и покачал головой, из чего следовало, что вряд ли согласился бы, – я бы их не вырубкой лесов и разрушением деревень завоевал, а одной только мистикой. Понаставил бы по вершинам каких-нибудь телескопов, пустил бы по ущельям паровую машину с трубой, а в тыл к ним заслал своих собственных «пророков» с «имамами». И был бы Кавказ наш, бескровно.

На всякий случай я улыбнулся, потому что у Никитина не всегда можно было понять, всерьез он говорит или шутит.

– Никакой мистики в том, что Галбаций по мне промазал, не было. Просто я услышал щелчок взводимого курка – у меня слух острый, особенно на охоте – да чуть качнулся в сторону, и пуля вместо того чтоб угодить мне в глаз, чиркнула по моему воротнику. Видно, не настало еще время моему зигзагу оборваться. Ну я, конечно, повалился, будто замертво. А когда стрелок из засады вылез и подошел ко мне с кинжалом, чтобы отрезать башку (у них за русскую голову по три рубля дают), я его и удивил... От изумления он не очень и сопротивлялся, только шайтана поминал. Но еще больше он поразился, когда я его живым отпустил и даже оружия не отнял.

– А почему вы его отпустили?

– Знаете, Григорий Федорович, я заповеди «не убий» не придерживаюсь – почти что как Галбаций. Говорю «почти», ибо имею на сей счет твердые правила. Я могу убить человека либо в миг прямой для себя опасности, то есть в схватке, либо если нужно истребить гадину, отравляющую мир своим существованием. Опасности оглушенный абрек уже не представлял, а гадина он или нет, мне было неизвестно. В подобных случаях я следую золотому правилу юриспруденции и толкую всякое сомнение в пользу обвиняемого... – Никитин произнес это с таким видом, будто на плечах у него была не бурка, а судейская мантия. – Ну а далее уж вступила в действие юриспруденция Галбация. Если кто-то подарил жизнь горцу, тот перестает быть ее хозяином и должен вечно служить своему

благодетелю. Что ж, мне от моего кунака много пользы. Он не человек, а золото – конечно, на свой разбойничий манер. Не удивлюсь, если кроме меня на свете нет никого, к кому он со спокойной душой мог бы повернуться спиной или открыть душу. Я научился от него и туземным наречиям, и обиходу, и миллиону всяких горских премудростей. Галбаций уже сто раз вернул мне долг, а ему все мало.

Меня заинтересовало странное выражение, дважды прозвучавшее в его речи.

– О каком «зигзаге» вы говорите?

– Жизнь видится мне большим Зигзагом, – немного смущенно объяснил Олег Львович. – Вам верно случалось карабкаться на кручу горной тропой? Она никогда не бывает проложена вертикально, всегда идет зигзагами. Иначе не подняться, особенно с поклажей, а как без нее? Движение вверх требует силы и напряженного внимания, ведь никогда не знаешь, что за следующим поворотом, – может, там притаился барс, или засел абрек с ружьем, или из-под ног осыплется земля, или завалит камнепадом. Однако не спускаться же? Вот и идешь. Зачем, спросите вы? – Никитин пожал плечами. – Чтоб добраться до вершины. Вдруг за нею райская долина, в которой ждет блаженство? А коли долины нет – и наверняка почти нет – все-таки несомненно сверху откроется чудный вид и вперед, и назад. Будь начеку, соизмеряй каждый шаг, дыши ровней, не трусь – и, если повезет, доберешься до высшей точки. Уж во всяком случае скучать не будешь. Это и есть жизнь, простите за копеечное философствование. Я ему в тайге научился, когда подолгу в засаде на медведя сидел. Если в Сибири не философствовать, сам в медведя превратишься.

Тогда я спросил о том, что меня жгуче волновало, но к чему я доселе не осмеливался подступиться:

– Должно быть, ужасно провести пятнадцать лет на каторге, прикованным цепью к тачке?

– Наверняка. Впрочем, не пробовал.

– Как же?

Никитин поглядел на меня своим неспешным взором, словно решал, до какой степени может быть со мною откровенен. Вердикт был вынесен в мою пользу.

– Я, Григорий Федорович, очень цепко держусь за жизнь, не хуже репейника, и задешево ее никому не отдам. Однако дорога она мне не любой ценой. К примеру, таскать на цепи тачку с камнями или терпеть побои от охраны – это *hors de considération*. Лучше уж я с такого зигзага в

пропасть спрыгну. Меня за непочтительное поведение во время следствия отделили от прочих осужденных и отправили в жуткую дыру, откуда до ближайшего жилья пятьсот верст. Содержались там одни уголовные, а начальником был страшный человек, некий капитан Лахно, бог и богдыхан этого инферно. Не буду описывать тамошних порядков – вы, пожалуй, решите, что у меня болезненная фантазия. Прибыл я на рудник, поглядел вокруг, полюбовался на капитана и сбежал при первой удобной возможности. Я, знаете ли, мастер по части создания удобных возможностей.

– Сбежали?! Но как же! Вы говорили, пятьсот верст до ближайшего жилья! Разве это не верная погибель?

– Для неопытного в тайге человека, каким я тогда был, безусловно. Но я ведь не самоубийца. Я засел вблизи каторги, пропустил мимо отправленную за мной погоню, а ночью пробрался обратно. Влез в окно капитановой спальни, разбудил богдыхана и душевно с ним потолковал, приставив к горлу ножик. – Никитин засмеялся от приятного воспоминания. – Беднягу в холодный пот кинуло. Он думал, я зарезать его вернусь. Вообще-то стоило. Но я предложил ему сделку. Я дам слово, что не сбегаю (все равно бежать оттуда некуда), а за это он позволит мне жить вольно. В рапортах же станет отписывать, будто я в работах. На том и сговорились.

– И он вас потом не обманул?

– Я, Григорий Федорович, в людях разбираюсь. Лахно был зверь, но со своими жизненными правилами, с самоуважением. Такой даст слово – сдержит.

– А донесли бы?

– Кто? Стражники? Они капитана как огня боялись. Власть там только одна – Лахно, а до всякой иной, как до неба. Вот так я пятнадцать лет и прожил: сначала при богдыхане, потом при его преемнике (он из тамошних же стражников был, ко мне привычный). Плавал по рекам, ходил по тайге, научился добираться до дальних сел, менял пушнину на потребные мне вещи. Когда как следует обучился лесному житью, мог, конечно, и вовсе уйти – хоть до Урала. Слово держало.

История эта произвела на меня такое впечатление, что, осмысливая ее, я надолго умолк. Таких людей я никогда прежде не встречал. И более всего, пожалуй, меня поражала простота и естественность, звучавшие в его речи. Чувствовалось, что каждое слово тут – даже не правда, а малая толика правды, на самом же деле «зигзаги» моего спутника были еще живописней.

– А верно ль, что вы Наполеона видали? – вдруг вспомнил я и

смутился (разговор-то был мною подслушан).

Но обошлось.

– Солдаты наболтали? Да, один раз видел. Тоже в некотором роде история... Не вблизи, правда. Вот с такого примерно расстояния. – Он показал на кривую березку, до которой было шагов пятнадцать. – Когда Корсиканец сбежал с Эльбы, я находился в отпуску, после ранения. Потому имел возможность вступить в двинувшуюся против него английскую армию волонтером. К битве при Ватерлоо, однако, не поспел. С «Чудовищем» управились без меня. Но я по юношеской горячности желал довести дело до конца. В ту пору я считал Наполеона архигадиной, представляющей опасность для всего человечества. Был уверен, что он непременно вывернется и опять завалит Европу трупами. Нужно его уничтожить, как испепеляют рассадники чумы. Узнав, что Бонапарт передался британцам, я сел на корабль и отправился в Англию. Пленника держали с почетом на фрегате «Беллерофонт», стоявшем у плимутского берега, пока парламент решал участь низложенного императора. После обеда он всегда прогуливался по палубе, и лодочники за полгиней катали зевак мимо корабля. Хоть был я очень молод, девятнадцати лет, и чертовски глуп, но промаху бы не дал. Рука у меня была твердая, пистолеты хорошо пристреляны, а расстояние, как вы видели, самое небольшое. И, главное, с первой же поездки мне повезло – Бонапарт стоял у борта, глядел на чаек. И, знаете, такая на этом лице читалась усталость, такое равнодушие. Видно было: этому человеку уже все равно, что с ним сделают. Я понял, во-первых, что он никогда уже не «вывернется», с завоеванием мира покончено. А во-вторых, что он не гадина. И вопрос сам собою решился. Заряды остались неистраченными...

Хоть я и знал, что Наполеон окончил свои дни на острове Святой Елены, а все ж был разочарован такой концовкой. Я представил себя на месте Никитина и подумал, что с пятнадцати шагов при моем навыке запросто посадил бы пулю прямехонько под знаменитую трехуголку, навеки войдя в историю как отмститель и тираноборец.

А еще мне захотелось показать Никитину, что и я чего-то стою. Как раз и повод был подходящий.

– Попасть из движущейся лодки в мишень, находящуюся на корабле, который тоже качается на волнах, не так-то просто, – с глубокомысленным видом сказал я. – Вы, должно быть, изрядный стрелок?

Он попался в капкан, коротко ответив:

– Да, я хорошо стреляю.

Я тут же предложил сделать привал и посоревноваться в стрельбе. Так

или иначе пора было дать лошадям передышку.

Никитин с веселой улыбкой одобрил мою идею.

На пистолетах я смог явить себя во всем блеске. Если с пятнадцати шагов мы оба равно поразили цель (подобранные с земли старые грецкие орехи), то на двадцати я попал, а Никитин промахнулся.

– Вы, должно быть, давно не практиковались, – великодушно молвил я.

Он удивился:

– А зачем? В пистолетах очень уж большая меткость никогда не надобится. В бою стреляют почти в упор.

– Вы забываете о дуэли.

– Для дуэли крепкие нервы важнее меткости. Только трясущаяся рука может промахнуться с десяти шагов, а на большее расстояние соглашаться нечего. Зачем превращать поединок чести в комедию?

Я не нашелся, что возразить, и почувствовал себя задетым.

– Попробуем из винтовок? – предложил я, уверенный, что вновь одержу верх.

– Пожалуй. Вон над балкой летают фазаны, – показал Никитин. – Будет нам ужин.

Мы расчехлили ружья и стали ждать, когда вспорхнет следующая птица. Спустившийся с холма на звук выстрелов Галбаций с интересом наблюдал.

– Летит!

Я еще только приложился, а мой соперник уже выпалил. Птица упала.

– Еще раз! – потребовал я. – Это была курочка, ее на троих маловато.

Всё повторилось. Никитин стрелял с поразительной сноровкой и меткостью.

Теперь уж он мне сказал, безо всякой язвительности:

– Вы, видно, мало упражнялись по быстро движущимся целям. Зря. Этот вид стрельбы на охоте, как и на войне, важнее всех прочих.

Вечером мы славно отужинали дичью, причем обе птицы достались нам, потому что абрек опять ел что-то свое и в стороне. Поев, завернулись в бурки, раскурили трубки.

Пользуясь установившейся меж нами доверительностью, я сказал:

– Послушайте, Олег Львович, даю слово, что это останется в тайне. Вы точно не знаете, что такое приключилось с Зарубайлой?

– Знаю, – был невозмутимый ответ. – Я его убил.

– Как так?!

Я уронил трубку.

– Как убивают гадину, которая желает ужалить. Камнем. Если гадюка ползет мимо меня по своим змеиным делам, я ее не трону. Но коли уж к ноге моей подбирается, прихлопну, и дело с концом. Или я не прав?

Поскольку я не ответил, он как ни в чем не бывало продолжил:

– Фельдфебель с самого начала меня невлюбил, всё норовил пакость сделать. Он в форте на наушниках держался, а я их расшугал – не люблю. Надеялся через нового начальника меня известить – не вышло. Я по его глазам видел: не успокоится, пока в землю не зароет. Когда я вчера увидал его в лесу с ружьем, идущего по моему следу, понял: это он со мной поквитаться пришел. Тут уж кто кого.

– Вы ошиблись! – воскликнул я. – Зарубайло попросился у меня всего лишь проследить, вправду ли вы только охотитесь или тут что другое!

– Ерунда. У него и курок взведен был. Застрелил бы, а после наврал бы, что я на него накинулся. Эту породу я хорошо знаю. Черт с ним, Григорий Федорович. Одной гадиной меньше – воздух чище. Покойной ночи.

Сказал – и уснул, а я еще долго ворочался, всё не мог успокоиться.

Глава 4

В Серноводске. Coup de foudre. Мы на подозрении. Разговоры на бульваре

В Серноводск мы прибыли раньше, чем я думал, – вскоре после полудня. Городок этот был особенный, каких в России тогда почти не имелось. Он и выглядел как-то не по-русски: весь новенький, чистенький, умно выстроенный и устроенный. Со своими правильными улицами, с бульварами и парками, с классическими зданиями водолечебниц и бань, он скорее напоминал какой-нибудь Бад-Эмс или Карлсбад. Ощущение заграничности возникало еще и из-за подступавших с юга гор, так редких в русском пейзаже; в особенности же необычно выглядело население. В нем почти совершенно отсутствовал простонародный элемент – лишь «чистая» публика, военные, да живописное вкрапление ногайцев, кабардинцев, черкесов, карачаев и прочих горских жителей. Были, конечно, и казаки – терские, кубанские, гребенские, – но они одеждой, видом, да и лицами мало отличались от «вольных сынов Кавказа» (это выражение тогда было в большом ходу у приезжих курортников).

Мода ездить не на немецкие, а на русские воды возникла незадолго перед тем и весьма соответствовала духу патриотизма, поощрявшемуся государем Николаем Павловичем. После увлечения всем европейским, свойственного александровской эпохе, теперь почиталось правильным тоном хвалить свое, отечественное, и оказывалось, что у нас есть всё то же, что у них, но только лучше. Например, превосходный курорт с целебными источниками, способными излечить нервные, желудочные и любовные болезни.

Дорога на Кавказ занимала не меньше времени, чем в Германию, была неудобна и дурно содержалась, а все же многие петербургские и московские маменьки охотно везли сюда дочерей. Причин было две. Во-первых, для поездки на Кавказ не требовалось заграничного паспорта (получить его в николаевские времена было не так просто); во-вторых, среди серноводских «водохлебов» (словечко из юмористических журналов той эпохи) попадались отменные женихи.

Конечно, паломничество это стало возможно лишь с тех пор, когда прекратились набеги «хищников» и зона военных действий сдвинулась из предгорий дальше к югу-западу и юго-востоку. В Серноводске теперь стоял только так называемый «семейный» батальон, да находилась главная

квартира Средне-Кавказской линии, а боевые части располагались по окрестным станицам или, в теплое время года, ставили палаточные лагеря.

Когда я увидел с холма зеленую долину и привольно раскинувшийся в ней город с белыми домами, меня охватило праздничное настроение. Трехмесячное сидение в форте казалось тягостным сном, от которого я наконец пробудился. Мысленно я поклялся сделать всё возможное, чтоб более туда не возвращаться. С тогдашней моей любовью к цветистости я называл это «выдернуть роковую Занозу из своей судьбы».

Несмотря на срочность донесения, сначала я желал привести себя в порядок, чтоб явиться к генералу в надлежащем виде. Это означало, что нужно приискать себе пристанище. В Серноводске, переполненном ранеными и отдыхающими, это было очень непросто.

Наскоро распрощавшись с Никитиным (он сказал, что остановится у приятеля) и условившись встретиться в три с половиною подле штаба, я отправился в гостиницу «Парадиз». Владела ею купчиха Маслова, которой в городе принадлежали все лучшие заведения: дорогие магазины, ресторация с кофейней, бильярдная. Попросил комнату – мне отказали чуть не со смехом. Чего захотел – в мае-то, в самый сезон!

Сунулся я в гостиницы попроще, даже в казенную, что предназначалась для прибывающих по службе офицеров, – то же самое. Искать комнату у жителей времени не оставалось.

Делать нечего. Я доехал до штаба, оставил коня и вещи на попечение караульного начальника. Хотел хоть умыться у питьевого фонтана и стряхнуть с себя пыль, но передумал. Уж коли нет возможности явиться пред очи начальства молодцом, пусть генерал увидит меня измученным долгой скачкой. Для гонца, принесшего грозную весть, оно, пожалуй, даже правильней.

Еще нарочно потопав ногами, чтоб посадить на сапоги погуще пыли, и придав лицу как можно больше изнеможения, я поспешил к штабному крыльцу. Там уж дожидался Никитин. Он, видно, устроился счастливее моего – был вымыт, в свежей черкеске и сверкающих сапогах. Я решил его с собой к генералу не вести, а то, право, вышло бы странно: подчиненный во всем чистом, а начальник будто в помойке извалялся. Неподалеку сидел на корточках Галбаций, строгал щепку своим замечательным кинжалом и так поглядывал на проходивших мимо офицеров, что было видно, с каким удовольствием он оттыпал бы любому из них голову.

– Дождитесь здесь, – сказал я, наскоро перекрестился и с топотом вбежал в приемную.

– Комендант форта Заноза поручик Мангаров! – хрипло выкрикнул я с

порога. – С неотложным донесением к его превосходительству!

Адъютант был в тонкой черной черкеске с эполетами, алом бешмете; пробор у него сиял зеркальной гладкостью. Мне подумалось: если б три месяца назад я не сделал глупость, то мог бы сидеть на его месте и так же холодно разглядывать какого-нибудь запыленного оборванца.

– Скорей доложите! Я провел сорок часов в седле!

– Сорок? – переспросил он. – До форта Заноза, сколько мне помнится, от силы девяносто верст. С какою же скоростью вы скакали? Две версты в час?

Я бы, верно, вспылел и наговорил штабному грубостей, но здесь дверь за моею спиной раскрылась, послышались легкие шаги, и звонкий голос произнес:

– Мишель, папа́ у себя?

Я обернулся.

На пороге, вся в ореоле солнечного света, лившегося из дверного проема, стояла тонкая, стремительная девушка в чем-то белом, а может быть, светло-голубом. Я толком не разглядел наряда, пораженный прелестью ее лица. Веселое, оживленное, разрумившееся от быстрой ходьбы, оно, вероятно, показалось мне таким несказанно прекрасным еще и потому, что я очень давно не видел барышень из хорошего общества. А впрочем, это я задним числом рационализирую – и преглупо делаю. Что ж самого себя обкрадывать? Миг, когда я впервые увидел Дашу, был и остается одним из драгоценнейших в моей жизни. Кажется, этот эффект называют *coup de foudre*.^[3]

Я уж писал, что своего собственного лица в двадцать три года воскресить в памяти не могу, но юную Дарью Александровну, стоит мне зажмуриться, вижу, словно она и сейчас передо мною.

Вижу поднятые кверху, по тогдашней моде, золотые волосы с затейливыми пружинками свисающих локонов; чуть удлиненные, полные молодой жизни глаза; нетерпеливо приоткрытые губы, верхняя – тонкая, нижняя – пухлая; влажно поблескивающие зубки. Во весь остаток жизни эти черты являлись в моем представлении наивысшим образцом красоты, и даже не совсем правильный, немного вздернутый носик, когда я встречал его у других женщин, казался мне чертой очаровательной.

Неприятный адъютант вскочил, отвечав по-французски, что Александр Фаддеевич у себя, и один. Девушка уж хотела пройти в кабинет, но вопросительно задержала взгляд на мне. Полагаю, моя непрезентабельная фигура в штабной обстановке смотрелась дико.

Поймав этот взор, адъютант Мишель пояснил:

– Комендант форта Заноза, прибыл с донесением.

Я, спохватившись, стукнул каблуками:

– Мангаров.

И тут – клянусь – лицо чудесной барышни изменилось, словно она только сейчас как следует меня рассмотрела. Мне даже показалось, будто она тоже потрясена, как и я.

После секундной паузы она тихо, дрогнувшим – да, дрогнувшим! – голосом молвила:

– Дарья Александровна Фигнер...

Помедлила еще, как бы желая что-то прибавить, но качнула головой и быстро скрылась за большими белыми дверями.

Я пришел в несказанное волнение. Она не осталась ко мне равнодушной! Или, быть может, померещилось?

– Elle est si belle! Comme une apparition...^[4] – мечтательно произнес адъютант.

Прекрасное видение словно бы растопило между нами лед.

– Так вы говорите, срочное донесение? Ежели хотите, доложу. Но сами видите... – Он кивнул на кабинет. – К его превосходительству из Петербурга третьего дня приехала дочь. Он всё время с нею. Если что-то не очень важное, осерчает.

Я встрепнулся, вспомнив о деле.

– Нет-нет, это очень важно! И совершенно секретно. Докладывайте.

– Ну, глядите.

Он зашел в кабинет и через полминуты вернулся с Фигнером. Не дослушав даже моего представления и не подавая никакого признака, что вообще меня помнит, генерал сдвинул рыжеватые брови и закричал:

– Как смели вы оставить крепость? Кто дозволил вам являться в Серноводск без вызова? – Его лысина в мгновение налилась кровью. Начальник Средне-Кавказской линии славился вспыльчивостью и крутонравием. – Я вас за это под арест посажу!

– Извольте. Только сначала выслушайте, – отвечал я. – Я не от блажи сто верст по горам проскакал.

Дерзя, я не слишком рисковал. Мне было известно, что Фигнер любит офицеров «с характером», а кроме того привезенное мной сообщение должно было произвести впечатление.

Так и вышло.

Коротко и четко, пока без подробностей, я изложил суть.

Его превосходительство переменил тон.

– Да верно ли? – озабоченно сказал он. – А ну-ка, пойдёмте. Капитан, –

велел он адъютанту, – Честнокова ко мне, быстро! О том, что слышали, никому.

Мы вошли в кабинет. Попросив у дочери извинения и предупредив, что вряд ли придет к чаю, Фигнер поцеловал барышню в лоб, и она вышла, но перед тем одарила меня еще одним взглядом, от которого меня зазнобило. Определенно, я ее заинтересовал!

– Сейчас придет майор Честноков, штаб-офицер жандармского корпуса. Расскажите всё при нем, чтобы не повторять дважды. Этот вопрос по его части.

Буквально через минуту в дверь деликатно стукнули, и сразу вслед за тем мягкой, невоенной походкой вошел маленький человек в голубом мятом сюртуке, с такими же примятыми чертами лица. Он обратился к генералу по имени-отчеству, тот отвечал тем же:

– Вот, Иван Иванович, послушайте-ка, какие новости раздобыл для нас комендант Занозы.

У меня есть основания собой гордиться – после короткой внутренней борьбы порядочность возобладала над честолюбием. Возможно, причиной этой нравственной победы была прекрасная Дарья Александровна – мне казалось, будто всё, что я делаю, теперь происходит перед ее испытующим взором.

– Новость добыл не я, а солдат Никитин. Я взял его с собой. Прикажете, он доложит вашему превосходительству сам.

О Галбации поминать я не стал. Абреку благодарность русского начальства нужна, как репей ослиному хвосту. Другое дело – разжалованный.

– Это который Никитин? – негромко осведомился майор, впиваясь в меня прищуренными глазками. – Уж не сибирский ли сиделец?

– Тот самый, – удивился я подобной вездесущести. Даже восхитился, подумав, что, как жандармов ни ругают, а свою службу они несут исправно, всем бы так. Мало ли на Среднем Кавказе гарнизонов, да и ссыльных полно, а вот ведь сразу вычислил своего подопечного!

Жандарм покачал головой, но ничего не сказал.

Вызвали Никитина.

Он держался уверенно, говорил сухо, излагая одни лишь факты и воздерживаясь от каких бы то ни было суждений.

После первой же фразы, заметив грамотность речи, генерал перебил его и спросил, какова его история, но ответить Олегу Львовичу не пришлось – майор сделал это сам, наклонившись к самому уху его превосходительства, и говорил до того тихо, что я кроме жужжания ничего

не разобрал. Фигнер нахмурился и велел Никитину продолжать, что тот преспокойно и сделал.

Несколько раз, всё более и более возбуждаясь, генерал задавал вопросы – на каждый у Никитина имелся исчерпывающий ответ.

– Что-то здесь не то, – вставлял, например, его превосходительство. – На что Шамилю посылать к нам Хаджи-Мурата? Он же аварец. Резонней было бы отправить его на возмущение собственного ханства. Там, доносят, неспокойно.

Никитин ему:

– Мой кунак, тоже аварец, говорит, что Шамиль не хочет пускать Хаджи-Мурата в родные края. Боится, что, завладев Аварией, наиб объявит себя независимым. Имам держит своего помощника на коротком поводке. Вот и в Семиаульский поход за ним следует.

В конце концов начальник, кажется, перестал сомневаться в достоверности известия.

Подойдя к карте, он взъерошил волосы по краям плечи, взволнованно заговорил, словно бы сам с собой:

– Если замысел Шамяля удастся, выйдет лихая штука. Против нас встанет единый Кавказ, от моря и до моря. На одном морском сообщении нам Закавказья не удержать. Если еще и султан или шах персидский увидят в том свой шанс, да нагрянут новой войной, быть большущей беде... – Он щелкнул пальцами. – С другой стороны, ежели мы, будучи предупреждены о рейде, замкнем Шамяля с Хаджи-Муратом в долине, враги наши разом лишатся головы и правой руки. Тогда и покорению Кавказа конец!

Командующий сладко улыбнулся. Ход его дальнейших мыслей был мне понятен: и закончит эту затянувшуюся войну не кто иной как генерал-лейтенант Фигнер – со всеми проистекающими из сего приятными последствиями. Оставалось лишь надеяться, что, осененный славой и монаршей милостью, его превосходительство не забудет тех, кому он обязан своим счастьем.

Ах, как же я сокрушался в своем благородном порыве – что уступил первенство Никитину! Я совсем не подумал о Дарье Александровне! Сейчас я ей, конечно, не пара, но когда бы настало время награждать героев, мое положение могло бы сильно улучшиться. Все помнят, как после штурма Ахульго государь пожаловал штабс-капитана Шульца прямо в полковники и флигель-адъютанты, а разве можно сравнить мелкое геройство какого-то Шульца с заслугой человека, благодаря которому покорен Кавказ? Тогда и Дарья Александровна имела бы право не стесняться своего ко мне расположения! И вот я сам, добровольно, отвел

себе вторую роль, хотя решение срочно скакать в Серноводск к Фигнеру принял я, а вовсе не Никитин!

Моим терзаниям положил конец майор Честноков.

– Александр Фаддеич, – сказал он с ужимкой, как бы конфузясь, что омрачает начальниковы мечтания, – я бы не торопился с решением. Источник, согласитесь, малоосновательный. Один разбойник где-то что-то услышал, сказал одному каторжнику, тот передал одному зеленому офицеру, а мы уж готовы жахнуть из всех орудий.

– Позвольте, господин майор, это оскорбление офицерского звания! У государя императора «зеленых офицеров» на службе не бывает! А каторжники – на каторге! – возмутился я. – И если вы думаете, что жандармский мундир позволяет вам...

Но здесь Фигнер на меня прикрикнул, и я умолк. Никитин же не выглядел оскорбленным аттестацией «каторжника», он только внимательно поглядел на Честнокова.

– Возможно и другое-с, – продолжал майор, будто ничего такого не произошло. – Шамиль известен коварством. Что если эта весточка нам нарочно подброшена? Вы думаете имама в ловушку поймать, а не вышло бы напротив. Имею некоторые соображения и предложения...

Он сделал многозначительную паузу, и посерьезневший генерал велел нам с Никитиным удалиться, предварительно сообщив адъютанту, где нас можно сыскать в случае потребности.

Я расценил эти слова единственно возможным образом – как дозволение пока что оставаться в Серноводске, и уже одним этим был счастлив. Я буду в одном месте с Нею! Я не должен возвращаться в постылый форт! Чего ж еще?

Можете представить мое волнение, когда я увидел, что прелестное видение не исчезло. Дочь его превосходительства стояла в приемной и смеялась, переговариваясь о чем-то с Мишелем. Должно быть, она ждала, пока отец освободится, чтобы к нему вернуться.

Никитин объявил адъютанту, что остановился на Ставропольской улице у капитана Иноземцова. Я с важным видом пообещал доложиться, как только «выберу квартиру», ибо пока не имел для того времени.

Уходить мне не хотелось. Хотелось быть рядом с Дарьей Александровной, заговорить с нею о чем-нибудь. Но ничего достойного в голову не приходило, а она молчала. Молчал и адъютант, всем видом выказывая, что я тут лишний.

Вдруг из руки мадемуазель Фигнер выпал шелковый веер. Мишель кинулся поднимать, но ему сначала нужно было обогнуть широкий стол, я

же подобной преграды не имел.

– Вот, прошу...

Я протянул ей веер и, чувствуя, что непростительно краснею, постарался придать лицу суровость.

– Благодарю... – Она смотрела на меня с любопытством и приязнью. – Вы непохожи на серноводских офицеров. Именно так я представляла себе настоящего боевого кавказца. А то ходят в папахах и черкесках, сами же в горах ни разу не были. Вы, наверное, всякого навидались в вашей крепости? Расскажите, меня это ужасно интересует! Не будем мешать Михайле Самсоновичу работать, выйдемте на улицу. Погода – чудо!

Я возблагодарил Бога за то, что не поддался кавказской моде и сохранил верность казенному сукну. От моего внимания не укрылась гримаса, искажившая лицо Мишеля, когда Дарья Александровна пренебрежительно помянула «серноводских офицеров», и я понял, что нажил себе врага. Такою ценой я согласился бы заиметь и сотню недоброжелателей, однако природная практичность подсказывала, что без крайней нужды враждовать с адъютантом начальника не следует. Поэтому я поступил ловко: ведя к двери взявшую меня под руку барышню, обернулся и комично выгнул губы – мол, так уж вышло, не виноват. Насупленное лицо адъютанта смягчилось. Он даже поднес руку ко лбу, как бы снимая шляпу перед моей удачей.

Мы с Дарьей Александровной остановились напротив штаба, в липовой аллее, носившей гордое имя бульвара, и стали разговаривать, будто были давно и хорошо знакомы. Деревья, высаженные всего несколько лет назад, еще не разрослись и тени не давали, но солнце было майское, не злое. С козел лаковой коляски, ждавшей неподалеку, спустился унтер-офицер с седыми бачками, принес барышне гипюровый зонтик.

– Благодарю вас, Трофим, – сказала мадемуазель Фигнер.

Эта вежливость показалась мне восхитительной, о чем я сразу же и сказал.

– Зря у нас считают, что с простыми людьми можно обращаться неучтиво, – ответила она, испытующе на меня глядя. – В слугах подчас больше достоинства, чем в господах, а в солдатах – больше, чем в их начальниках. Вы должны знать это, ведь ваша жизнь проходит среди нижних чинов и, я думаю, целиком зависит от них в минуты опасности. Расскажите мне об этом, Григорий Федорович.

– О минутах опасности?

Я приосанился.

– Нет, о ваших солдатах. Какие они, эти простые герои, кто несет на

себе всю тяготу кавказской войны?

«Удивительная девушка, удивительная! – думал я. – Кто еще из столичных красавиц станет интересоваться серой армейской скотинкой?» Мне захотелось рассказать ей о своих солдатах что-нибудь необыкновенное. И, конечно, на ум пришел Никитин.

– Солдаты у меня чудо. Среди них попадаются оригинальнейшие экземпляры, – начал я.

Расчет мой был верен. Послушав, что за молодцы у меня в подчинении, мадемуазель Фигнер должна была задуматься: каков же, верно, хват их командир!

– В самом деле?

– О да. Кстати сказать, одного из них вы давеча видели. Такой бородач в черной черкеске. Прошел мимо вас в кабинет к вашему батюшке.

– Не обратила внимания.

– А зря. Он из моей команды охотников, личность в своем роде прелюбопытная. Некто Никитин...

Дарья Александровна сделала быстрое движение – вскинула руку к губам. Потом обернулась, окинув взглядом бульвар. Он был пуст.

– Что с вами?

– Ничего. Кое-что вспомнила. Неважно. Продолжайте, продолжайте! Что ж в нем любопытного, в этом Никифорове?

– Никитине.

Я улыбнулся. В том, что история Олега Львовича собеседницу увлечет, сомнений не было.

Она действительно слушала замечательно, даже жадно. Я никогда не замечал в себе талантов рассказчика – а, кажется, зря.

– Прошу, познакомьте меня с этим человеком! – горячо воскликнула мадемуазель Фигнер, когда я закончил. – Он меня ужасно заинтриговал.

Я был счастлив. Вот повод встретиться с нею вновь!

– Охотно. Да только где же? У вас ему бывать нельзя, он нижний чин... – В голову мне пришла великолепная мысль. – Разве что... В Серноводске сейчас мои приятели. Я мог бы привести Никитина к ним. А вы их, быть может, знаете по Петербургу.

И я с небрежным видом перечислил имена, которые не могли быть неизвестны барышне из столичного общества: Базиль Стольников, Тина Самборская, Кискис Бельской. Людей этого круга в Петербурге прозвали *les brillants* – «блестящие». Они определяли, что – модно, а что – пошлость; им завидовали, о них судачили; попасть в эту компанию мечтали многие, да мало кому удавалось.

Это должно было показать ей, что я не какой-то армейский суконник, а человек ее круга или даже еще более высокого milieu,^[5] однако пренебрегший удовольствиями большого света ради кавказских приключений. Короля, как известно, делает свита. Так вот свита у меня выходила ослепительная: с одной стороны Никитин, с другой – сливки блестящей молодежи. Разве можно было Дарье Александровне мною не заинтересоваться?

– Кискис? – повторила она и сделала гримаску. – Знаю. Он мне родня. Я слыхала, что он в Серноводске. Эдаких знакомств я обычно не вожу, но ради такого случая – пожалуй.

– Родня? Тем проще всё устроить. Я нынче вечером приведу туда Никитина, и вы тоже приходите.

Я назвал адрес, мы условились о времени и расстались. Чувствуя, что судьба готовит мне какой-то головокружительный, сладостный поворот, я чуть не пел.

Когда я забрал у караула лошадь и готовился сесть в седло, по ступенькам штаба спустился жандармский майор и направился ко мне с любезнейшей улыбкой, что показалось мне странным. Во время беседы в генеральском кабинете этот Честноков глядел совсем иначе.

– Видел из окна, как вы любезничаєте с Дашенькой, – сказал он еще издалека. – Экой вы проказник! Ну да дело молодое.

Ужасно мне не понравилось, что он говорит о ней так фамильярно. Я нахмурился и не ответил.

– Не журысь, хлопче, как говорят малороссияне. Вы, Григорий Федорыч, поди, обиделись на мою недоверчивость к вашему донесению? Такая у меня должность, нам без недоверчивости нельзя. Но то служба, а сейчас я с вами попросту, по человечности. Люблю я таких, как вы, сорви-голов: молодых, смелых да горячих.

Он действительно смотрел на меня с самой доброю улыбкой. Я отнес это внезапное дружелюбие за счет симпатии, которую, как видел Честноков, оказала мне генеральская дочь.

– А я вам по секрету вот что сообщу. – Он взял меня под руку и наклонился к самому моему уху. – Как лицу посвященному. Мы с его превосходительством по вашему дельцу распорядились вот как. Ваши сведения мы проверим. Есть у меня на то особый человек, чтоб в горы послать. А как вы думали? Честноков свой хлеб не зря ест. Пока лазутчик проверит, не в засаду ли ваш каторжный нас заманивает, генерал потихоньку, без огласки, войска подготовит. И если оно правда, то мы ррраз! – Он ткнул меня пальцем в бок. – В двое суток Семиаульскую

долину запечатаем. А окажется, что брехня – с места не тронемся. Но уж и с Никитиным тогда потолкуем-с.

Я высвободился, придал лицу строгое выражение.

– Вы, господин Честноков, посвящать меня в военные секреты не обязаны. Я в дела вашего... ведомства не мешаюсь. Только насчет Никитина вы зря.

Жандарм вмиг переменялся. Добродушия с игривостью будто не бывало.

– Я вам не «господин Честноков», а «господин майор», коли уж желаете официально. Это во-первых. Во-вторых, фамилия моя не «Чесноков», как вы изволили произнести, а «ЧесТноков». Не от низменного овоща происходит, а от слова «честь». Попрошу буквы «тэ» не проглатывать! Предок мой еще в эпоху Великого Петра верностью дворянство выслужил, а прозвище ему за честность было Честнок. Ну и в-третьих, насчет вашего каторжника. Это человек с темным прошлым, мутным настоящим и скверным будущим. Никакого доверия ему быть не может. Мне о каждом его шаге известно – и о прогулках по горам, и о дружбе с «хищниками».

«Откуда известно?» – чуть было не спросил я и вдруг вспомнил покойного Зарубайлу, однако о своей догадке умолчал и тем более не стал говорить майору, что фельдфебель приказал долго жить. Это могло бы навлечь на Олега Львовича дополнительные подозрения, а то, чего доброго, повлекло бы и расследование. Пускай Честноков узнает о судьбе своего агента в положенный срок – из ежемесячного гарнизонного рапорта о выбывших.

– Где изволили разместиться? – как бы между делом поинтересовался майор. – Я справился у адъютанта. Говорит, вы уклонились оставить адрес.

Я разозлился.

– Не «уклонился», а не могу найти комнаты! И это мое частное дело. Вас, господин майор, оно не касается! Вы мне не начальник, я вам не подчиненный! Мы служим по разным линиям!

– Линия у нас одна и та же, Средне-Кавказская, и я на ней старший штаб-офицер Отдельного Жандармского корпуса. Имею касательство до всего, что происходит на вверенной моему попечению территории. На то у меня имеется Инструкция.

– Какая еще инструкция? – не поддался я на глухую угрозу, рокотавшую в его голосе.

– Секретная, для ответственных лиц Третьего отделения и Жандармского корпуса. От его сиятельства графа Александра

Христофоровича. По ней даны нашему брату особенные полномочия. Ясно-с? Отвечайте, поручик!

– Так точно, ясно, господин майор.

Все-таки упоминание о какой-то тайной инструкции, подписанной всемогущим графом Бенкендорфом, меня впечатлило.

Честноков вдруг подмигнул и с обезоруживающей мягкостью улыбнулся.

– Да что там, пусть уж я буду для вас «Иван Ивановичем». Я ведь про адрес совсем в ином смысле, а вы уж вспыхнули. Знаю, как в Серноводске с квартирами. Помочь хотел.

– А вы разве можете?

– Я, батюшка Григорий Федорович, всё могу. Как царица Лебедь из сказки покойного камер-юнкера Пушкина. Хотите комнатку?

– Смотря где, – ответил я, глядя на него с подозрением. Мне вообразилось, не хочет ли он, чтоб я поселился где-нибудь у него под опекой.

– «Парадиз» гостиница вас устроит? Недурное местечко.

– Да был я в заведении купчихи Масловой! Все номера заняты.

– Ничего-с, я слово волшебное знаю. Обождите-ка минутку. – Он достал книжечку, вырвал листок. – Дозвольте, Григорий Федорович, вашей спинкой попользоваться.

Пришлось оборотиться к нему и наклониться. Карандаш скоренько пошуршал по бумаге.

– Вот-с. Дайте тамошнему приказчику, и он вас разместит превосходным образом. Ну, еще увидимся.

Майор вернулся в штаб, а я развернул записку. Там была написана всего одна короткая фраза: «Поселить хорошо и недорого. Честноков».

Глава 5

В гостинице. Мой однокашник. Подготовка к важному событию.
Друзья Никитина

Что б вы думали? Меня, в самом деле, поселили в очень хорошую комнату бельэтажа, взяв совсем недорого. Я воспринял это маленькое чудо как новый знак благосклонной перемены в своей судьбе. Пока прислуга меняла белье и разбирала мой саквояж, я стоял в просторном вестибюле, гордо поглядывая на соискателей свободного номера, являвшихся чуть не поминутно. Водяной сезон, как я уже говорил, был в разгаре. Раз все обернулись – мимо стойки в свои покои прошла хозяйка, та самая Маслова. Она была лет тридцати, с круглым лицом рубенсовской красоты и соответствующих статей, одета во что-то переливчатое, с чудесной персидской шалью на плечах.

– Экая помпошка, – сказал егерский капитан (он дожидался места – ему пообещали освободить бельевой чуланчик). – Уж я б такую примял бы.

Я презрительно отвернулся. Очень возможно, что еще вчера и я бы проводил пышную купчиху заинтересованным взглядом, но по сравнению с «моею Дашей» (так про себя я уже называл Дарью Александровну) хозяйка показалась мне немногим привлекательней свиной туши.

– Глядите-ка, глядите! – Общительный капитан показал в окно. – Вот кому можно позавидовать!

Мимо гостиницы неспешно катило ландо, запряженное парой серых лошадей. Экипаж был щегольский, с парчовым балдахином, с золочеными подножками – колесница, да и только. На сиденье, лениво развалиясь, сидел румяный краснотелый молодой человек с моноклем в глазнице, что тогда было немалой редкостью. Но егерь показывал не на франта, а на его спутницу, чернобровую горянку ослепительной красоты. Ее бархатная шапочка была вся в серебряных украшениях, на шее в несколько рядов висели золотые мониста. Красавица грызла белейшими зубами орехи и выплевывала скорлупу. На своего кавалера она не глядела. Экипаж доехал до бульвара, развернулся и двинулся в обратную сторону.

К нам с капитаном присоединились еще несколько ожидающих. Один, проведший в городе уже несколько дней, сказал, что это князь из Петербурга, неслыханный богач и затейник. Ему за бешеные деньги выкупили у разбойников-абазехов рабыню, предназначенную для продажи в турецкий гарем, и теперь он наслаждается ее обществом. А фамилия

князя Бецкой.

– Не Бецкой, а Бельской, – поправил я. – Это Кискис, мой приятель. С Питера не видались.

Все поглядели на меня с почтением.

Капитан спросил:

– Что ж вы его не окликнете?

– Сейчас недосуг.

Не хватало еще явиться перед Кискисом в пыльных сапогах и потертом сюртуке!

Из записки, что пришла в форт от Базиля Стольниково, я знал, что он поселился в снятом князем доме. Как только мой номер был готов, я сразу послал Базилю записку, сообщив, что нахожусь в Серноводске. «Ежели вы с Кискисом не изменили своим привычкам, что навряд ли, ибо *bois tordu ne se redresse pas*,^[6] вечером я непременно застану вас дома за каким-нибудь безобразием, здесь ведь клубов да цыганских кабаков пока что не имеется, – писал я. – Я имел *effronterie*^[7] пригласить к вам дочку здешнего командующего *m-lie* Фигнер и еще одного Никитина, очень интересного субъекта. Однако, коли мы не ко двору, дай знать». В согласии Базиля я, впрочем, не сомневался и, дожидаясь ответа, начал приводить себя в порядок: мыться, подвигать виски и прочее. Сюртук я отдал гостиничному слуге, наказав вычистить его и выгладить, прыская вместо воды одеколоном.

Но надобно рассказать историю моих отношений со Стольниковым – человеком, игравшим такую важную роль в ранней поре моей жизни.

Юношей я был отдан в Дворянский полк, из которого впоследствии образовалось Константиновское училище. В конце 30-х годов это учебное заведение считалось не слишком завидным. Оно предназначалось для отпрысков небогатых и несановных семейств, и если выпускнику везло потом оказаться в гвардии, то не в самых блестящих полках.

Стольников, проучившийся у нас половину выпускного класса, отличался от прочих. Он был несколькими годами старше, богат и успел пожить. Опекун, недовольный образом жизни Базиля, определил его к нам в надежде, что атмосфера казармы благотворно воздействует на юного шалопая. Вышло наоборот. Стольникову у нас показалось скучно, а когда он скучал (то есть почти всегда), его изощренная фантазия не затруднялась найти способы развлечения. Скоро всё у нас забурлило. Начались тайные вылазки в город, кутежи, скандалы, даже два или три поединка, что прежде было невообразимо. Источник всех этих потрясений был неизменно тих,

хладнокровен, сдержан и считался у начальства немного ленивым, но вполне смиренным молодым человеком. Все искали дружбы Стольников, но удостоен ее был один я, да и то это скорее следовало бы обозвать более прохладным словом «приятельство». Так было и впоследствии, когда опекун умер, а Базиль достиг совершеннолетия. Люди, многие из которых были и старше его, и богаче, и даже в чинах, желали ему понравиться, сойтись с ним ближе – из любопытства, из безотчетной симпатии, из чуткости к его магнетическому притяжению или просто от опасения перед его злым языком, но Стольников сам выбирал, с кем знаться. Я полагаю, мне повезло ему понравиться просто оттого, что больше в Дворянском полку приятельствовать было не с кем. У нас в основном учились сыновья провинциальных помещиков или армейских офицеров, неразвитые и малоначитанные; на Базиль они смотрели, как монахи на архиерея. После того, как он вырвался на свободу, а я по праву одного из первых учеников вышел в гвардию, мы продолжали приятельствовать, хоть, конечно, уже не так тесно. Слишком разнился у нас образ жизни. Честно говоря, приятельство наше и прежде не было равным. Теперь же, когда я тянул фронтную лямку, а Стольников вел рассеянную жизнь Онегина или Красавчика-Браммеля, дистанция меж нами многократно увеличилась. Бывало, я неделями себе во всем отказывал, чтоб накопить немного денег и не ударить лицом в грязь на какой-нибудь вечеринке «брийантов». В конце концов такая жизнь мне надоела – вот одна из причин моего переезда на Кавказ.

Ответ в «Парадиз» доставили скоро. Стольников писал, что очень рад и что, конечно, я могу приводить, кого мне заблагорассудится. Записка кончалась словами: «У нас нынче персидский вечер, так что, прошу тебя, нарядись во что-нибудь восточное». Раньше я воспринял бы эту просьбу как приказ и немедленно начал бы ломать голову, во что бы такое нарядиться, дабы не оказаться хуже других. Не то теперь. Я должен был продемонстрировать Базилью, что отношения наши переменялись и я уж не тот, что прежде.

Но для начала я поступил так же, как в петербургские времена перед встречей со Стольниковым: произвел ревизию своих финансовых авуаров. И тогда, и впоследствии деньги значили для меня много – как для всякого, кто вырос в стесненных обстоятельствах. Даже в очень молодые годы я был хоть и не скуп, но расчетлив, умел копить и никогда не делал долгов.

В результате девяти месяцев размеренной жизни и очень небольших трат, а также уже поминавшейся хладнокровной карточной игры у меня скопилась невиданная сумма – около 650 рублей. Пятую часть я отложил в

неприкосновенный фонд, прочее постановил потратить в Серноводске – и ощутил себя Крезом.

Однако мне предстояло еще залучить на «персидский вечер» Олега Львовича – не мог же я обмануть Дашиных ожиданий.

Потому, едва мне принесли благоухающий сюртук и отутюженные панталоны, я повертелся перед зеркалом и отправился по адресу, оставленному Никитиным, благо ходу туда было не более десяти минут.

Меня разбирало любопытство. У такого человека и друг, должно быть, необычен. Этот самый капитан Иноземцов снимал небольшой домик с примыкающим флигелем, то есть, по серноводским понятиям, поселился роскошно, совсем не по капитанскому доходу.

Загадка объяснилась, едва я вошел в тенистый двор и увидел на бельевой веревке синий сюртук с серебристыми якорьками на обшлагах, но без эполетных контрпогончиков. Капитан оказался не армейский, а морской, притом торгового флота.

Я остановился в нерешительности, не зная, к которой из дверей идти, но тут увидал в раскрытое окошко флигеля знакомую волчью рожу. Галбаций хмуро глянул на меня, даже не кивнув, провел по пегой бороде клинком – на подоконник посыпалась обрезанная щетина.

Подойдя ближе, я услышал доносившиеся изнутри голоса и позвал Никитина. Он выглянул, пригласил войти.

Я попал в небольшую, очень светлую комнату с белыми стенами и простой, но удобной мебелью. У стола, на котором стояли бутылка рому и несколько мисок с закусками, сидели двое незнакомых мне людей. Они поднялись и поздоровались.

Один, в рубахе с расстегнутым на загорелой шее воротом, был немного за тридцать. Невысокий, плотно сбитый, с малоподвижным гладко выбритым лицом, почти коричневым от солнца, он мне сразу понравился. Это и был хозяин, капитан Российско-Американской компании Платон Платонович Иноземцов. Он не выпускал изо рта короткой черной палочки. Это, признаться, показалось мне странным, хоть я и слышал, что моряки – народ чудаковатый. Рукопожатие его было твердым, но осторожным, словно он боялся поломать мне кисть – в его пальцах чувствовалась немалая сила. Мне понравилось еще и то, что при появлении нового человека Иноземцов застегнул воротник и надел куртку. Он и в речи, когда произносил короткие, всегда по существу дела, фразы, тоже был неукоснительно вежлив, вставляя по-старинному «сударь мой».

Второй назвался доктором Кюхенхельфером. Он был лысый, бородатый, довольно полный, в очках и, по моим меркам, очень пожилой –

лет пятидесяти. Имя-отчество его было Прохор Антонович. Заметив, что я удивлен несоответствием фамилии исконно русскому имени, он объяснил, как, видимо, делал часто, что немец он только по фамилии, и помянул доктора Вернера из «Героя нашего времени», который тоже был чистый русак. Как я вскоре понял, Прохор Антонович познакомился с моряком в Серноводске, а Никитина впервые увидел только сегодня. Сошлись они, однако, как нельзя лучше – это было видно. Во флигеле вообще было очень славно, как это случается, когда встретятся умные и интересные друг другу люди. Мне предложили сесть к столу, и я с удовольствием согласился. Все равно нужно было улучить правильную минуту для разговора с Олегом Львовичем.

Понемногу я огляделся. Капитан, видно, привык быстро и комфортно устраиваться во всяком временном пристанище. Диван был накрыт пестрым, удивительно красивым одеялом с невиданным узором; на столике поблескивал маленький походный чайник со спиртовой горелкой; особенное мое внимание привлекла складная каучуковая ванна – я о таких слышал, но никогда не видывал.

Поймав мой взгляд, Никитин с улыбкой сказал:

– Это Платон Платонович меня обустроил. У него на половине еще нарядней. Старые холостяки – народец хозяйственный.

Двое остальных молчали, и у меня возникло подозрение, что я прервал какой-то важный разговор.

Кажется, я не ошибся, потому что Олег Львович успокоительно молвил:

– Продолжайте, друг мой. Про Григория Федоровича скажу вам то же, что вы давеча сказали мне о докторе: «При нем можете говорить без утайки».

Мы с Кюхенхельфером переглянулись – причем я попытался скрыть, что польщен, а он откровенно просиял, хоть слышал лестный о себе отзыв уже во второй раз. И то – по тогдашнему времени подобная аттестация могла считаться наивысшим комплиментом.

Иноземцов кивнул и тихим, спокойным голосом, всё посасывая свою палочку, стал рассказывать, что корабль его простоят в Севастополе еще месяц, если не два. Надобно дождаться, пока соберутся все мастеровые с семьями. Мне было пояснено, что капитан доставил из Аляски звериные шкуры, а обратно в Америку отвезет груз еще более ценный – разного профиля мастеров, которых так не хватает в русских колониях.

– Время на раздумье у вас, Олег Львович, еще есть, но немного. Право, решайтесь. Дадут вам выслужаться или нет, Бог весть. А так – милое дело.

Народу всякого на борту будет много, я вас легко спрячу. Третью неделю в этом городишке просиживаю, все не мог получить разрешение выехать к вам в форт. А раз вы сами пожаловали, чего ж лучше?

Не сразу я понял, что моряк преспокойно уговаривает Никитина дезертировать и нелегально покинуть на торговом корабле пределы России. За тем, видимо, Платон Платонович и завернул из Севастополя на Кавказ. Должен признаться, что, вопреки присяге и долгу, предосудительное сие намерение нисколько меня не возмутило. Напротив, капитан Иноземцов стал нравиться мне еще больше. Если б спросили моего суждения, я горячо поддержал бы этот преступный план, но ко мне не обратились, а сам я в присутствии этих немолодых людей соваться со своим мнением не осмеливался. Я сидел, тянул крепкий и вкусный ром, да помалкивал – самый лучший способ поведения для мальчишки.

Не то доктор. Его, как и меня, тоже не спрашивали, но он энтузиастически высказался за побег, причем брался сопровождать Иноземцова с Никитиным через черкесские горы, чтоб избежать возможной погони. Ему сказали, что никакой погони не будет – пока беглеца хватятся, они уж будут в Крыму. Тогда Прохор Антонович в качестве своего вклада в рискованное предприятие предложил ящик с пистолетами – они-де в дороге пригодятся, а ему совершенно не нужны.

– Зачем же тогда вы их покупали? – с улыбкой спросил Никитин.

– Не покупал. Подарили. Один ротмистр. Я его вылечил туземными травами от застарелого ранения. Платить ему было нечем, так он мне дуэльные пистолеты отдал, очень хорошие. Хотите, принесу показать?

Пистолетами Олег Львович не заинтересовался, а вот насчет «туземных трав» любопытствовал – и, похоже, угодил прямо под копыта любимого доктора конька.

Кюхенхельфер расцвел и произнес целую речь в прославление горской медицины, ради знакомства с которой он, оказывается, и приехал на Кавказ. Если верить доктору, туземные лекарисаибы много лучше европейских врачей умели исцелять огнестрельные раны. При помощи разных природных средств и самых простых инструментов они-де обрабатывают «раневой канал» так, что у их пациентов никогда не бывает гангрены. Не ведомы в горах и ампутации. Притом, если нужно, саиб способен произвести даже трепанацию черепа.

Мы с Никитиным слушали с огромным интересом. Известно, что люди военные боятся мгновенной смерти меньше, чем ранения. Заражение крови и антонов огонь свели в могилу куда больше народу, чем лихая гибель на поле брани. Олег Львович особенно заинтересовался словами доктора о

том, что пораженный пулей горец всегда первым делом вырывает из подкладки ком ваты и затыкает ею рану. Это останавливает кровь, а кроме того вата бывает пропитана особым травяным раствором, препятствующим нагноению.

– Говорят, на вершине Каратау, – Прохор Антонович показал на гору, с юга нависающую над Серноводском, – растет некий цветок акчой, по описанию – разновидность *Leontopodium alpinum*, иначе называемого эдельвейсом. Будто бы в ясный день на рассвете под воздействием лучей восходящего солнца на нем выступает какая-то особенная роса. Если в этот момент акчой сорвать и истолочь, получится превосходное кровоостанавливающее средство. Как бы я желал добыть этот цветок! Но для того пришлось бы с вечера карабкаться на высоту в семьсот саженей и мерзнуть там всю ночь. С моей одышкой и вечным бронхитом это невозможно... Разве что кто-нибудь исполнит это за меня?

Он жалобно обвел нас взглядом, однако добровольцев лезть на Каратау за каким-то цветком не сыскалось.

Капитан повернулся к Олегу Львовичу и спросил:

– Так что, сударь мой, насчет Севастополя? Клипер у меня славный. Не идет – летает.

– Не могу, – коротко ответил ему Никитин. – Есть одно обстоятельство...

И не договорил, а Иноземцов расспрашивать не стал. К этому разговору больше не возвращались. – «Не могу» – и кончено. Капитан, видно, знал, что Олег Львович слов на ветер не бросает, и отступился. Удивительные они были люди, оба.

Я всё думал, как бы мне заполучить Олега Львовича для разговора с глазу на глаз, и начинал опасаться за исход. Очень уж велика казалась разница меж этой компанией и обществом моих петербургских приятелей. Представить себе Никитина рядом с Кискисом Бельским или Тиной Самборской было трудно.

Разговор то стихал, то оживлялся, но тишина не смущала присутствующих. Галбаций, покончив со своим туалетом, начал вырезать узор на какой-то палочке; он ни разу не обернулся в нашу сторону и всё поглядывал в окно, будто находился в карауле.

Если завязывалась беседа, в ней участвовали только доктор и Никитин. Я помалкивал из робости. Капитан же вообще был не из разговорчивых. Когда раз, заспорив, врач спросил его мнения, он ответил, что согласен с обеими точками зрения, а впрочем так соскучился в плаваниях по умным рассуждениям, что слушал бы и слушал.

Спор был о Лермонтове.

Началось с того, что Прохор Антонович вновь помянул доктора Вернера из «Дневника Печорина», сказав, что хорошо знает Майера, с которого списан этот персонаж, и что Николаю Васильевичу ужасно повезло: после публикации романа он сделался курортной знаменитостью и не имеет отбоя от пациентов, особенно барышень.

От персонажа перешли к автору. Поэт был убит на дуэли менее года назад, совсем неподалеку от этих мест, его слава после смерти достигла всероссийских размеров. О Лермонтове тогда говорила и спорила вся читающая публика, девушки списывали его стихи в альбомы, а молодые люди вроде меня примеривали на себя роль Печорина. Нечего и говорить, что я слушал спор с великим интересом, тем более Кюхенхельфер был знаком с поэтом и говорил о нем очень живо, с массой деталей. Сейчас многие из них известны по воспоминаниям современников, так что не буду пересказывать через третьи руки. Существенно, что Прохор Антонович знал поэта с не лучшей его стороны и отзывался о нем неприязненно: позёр, человек сомнительной нравственности, любитель поиграть в демоничность, сам виноват в своей гибели и прочее подобное. Доктор не отрицал грандиозности лермонтовского дарования, однако тем паче винил покойника за несоответствие личных качеств Божьему Дару.

Очень скоро, как почти всегда бывает у людей умных, разговор перешел от частного случая к обобщению. Заспорили о том, больший или меньший спрос в смысле человеческих качеств надо предъявлять к гению.

Прохор Антонович стоял на позиции пушкинского Моцарта, что гений со злодейством несовместны, и логически развивал эту позицию, говоря: «Кому более дано, с того более и спросится. Как мог Лермонтов опускаться до мелкого разврата, склок и сплетничества, ежели он – гений? Тем самым он оскорблял и унижал свой Дар». Кюхенхельфер, в принципе осуждая дуэли, до некоторой степени оправдывал убийцу, говоря, что Лермонтову не хватило великодушия извиниться за гнусность и тем самым он не оставил несчастному Мартынову выбора. Или что ж – обычному человеку можно безропотно сносить от тебя оскорбления, коли ты гений?

Олег Львович на это сказал, что к людям нужно подходить с разной меркой. Рысак всегда будет стоять много дороже извозчичьей клячи, борзую ценят по скорости, а лягавую по остроте нюха.

– Человек – венец природы, а не лошадь и не собака! – закричал доктор.

– Это всего лишь определяет иной критерий оценки.

– Какой же, позвольте узнать?

– Очень простой. Один крадет у человечества, другой дает. И чем больше дает, тем выше ему цена. А кто одаряет человечество больше, нежели личность, наделенная Даром и щедро его расходующая? Почему же я должен с человека, так много для меня сделавшего, спрашивать строже, чем с какого-нибудь Мартынова? Наоборот, я буду к гению снисходителен и извиню все его слабости – из благодарности.

Кюхенхельфер презрительно скривился:

– Э, голубчик, вы, я гляжу, приверженец аристократической теории. Да будет вам известно, что она погребена по ту сторону 1789 года. И мы, нравится вам то или нет, движемся в сторону свободы, равенства и братства, когда у последнего нищего будет столько же прав, сколько у вельможи! И я говорю не только об аристократии крови!

– Я всегда думал, что права бесплатно не достаются, их надобно заслуживать или завоевывать, – молвил на это Олег Львович. – Таков закон и природы, и общества. – Он мирно заключил. – А впрочем, поживем – увидим, куда мы движемся.

Лучшего завершения для спора нельзя и придумать – обычно с таким выводом соглашались все. Остался доволен и Прохор Антонович.

– Ну то-то, – сказал он с торжествующим видом. – Однако что ж мы всё умничаем. Не сыграть ли в карты?

– Не имею привычки, – развел руками Никитин. – С юности редкостно неудачлив во всем, что касается games of chance^[8] – как в узком, так и в широком смысле.

Иноземцов засмеялся:

– Так легко вы от него, сударь мой, не отделаетесь. Доктор у нас изобретатель новых карточных игр.

Тот уж доставал из кармана колоду – странную, с рисованными изображениями растений.

– Здесь удача почти не нужна, – начал объяснять он. – Только ум и расчет. Вот, извольте посмотреть: четыре отряда растений подразделяются каждый на восемь видов. Старшинство по количеству лепестков... Молодой человек, и вы присоединяйтесь.

Я уклонился, последовав примеру капитана – тот сказал, что в цветы эти он уже играл и безбожно продулся. Никитин же стал слушать инструкции. Вероятно, не хотел обидеть доктора. Возможно и другое: я заметил, что Олег Львович интересуется всем новоизобретенным, пусть бы даже и карточной игрой.

Они пересели к ломберному столику, вместо денег каждый положил перед собой кучку тыквенных семян, и пошла игра. Я остался вдвоем с

моряком.

Сидеть без разговору было странно, притом я очень хорошо понимал, что Платона Платоновича мне не перемолчать. Он думал о чем-то своем, по временам поглядывая на меня с приятной улыбкой, как бы показывавшей, что он готов послушать, если я ему что-нибудь расскажу, но не будет возражать и против безмолвия.

Долее пяти минут я, однако, не выдержал. И, лишь бы что-то сказать, спросил:

– А позвольте спросить, отчего у вас во рту палочка?

– Привык к сигарам. Кубинским. Ничего иного курить не могу. Из-за каких-то таможенных раздоров с Испанией «гаваны» к ввозу на территорию империи воспрещены. У меня был запас, да в дороге чемодан украли – как раз где табак.

Отвечено было чётко, ясно, исчерпывающе. Мы опять умолкли.

– Ну и дрянь у вас карта, – громко подивился доктор. – Эк вам не везет!

Олег Львович сказал:

– Попробую выкрутиться. С хорошей картой выиграть – заслуга невеликая.

Мне пришло в голову спросить о Никитине. Любопытно было, когда и где они подружились. Быть может, в Сибири? Ведь корабли Российско-Американской компании ходят и к тем берегам.

Только я открыл рот, как Платон Платонович заговорил сам.

– Удивительного невезения человек Олег Львович. Он мне про это рассказывал, когда мы вместе в камере сидели.

«Вот оно что!» – подумал я, поглядев на капитана по-новому.

– Он это обосновывал логически, с точки зрения высшей справедливости. – Губы Иноземцова тронула сдержанная улыбка. – Свою невезучесть дефинировал как особую взыскательность судьбы. Человек сильный должен в любой шторм идти своим курсом, не ожидая попутного ветра.

– Вы тоже, как Олег Львович, были среди заговорщиков? – понизив голос, спросил я.

– Ни я, ни он, сударь мой, в заговоре не участвовали. – Платон Платонович сердито покосился на свою обгрызанную палочку – она портила ему настроение. – Я-то кому мог сдать в серьезном деле, в мои семнадцать лет? А Олега Львовича вы знаете. Он и тогда такой же, как сейчас, был. Если б оказался меж заговорщиков, совсем иной бы у них коленкор вышел. Но он попал в столицу прямо четырнадцатого, сразу

поспешил на площадь – и угодил под картечь... А меня, сударь мой, арестовали из-за того, что я несколько раз у Рылеева бывал. Он, как некоторые другие бунтовщики, в Российско-Американской компании служил. Я же был свежеиспеченный мичман, только из корпуса. Мне послушать про дальние края и плавания было интересно. Ну и люди там, конечно, собирались особенные, залюбуешься. Теперь, сударь мой, таких нет... В общем, ни к чему тайному меня не допускали, только пару раз по дружеству просили отнести к себе в гвардейский экипаж какие-то записки старшим офицерам. Сыскались, однако, доброжелатели, и оказался я в одной камере с Никитиным. Крепость была переполнена арестованными, на всех одиночек не хватало... – Он отложил палочку, но через минуту снова сунул ее в рот. – И был у меня с ним примечательный разговор, м-да... Я сказал, что собираюсь на допросе всю правду рассказать, потому что я, сударь мой, офицер и лгать считаю низостью. Честно скажу, что знал и очень уважал Рылеева с Батеньковым, что носил письма в экипаж, а кому именно, говорить не стану, ибо зазорно. Но Олег Львович меня охолонул. «Полноте, говорит, с этими господами в благородство играть нечего. Бисер перед свиньями. Запоминайте: у Рылеева вы бывали в расчете получить хорошее место в колониях – и только. Писем никаких никому не передавали – это вас оговорили. И стойте на своем». Я ему: «Вы не всё знаете. Вчера, когда вас на допрос водили, тюремщик перехватил записку, что мне сверху на нитке спустили. От Николая Бестужева. Пишет, чтоб его имени не поминал, а то ему и так худо. Записка эта теперь – главная против меня улика». Он говорит: «Там в записке ваше имя названо?» «Нет». «Ну так она была не вам, а мне подброшена. Нынче же в том признаюсь». Я, натурально, не соглашаюсь, а он мне: «Бросьте мальчишничать. Я все равно пропал – не отверчусь, а вас вытянуть еще можно. Вырвать из ихних когтей живую душу будет для меня победой и утешением». И ведь вырвал! Ничего против меня не доказали, и отделался я, сударь мой, пустяками. Из гвардейского экипажа был послан на Дальний Восток, а там подал в отставку и перевелся в Российско-Американскую компанию. Чего только не повидал, где только не побывал! А посмотрели б вы на мой красавец-клипер! Самый быстрый на весь Тихий океан! В общем, судьба у меня сложилась счастливо. И всё, сударь мой, благодаря ему.

Капитан кивнул на Никитина. А у того, судя по триумфальному виду доктора, дела были совсем плохи. Напоследок он пошел ва-банк, вскрыл какой-то цветок всего с тремя лепестками и под хохот Прохора Антоновича спустил последние семечки. Кюхенхельфер потребовал к барьеру капитана. Тот поупирался, но будучи человеком вежливым и покладистым, перед

напором не устоял.

Наконец, я мог поговорить с Олегом Львовичем о деле. Сказать правду – что с ним любопытствует познакомиться некая барышня – я, конечно, не мог. Приказывать как командир нижнему чину тем более было немыслимо. Поэтому я прибег к хитрости.

– Кажется, вам очень повезло, – зашептал я. – А еще пеняете на удачу. Представьте, я повстречал своих петербургских знакомых. Один из них, князь Константин Бельской, сын докладчика у государя, человека очень влиятельного. – (Это, положим, было правдой). – Мне пришло в голову свести вас. Кискис, этот мой приятель, без царя в голове, но в сущности славный малый. Просить его вы не станете, я знаю, – и не нужно. Уверен, что вы ему понравитесь, и он сам предложит свою помощь. Старик князь в сыне души не чает. Сегодня в восемь я обещался быть у них со своим товарищем – то есть с вами. Даже если ничего не выйдет, зачем упускать случай?

Он слушал меня, все больше хмурясь. Моя затея ему определенно не нравилась. Я думал – откажет. Но потом Никитин как будто вспомнил о чем-то. Тряхнул головой, пожал мне руку.

– Спасибо, что желаете помочь. Что ж не сходить, сходить можно.

Внутренне я вздохнул с облегчением. Сказал ему адрес и попросил быть там ровно в четверть девятого.

Всё складывалось отменно.

Глава 6

Настоящая жизнь. «Блестящие». В зоологическом саду. Даша и Базиль.
Я становлюсь Печориным

Сам я собирался быть у Базиля, то есть, собственно, у Кискиса, к восьми. Четверть часа я клал на то, чтоб поставить себя с петербургскими приятелями на новую ногу. Они должны были понять, что я не прежний, что я переменялся, и относиться ко мне теперь следует иначе. Не хватало еще, чтоб в присутствии Дарьи Александровны кто-то из «брийянтов» позволил себе надо мною насмешничать (прежде, увы, случалось и такое). Даше я и вовсе назначил половину девятого. По моему расчету, Олег Львович своим появлением, самым воздействием своей личности должен был к дашиному приходу окончательно привести питерских снобов в укрощенное состояние.

Таким образом я подготовился к вечеру, будто полководец к генеральному сражению. Наряд мой был продуман до мелочей. Я намеренно не надел парадного мундира, а моя фуражка была рыжей от солнца. Но на боку у меня висела золотая сабля «за храбрость», которой я нарочно, не без сожаления, расцарапал эфес, чтоб не сверкал новизной. Перед зеркалом я попробовал разные выражения лица и остановился на загадочно-непроницаемом. В Петербурге от неуверенности я слишком много говорил и все время пытался острить; теперь же, для контраста, постановил себе помалкивать и только на всё слегка улыбаться (эту манеру я позаимствовал у славного капитана Российско-Американской компании). Настроение притом у меня было самое приподнятое. Наконец-то начиналась – или возвращалась – настоящая жизнь!

Бельской, как следовало ожидать, занял один из лучших домов Серноводска, временно пустовавший за отъездом хозяина, богатого татарина-коннозаводчика. Это был особняк с бельэтажем, хоть и не вполне изящных пропорций, но с классическим фронтоном и колоннами. По двору слонялась челядь – Кискиса вечно сопровождал целый табор лакеев, грумов, казачков.

Встретивший меня дворецкий, которого я знал еще в столице, был в большущем тюрбане и каком-то балахоне с нашитыми на него золотыми полумесяцами. Из покоев доносился пряный запах курений.

Я оказался в гостиной, убранной по-азиатскому – верней, соответственно представлениям петербургских шалопаев о Востоке: всюду

пестрые ковры, подушки, занавеси разноцветного шелка. Мебель отсутствовала, если не считать низких столиков.

Первой я увидел Тину Самборскую, известную в свете красавицу и законодательницу мод. Она возлежала на полу, очень смело одетая в шальвары и нечто кисейное, полупрозрачное, закинув ногу на ногу и покачивая золоченой турецкой туфелькой – было видно голую точеную щиколотку, нарочно выставленную напоказ. Во рту у Тины поблескивал мундштук кальяна.

– Глядите, кто пришел, о повелитель, – выпустив клуб дыма, сказала она равнодушно.

Тина и в Петербурге не проявляла ко мне никакого интереса – ее привлекали кавалеры иного полета.

– Ба-ба-ба! – протянул Кискис (графиня обращалась к нему). – Вот и наш шотландец! Добро пожаловать, милорд!

Он был заправским падишахом – в парчовой чалме, в сверкающем халате и прицепленной пушистой бороде.

На «шотландца» и «милорда» я нахмурился. Чего-то в этом роде я и ожидал, потому и пришел раньше Никитина с Дашей.

В свое время, желая придать себе больше веса, я как-то обронил, что моя фамилия прежде писалась не «Мангаров», а «Монтгаров», ибо по семейному преданию мы происходим от того самого Монтгомери, капитана шотландской гвардии, который на турнире пронзил копьем короля Генриха Второго. (Не нужно осуждать меня за эту фантазию слишком строго – напомню, что сам великий Лермонтов, будучи юнкером, уверял однокашников, будто происходит от испанского герцога Лермы).

– Заткнись, Кис, – раздался ленивый, хорошо мне знакомый голос. – Полно вздор молоть. Ну, Грегуар, дай-ка на тебя посмотреть.

Из-за пышного букета роз, поставленного в огромную фарфоровую вазу, поднялся высокий блондин с правильными, но какими-то очень холодными, словно высеченными изо льда чертами. Это и был Базиль. Предводитель «блестящих» был наряжен янычаром, с небрежно пририсованными усами, однако без головного убора – вероятно, чтобы не портить прическу, которой Стольников всегда придавал большое значение.

Его полусонный, но, как я отлично знал, ничего не упускавший взгляд осмотрел меня.

– Tiens-tiens!^[9] – сказал Базиль после короткой паузы. – Я ждал увидеть папаху, кинжал и прочее. Пехотный сюртук с белой фуражкой – это, по здешним нравам, стильно. Ну, поди, дай пожать твою ruaternya.

Изъяснялся он всегда на французском, иногда вставляя для

выразительности грубые или простонародные русские словечки. (Позднее в «Войне и мире» я встретил персонажа с такую же привычкой и сразу подумал, что граф Толстой в своей светской юности наверняка знал Стольников и позаимствовал у него эту характерную примету.) Сам я, наоборот, неизменно отвечал ему по-русски, временами вкрапляя что-нибудь французское. В отличие от Базиля, в детстве я не был окружен гувернерами из прежних версальских аристократов и владел этим языком нечисто.

Там был еще один человек, мне незнакомый. Он был наряжен гаремным евнухом, чему вполне соответствовала круглая физиономия с атласно-румяными щечками и черными, как сливы, глазами.

– Вот, здешнее мое приобретение. Полезный субъект, большой забавник, – аттестовал его Базиль, нисколько не заботясь присутствием «субъекта». – Мсье Лебеда...

– Он же «граф Нулин», – подхватил Кискис.

– Это мой *nom de plume*,^[10] – с улыбкой пояснил евнух, пожимая мне руку своей небольшой и мягкой лапкой. – Печатаю статьи о Кавказе и местных нравах в «Северной пчеле» и «Библиотеке для чтения». Так сказать, ума холодные наблюдения. А вообще-то служу в канцелярии начальника Кавказской области, в Тифлисе.

– Что угодно раздобудет, обо всем осведомлен, умеет быть приятным и не способен обижаться, – завершил представление Базиль. – В общем, далеко пойдет.

– Твоими бы устами. – Нулин-Лебеда поплевал через плечо, чтоб не сглазить, растянул сочные губы в добродушной улыбке – и я увидел, что такого, пожалуй, обидеть трудненько.

Стольников и в Петербурге вечно держал подле себя одного-двух распорядительных шутов, умевших потрафить его капризам. Я решил, что журналист Лебеда внимания не заслуживает.

– Будет о нем, – небрежно сказал Стольников. – Что ты? Много ирокезов оскальпировал? Нет, серьезно, случилось тебе уже убивать?

Я, по-прежнему не раскрывая рта, улыбнулся и словно невзначай поправил темляк своей геройской сабли. Вопрос, который задал Базиль, бывалый вояка оставил бы без ответа. Я лишь пожал плечами.

– Скажите лучше, где одалиска, с которой я видал Кискиса на бульваре? Мне в «Парадизе» наболтали небылиц о купленных рабынях и черт знает о чем.

Князь сделал прекомичную гримасу.

– С черкешенкой я дал маху. Лермонтовской Бэлы из нее не вышло, –

стал он рассказывать под всеобщий смех. – По-русски не понимает, все время ест, день ото дня толстеет и ужасная дура.

– Ты расскажи, как пытался затащить ее на ложе сладострастия! – прыснула Тина.

– Да. В первую же ночь попробовал я к ней подкатиться... – Кискис почесал затылок под чалмой. – Что ты думаешь? Зашипела по-змеиному и вынула из-под этого своего халата нож. Я не понял, меня она хотела убить или сама зарезаться, но больше к ней не суюсь. Ну ее к черту...

Тут и мне сделалось смешно. Я с удовольствием присоединился к всеобщему хохоту.

– Шесть... тысяч... он за нее выложил, серебром! – еле выговорила графиня, держась за живот.

Живот был голый, со сверкающим камнем в пупе, и я поневоле всё косился на это невиданное в петербургских салонах зрелище. Ах, как славно было вновь оказаться среди своих!

В разгар веселья появился дворецкий и объявил о приходе господина Никитина. Было ровно четверть девятого.

– Это тот самый человек, что служит под моим началом, – сказал я, приняв серьезный вид. – Он попал на Кавказ из Сибири. В Питере такого не встретишь.

– Проси, – велел слуге Кискис. – Я редких зверей люблю.

Вошел Олег Львович, все в той же черкеске, сделал общий поклон – легкий и изящный, без чрезмерности. Я всех познакомил.

Свита с любопытством ждала, как встретит нового знакомого непредсказуемый Базиль. И тот их не разочаровал.

– Мангаров сказал, вы из Сибири? Уж не из каторжников ли?

– Из них, – после паузы, тоже по-французски, отвечал ему Никитин. Очевидно, он не сразу понял слово *quatorzник*, произнесенное на русский манер.

Глаза Стольниковца блеснули любопытством – большая для него редкость.

– Должно быть, очень интересно участвовать в настоящем заговоре!

– Не пробовал. – Олег Львович говорил благожелательно и спокойно. – Я, видите ли, прибыл в столицу четырнадцатого, услышал о событиях – поспешил на Сенатскую площадь. Походил меж теми и этими, присмотрелся. Выбор, к кому присоединиться, был нетруден. Порядочные люди, кого я знал, оказались в одном каре, а все знакомые подлецы – в другом.

– Да, не повезло, – вздохнул Стольников. – Это называется «*V tchujom*

piru rokhmelye». Признайтесь – только честно, без рисовки: сколько раз за минувшие годы вы пожалели, что не приехали в Санкт-Петербург днем позже?

– Ни разу. Но много раз жалел, что не приехал тринадцатого и не был у Рылеева, когда там составлялся план восстания.

Я послал ему красноречивый взгляд, означавший: «Осторожно! Вы тут не со своими друзьями!» У «брийянтов» дозволялось нести любую жеребятину, даже богохульствовать, но дел политических в разговорах не касались никогда (не сказать, впрочем, чтоб кого-то из этой компании занимала политика).

– С вашим даром убеждения вы наверняка отговорили бы бунтовщиков от их безумной затеи, – быстро сказал я.

Меня особенно беспокоил бойкоглазый Граф Нулин из губернаторской канцелярии.

Олег Львович, кажется, понял, но не поддержал моих слов – просто промолчал.

– Интере-есно, – протянул Базиль.

В его устах это был самый высший эпитет. Я почувствовал себя польщенным. Приход Никитина, как я и надеялся, повысил мое реноме. «Погодите, – думал я. – Вы еще моей Даши не видали».

Разговор между «блестящими» продолжился уже без участия Олега Львовича, который, оглядевшись, сел по-турецки на одну из подушек и достал свою трубку. Спрашивать позволения у единственной дамы он не стал, потому что Тина и сама старательно пускала струйки кальянного дыма.

Меня поразило, как естественно и уверенно держится Никитин в непривычной и, должно быть, совершенно чуждой ему компании. Он был в положении бесправном, много старше, одет самым непритязательным образом, а сюда явился в качестве «редкого зверя», но было в его позе и взгляде что-то такое, отчего возникло ощущение, будто это он находится в зоологическом саду перед клеткой с какими-то занятыми экзотическими животными – к примеру, мартышками. Вот, пожалуй, самое главное отличие, выдававшее в Олеге Львовиче особенного человека: он в высшей степени обладал редким даром моментально решать, как нужно поступить в критической ситуации и как должно себя вести в ситуации обычной. Я поминутно посматривал в его сторону, стараясь копировать позу и выражение лица. Мне не хотелось, чтоб он и меня зачислил в мартышки.

Однако нужно было завязать общую беседу, перекинуть между Никитиным и остальными какой-то мостик. Мне пришел на ум Лермонтов.

Я знал, что у Олега Львовича есть на сей предмет свой оригинальный взгляд. У «брийянтов» поэт после своей романтической гибели тоже стал почитаться фигурой импозантной, так что выбор темы показался мне удачным.

– Правда ли, что ты знавал Лермонтова? – спросил я Стольников. – Расскажи.

– Что рассказывать? – Он пожал плечами. – Маленький злока, одержимый всевозможными амбициями. Желал признания, любви красавиц, всеобщего обожания иль, на худой конец, ненависти. И ужасно бесился, что ничего этого не имеет. Лермонтов был ходячий желчный пузырек («petite roche-de-fiel»). Уверен, что именно перепроизводство желчи было топливом его таланта. Он очень умно поступил, что дал себя убить. Теперь мы, хочешь не хочешь, обязаны восхищаться им и его сочинениями.

Я искоса взглянул на Никитина – что он? Тот молчал.

– Он мне хотел стихотворение посвятить, а я снасмешничала. Дура! – сокрушенно сказала Самборская – Сейчас бы вся Россия в альбомы переписывала. Главное, мое имя так удобно для рифмовки! «Тина – картина», «Тина – каватина»...

– Тина – скарлатина, – подхватил Граф Нулин.

Остальные засмеялись, и разговор о Лермонтове продолжения не получил.

Самборская, кажется, была задета шуткой, а не в ее правилах было спускать обидчикам. Прищурившись, она посмотрела на журналиста.

– Как вам к лицу наряд евнуха. Судя по гладенькой коже, борода у вас не растет. Отчего бы это? Может, вы, граф, и вправду евнух?

Мсье Лебеда хихикнул, нисколько не задетый.

– Ах, милая Тиночка, ничего-то вы в евнухах не смыслите. Мы бываем двух видов: турецкие и персидские. У первых вполне может быть и бороденка, у вторых же – никогда. Это из-за того, что в султанском гареме нам делают так называемое «малое усекновение», а в Персии как стране более основательной – «великое усекновение». Вот я вам покажу разницу на примере фруктов.

Он взял с блюда банан (они в ту пору были очень редки и продавались по рублю штука), два мандарина, и начались такие скабрёзности, что, кабы я не знал свободных нравов этой компании, то был бы скандализован. Но графиня нисколько не смутилась, она хохотала громче Кискиса, обозвала журналиста «поросенком» и кинула в него огрызком груши.

– Благодарю за общество. У меня еще дела.

Никитин поднялся и, поклонившись так же непринужденно, как в начале, вышел.

Я догнал его в прихожей. Мне во что бы то ни стало нужно было задержать его до прихода Дарьи Александровны.

– Куда же вы? Мы еще не подступились к разговору, ради которого я вас привел! Вас покорибил этот шут? Не обращайтесь внимания, сейчас в столице модно бравировать цинизмом.

– Покорибил? После каторги да казармы? Полноте! – Олег Львович казался удивленным. – Не в том дело. Просто ваш приятель ничего не делает.

– Почему вы так уверены?

– Вижу. Князь Бельской – идиот, к его ходатайству никто не прислушается. А впрочем, такой и ходатайствовать ни за кого не станет. – Никитин пожал мне руку. – Вы знаете, где меня искать. Сегодня в ночь мы поедem на охоту. Иноземцов мечтает повстречать горного козла, а доктор собирать каких-то трав. Вернемся послезавтра. Вечером, если не будете заняты, милости прошу к нам.

Я не знал, чем его удержать, но здесь наконец вошла Дарья Александровна. Хоть я расстался с нею всего несколькими часами раньше, у меня было чувство, будто я очень давно ее не видел и за время разлуки она еще больше похорошела.

– Благодарю вас, – сказала она дворецкому. – Меня уже встречают.

Вопросительно посмотрела на Олега Львовича, потом на меня.

– Добрый вечер. – Голос у меня пресекся. Я был принужден откашляться. – Вот, собственно... Вы желали познакомиться... Господин Никитин, Олег Львович.

Я поймал на себе несколько удивленный взгляд Никитина и поздно сообразил, что, кажется, себя выдал.

– Дарья Александровна Фигнер, дочь командующего линии, – поспешно сказал я. Последнее я присовокупил, чтобы Олег Львович подумал, будто и это знакомство мною устроено, дабы увеличить число его заступников.

Она смотрела на него неотрывно – и так жадно, что для простого любопытства этого, пожалуй, было многовато.

– Весьма польщен, – молвил Олег Львович довольно сухо и бровями подал мне знак, который, очевидно, означал, что пользоваться протекцией генеральской дочки – это для него *hors de considération*. – Однако мне пора, поспеваю откланиваюсь. У молодых свои занятия, у нас, стариков, свои.

– Какой же вы старик? У вас глаза молодые, – странным голосом

сказала Даша, да и слова, честно говоря, для барышни были странные.

Он с улыбкой поклонился и вышел.

– Ах! Он, верно, счел меня дурочкой! – Дарья Александровна от досады даже топнула. – Отчего вы его не остановили? Я... я так хотела поговорить с простым солдатом!

Она прибавила последнюю фразу, глядя мне через плечо. Я обернулся и увидел, что с порога гостиной за нами наблюдают Стольников и Лебеда.

– Это мадемуазель Фигнер, о которой я говорил, – невозмутимо сказал я, с гордостью видя, как заинтересованно они смотрят на прелестную гостью. И представил Даше обоих.

– Скотина ты, братец. – Базиль никогда не целовал женщинам рук, не стал этого делать и сейчас, но поклонился с элегантной почтительностью. – Предупреждать нужно. Я бы хоть усы стер. Ради такого знакомства.

Он умел быть чертовски галантен, когда желал произвести приятное впечатление.

Граф Нулин подскочил к Даше и предложил проводить ее в соседнюю комнату, где она сможет выбрать себе любой восточный наряд, причем уверял, наглец, что его можно нисколько не стесняться, ибо он – евнух.

В гостиной на гостью с объятьями налетел Кискис – на правах родственника, но Дарья Александровна от него мягко отстранилась. Не стала она и переодеваться. Вид у нее был расстроенный.

Давненько не наблюдал я Стольникова в таком оживлении. Он спросил, каковы Даше здешние воды сравнительно с немецкими, а когда она отвечала, что за границей никогда не бывала, разразился целой речью на патриотическую тематику. Приступы разговорчивости случались с ним нечасто, но, если уж он говорил, то краснó и остро. Означать это могло лишь то, что госпожа Фигнер ему понравилась. Я уж был не рад, что вздумал хвастать перед «блестящими» дамой своего сердца.

Стольников начал объяснять, почему он никогда не променяет отечество, каким бы уродищем (*n'importe quel sort d'ourodistiche*) оно ни было, на заграницу.

– Что ж я поеду оттуда, где мне удобно, туда, где всё сшито на чужую мерку? И кому я там сдался? В Лондоне иль Париже своих чайльд-гарольдов хватает, я для них буду папуас, дрессированный медведь. Ежли б я был князь и баснословно богат, как наш Кискис, тогда иное дело. Таких иностранцев там любят и слетаются на них, будто мухи на мед. А всего противней для нашего брата-roussak то, что они там у себя существуют по законам, а мы привыкли жить по правилам. Правила наши просты и понятны. Не нарушай их – и твори, что хочешь. Конечно, в случае, если

тебе повезло родиться при дворянском гербе и хорошем наследстве.

– Что ж это за правила? – спросила Даша.

С упавшим сердцем я видел, что она начинает слушать Стольников с интересом. Как только он, бес, с первого же взгляда понял, что этой девушке нужно не комплименты говорить, а завлекать ее острым разговором?

– Их всего три. Не хули tsar, не дразни psar (то бишь голубые мундиры), не задирай церковь. Все это мне нисколько не в тягость. Где царь, а где я? Нам друг до дружки нет никакого дела. То же с голубыми псарями. Что интересно им, не занимает меня – и наоборот. С церковью того проще. Мой духовник – всем тут известный Фофо, prepodobny Foty, человек нашего круга. Он, кстати, Грегуар, пока ты отсутствовал, стал preosvyastchenny – назначен викарным епископом. В тридцать три-то года! Впрочем, пожалеем его. Все время ходить в рясе и часами отстаивать службы смертельно скучно.

– Смертельно скучно жить по вашим правилам, – сказала вдруг Даша. Я уже знал в ней эту недевичесью прямоу и успел ее полюбить. – Вы странный. Будто нарочно хотите себя унижить. Сделаться хуже, чем вы есть.

Базиль поглядел на нее с еще большим любопытством. Она кивнула всем:

– Прощайте, господа. Не буду мешать вам веселиться.

Я пошел ее проводить и, чуть задержавшись в дверях, услышал, как Самборская произнесла:

– Фу ты, ну ты! Ты, Базиль, только попусту хвост распускал.

Мы с Дарьей Александровной расстались у ее экипажа.

– До свидания, Григорий Федорович. Заезжайте завтра утром. Поговорим.

Потом я быстро вернулся в дом, мне хотелось послушать, как «брийянты» будут обсуждать моих знакомцев.

Я вошел, когда Кискис говорил:

– ...после того, как тетушка вышла замуж за этого солдафона. И правильно сделали: дочка у них получилась скучная и манерная, сами видели.

– Личико постненькое, вместо бюста среднерусская равнина, и – вы заметили? – на лбу прыщики, – подхватила графиня.

– Нет у нее на лбу никаких прыщиков! – возмутился я.

– Есть! Просто она их замазывает. Уж мне ль не знать!

– Нету прыщиков! Вы просто взревновали!

– Я?! К этой простушке!?

Мы, наверное, препирались бы еще долго, но Базиль поднял палец, и наступила тишина.

– Теперь мне понятен смысл названия «Серноводск», – изрек арбитр. – Оказывается, здесь водятся серны.

Тина надула губки, Кискис же сразу переменял позицию и стал говорить, что Фигнеры вообще-то довольно славные и «солдафону» сулят большой взлет, причем в самом скором времени.

– Это вопрос почти решенный, – с важным видом подтвердил Лебеда. – Ждем только прибытия военного министра. – Он сверкнул на меня своими блестящими глазками. – А вас, мсье Мангаров, можно поздравить. Как мадемуазель Фигнер на вас смотрела! Барышня презавидная, папаша опять же... Браво! Никитин ваш тоже презабавный.

Стольников обронил:

– Да, Грегуар, ты сильно переменялся. Был, уж извини, цыпленок цыпленком, а стал прямо Печорин. Интересные личности к тебе сами тянутся. Что Кавказ с людьми делает!

Я был на седьмом небе и боялся только, что покраснею от удовольствия.

Кискис объявил:

– Всё, больше он не Шотландец. Так и буду его звать: «наш Печорин». Или «наш Байрон». Выбирай!

Тут – пришлось кстати – я получил возможность вернуть слышанное от Олега Львовича:

– Только не Байрон! Что Байрон? Плешивый толстяк с масляными глазами.

– Как-как? – переспросил Базиль. – Нет, ты решительно стал оригинален.

– Выпьем за нашего Печорина! – провозгласил Граф Нулин. Он уже не казался мне таким противным, как вначале.

– Так вы находите Никитина интересным? – спросил его я.

– Только в том смысле, что он адски смешон. Я слышал про него. Человек из очень хорошей семьи, с состоянием, был принят в самых лучших домах. И что же? Потерял всё из-за собственной дурасти!

Стольников возразил ему:

– Время тогда было смешное, поэтому, наверное, Никитин смешным не казался. Но сегодня он выглядит нелепо. Так нелепа большая морская рыба, по ошибке заплывшая в реку. Время – оно ведь как вода. Течет, меняется. А Никитин не понял, что вода перестала быть соленой. Раздувает жабры, топорщит плавники. Он – ходячий анахронизм. Экспонат из

кунсткамеры.

Вердикт был сформулирован и провозглашен. Об Олеге Львовиче говорить перестали.

Мы ели и пили чуть не до рассвета. Я демонстрировал «блестящим» свою меткость в пистолетной стрельбе, Граф Нулин и Тина представляли пикантную сценку «Влюбленный евнух», Кискис пел серенаду перед запертой спальней своей черкешенки.

В четвертом часу Стольников, зевнув, сказал, что становится скучновато, и «персидский вечер» закончился.

Я шел к себе в «Парадиз», пошатываясь. Сердце мое, что называется, пело, грудь горделиво раздувалась, в ушах стоял звон от вина, криков и пальбы.

Глава 7

Эволюция чувства. На пикнике. Я негоден в любовники. Дары волшебницы. Беседа на отвлеченные темы

Мне теперь грустно и смешно вспоминать траекторию, по которой двигались пылкие чувства молодого человека сороковых годов, – я ведь был совершенно заурядным, как теперь говорят, среднестатистическим продуктом своей среды и эпохи. В ту майскую ночь я не мог уснуть, что нормально для влюбленного. Но первое, что начало волновать мое воображение, – это выгоды, которые мне сулила взаимность предмета обожания. Мне представлялось, каким блестящим поворотом для моей карьеры окажется эта партия. Прикидывал я, увы, и то, какое можно получить приданое. Фигнер был не из вояк, выслужившихся своей саблей, а хорошего старого рода и, по всем приметам, богат. Но постепенно молодая кровь разогналась, ее ток вымыл практические соображения прочь из сердца и мозга; я перестал думать о звездочках на эполетах, о мраморных дворцах – мне грезились объятия, лобзания и прочее, отчего перехватывало дыхание и темнело в глазах.

Наутро, едва позволили приличия, я был у Даши. Генерал уже отбыл в штаб, и она приняла меня запросто. Начался разговор с того, что она долго расспрашивала об Олеге Львовиче и его круге общения. Потом я стал звать ее на пикник (вчера Базиль постановил устроить поездку к Хрустальному водопаду). Сначала Дарья Александровна живо согласилась, но, узнав, что это затея «блестящих», передумала.

– Эта публика мне неинтересна и даже неприятна, – сказала она. – Другое дело, если вы соберетесь куда-нибудь с Никитиным и его друзьями. Тогда прошу меня не забывать.

– Они уехали в горы. Если желаете, можно навестить их завтра вечером.

– Охотно!

Я сказал, что раз она не едет на пикник, то и я остаюсь, но Даша не захотела слушать. Сколько я ни уверял, что это с моей стороны никакая не жертва, она осталась непреклонной – вынудила меня пообещать, что я отправлюсь веселиться со своими «старыми друзьями».

«Она заботится обо мне, хочет, чтобы мне было хорошо, – думал я, расставшись с нею. – Это первый шаг разгорающейся любви!»

В недалекое путешествие к живописному водопаду на горной речке

Подкумок отправилась целая кавалькада. К нашей компании присоединилось два десятка кавалеров и дам лучшего серноводского общества. Кискис с Тиной тщательно отобрали участников пикника, и никто не подумал отказаться, несмотря на спонтанность предприятия.

Стольников, с небрежным изяществом сидя в седле прекрасного имеретинского иноходца, ехал впереди всей вереницы, словно Наполеон во главе своей гвардии. Сходство с Бонапартом усугублялось еще и тем, что одет он был с подчеркнутой неприметностью (как мне вспоминается, во что-то серое), а все остальные вырядились кто во что горазд.

Я тоже, на правах ветерана горной войны, держался впереди, с преувеличенной зоркостью озирая окрестные холмы. Поводий я, щеголяя посадкой, не трогал; одна моя рука лежала на рукоятке пистолета, другая – на эфесе золотой сабли. Последний раз «хищники» совершали набег в эти места лет десять назад, но приезжий beau mond этого не знал, и я с удовольствием ловил на себе почтительные взгляды.

– Сколько павлинов с павлинихами в эту дыру понаехало, – с усмешкой сказал мне Базиль. – Воистину лучший способ разрекламировать новый курорт – ougrokhat там какого-нибудь романтического поэта.

– И еще чтобы туда наведалься ты со своим антуражем, – в тон ему ответил я, радуясь, что так ловко совмещаю комплимент с иронией. – Это вроде штампа цензуры: «Дозволено к модному употреблению». После вас, «брийянтов», сюда хлынет весь Питер, за ним Москва, а потом и провинция.

Он рассмеялся, одобрительно мне подмигнул.

Пикник описывать я не буду, он не представлял собою ничего особенного и мог бы происходить где-нибудь в окрестностях Павловска – если б, конечно, не окружение дикой и прекрасной природы. Она, однако, мало кого в этом обществе занимала. Дамы, конечно, восхищались грозным шумом падающей воды, бурливостью разлившегося Подкумка, зазубренной остротой скал и парящими в небе орлами, а кавалеры вторили своим спутницам, но куда больше каждого интересовало, какое он производит впечатление на окружающих, – я же говорю, пикник был самый обыкновенный, каковы они и сейчас.

Единственное, что с тех пор все-таки переменилось, это представления о гигиене. С укоренением водопровода представления о чистоте совершили революционный скачок. Когда я вспоминаю балы и прочие многолюдные празднества времен моей молодости, в обонятельной памяти (она безусловно существует) сразу воскресает специфический запах пота и немытого тела, заглушаемый духами и кельнской водой – эти

ароматические жидкости оба пола выливали на себя чуть не склянками. У самой очаровательной барышни могло нежантильно попахивать изо рта, и ухажерам не приходило в голову тем отвращаться – мы все тогда были снисходительны к физиологической прозе и не удостаивали ее замечать, если только неопрятность не достигала вопиющих пределов.

Во время ленча общество поделилось на несколько «кувертов», то есть накрытых прямо на траве скатертей. Я был горд, что восседаю в самом центре этой солнечной системы, рядом с ее светилом. Сначала нас там было четверо: Базиль, Тина, Кискис и я.

Вдохновившись мерцающими белыми шапками Эльбруса, что виднелись в зазоре меж лысыми холмами, Бельской стал с увлечением рассказывать, какая замечательная идея пришла ему в голову. Когда Кавказ окончательно очистят от «хищников», можно будет устроить в снежном высокогорье невиданную штуку. Он-де, путешествуя в Альпах, видал, как ловко тамошние пастухи и проводники скользят по склонам на лыжах, и попробовал проделать то же сам. Ощущение грандиозное – будто скачешь по равнине на плавнейшем из иноходцев и на скаку из горлышка пьешь шампанское. Вот если б на Эльбрусе основать курорт для одних «блестящих», куда не было бы ходу всяким парвеню! Как занятно было б носиться по гладкому чистому снегу, взирая с заоблачных высот на раскинувшуюся под ногами низменную землю, где копошатся маленькие людишки со своими маленькими заботами!

Я слушал эту дребедень с усмешкой, а Базиль с пресерьезным видом сказал: «Оригинальный проект. Обязательно его исполни».

Потом – я не заметил, когда и как – подле нас с тарелкою в руке оказался Граф Нулин.

– А что это наш Печорин ничего не ест? – спросил он.

Я ужасно проголодался от моциона, но, ощущая направленные к нашему «куверту» взоры, интересничал – то есть, облокотясь о землю и рассеянно глядя в небо, грыз травинку да потягивал из бокала шабли.

– Оставь его, он влюблен, – съязвил Стольников.

Снисходительно улыбнувшись, я обронил:

– Не смей меня. Желал бы я быть способным влюбляться...

– Отлично вас понимаю, – с серьезно-сочувственным видом кивнул журналист. – Вы похожи на пресыщенного жизнью человека, который и на шумном балу зевает, а спать не едет только потому, что еще нет его кареты.

Признаться, я не сразу распознал цитату из «Героя нашего времени», но, когда понял, внутренне улыбнулся. Мне чрезвычайно нравилось выглядеть Печориним. Я окончательно решил, что есть ничего не буду,

подожду до вечера.

Из тех же соображений, требовавших от романтического персонажа искать уединения, я с унылым видом удалился от общества в дальние кусты. Вообще-то у меня было намерение освежиться в реке, потому что солнце грело все жарче, я начинал обливаться потом под своим форменным сукном. Закаляя организм, я и зимою каждый день обливался ледяной водой, поэтому холодные струи Подкумка меня не пугали.

Я отошел шагов на полтора от лянчующих, разделся и с наслаждением кинулся в небольшую заводь, укрытую зарослями. Когда же вылез и стал одеваться, случилось маленькое происшествие, о котором не могу не рассказать.

Уже натянув панталоны, я взялся за сорочку, когда ветви вдруг раздвинулись, и из кустов выглянула графиня Самборская. Она не ожидала меня тут встретить и удивилась, однако глаз не отвела – напротив, с любопытством осмотрела мою полуобнаженную фигуру.

Тина даже приложила лорнетку (она была немного близорука).

– Вы чудесно сложены, – сказала она. – Хоть в натурщики бери.

Смущение, побудившее меня довольно по-ребячески прикрыть торс рубашкой, прошло. Я воспринял поведение молодой, красивой и очень по тем временам свободной барышни единственно возможным образом. Теперь я и сам плохо понимаю, как это всё во мне уживалось: страстная влюбленность в Дарью Александровну и немедленная готовность к измене этому чувству с первой попавшейся бесстыдницей. Правда и то, что мужчинам в такой ситуации трудней сохранять холодность – устоявшийся в обществе предрассудок находит роль целомудренного Иосифа жалкой.

Поэтому, ничтоже сумняшеся, я бросил сорочку, сделал два шага вперед и попробовал притянуть графиню к себе. Она взглянула на меня с таким неподдельным изумлением, что руки мои немедленно опустились.

– Господь с вами, мсье Мангаров! Как вы могли вообразить, будто я... – Она недоверчиво покачала головой. – Уверяю вас, что никакого амурного интереса вы для меня не представляете.

Должно быть, лицо мое исказилось, потому что она, уже мягче, прибавила:

– Вы недурны собой, но для меня это мало и даже вовсе несущественно. Меня, друг мой, приводят в чувственное волнение только большие деньги. Кто богат, тот и красив. Кто беден, заведомо уродлив. И не нужно на меня так смотреть. – На ее лице мелькнула горькая усмешка. – Вы знаете, что мой отец был начальником в N-ской губернии? Он был приличный человек, то есть робел брать по-крупному, как другие

губернаторы. Вот и оставил семью с пустяками. Чертов болван! Приказал долго жить, а мы с маменькой теперь должны из кожи вон лезть, чтоб пристойно выглядеть. Вы же не годитесь ни в женихи, ни в любовники.

– Стало быть, я безнадежен?

Я саркастически улыбнулся, я чувствовал себя глубоко уязвленным.

– Вовсе нет. Но вы сами охотник. Нацелились на эту инженю – правильно сделали. В Серноводске уточек жирней, чем она, сейчас нет. Счастливой охоты.

Она ушла, оставив меня кипящим от возмущения. Настроение было испорчено: во-первых, меня отвергли; во-вторых, оскорбили подозрением в корысти (своих меркантильных мечтаний о приданом и прочем я уже не помнил).

Вечером, правда, мое самолюбие до некоторой степени восстановилось.

Когда стемнело, слуги Бельского под попечением самого Кискиса устроили роскошный фейерверк. Вверх взлетали золотые, серебряные, алые и голубые ракеты, рассыпаясь звездами, которые казались излишними – южное небо и так сияло космическими жемчугами.

Печорину любоваться на такое тривиальное зрелище было не к лицу. Я ушел с поляны, где ахали и восклицали зрители, двинулся вдоль речки. Вдруг из кустов донеслись звуки, насторожившие меня: шумное дыхание, шепот. Я сразу подумал об абреках. Вот великолепный случай показать себя молодцом! Пистолет остался в седельной сумке, но героическая сабля была при мне. Я выхватил ее из ножен, ринулся через заросли – и оказался в преглупом положении.

Новая вспышка разорвавшейся петарды осветила зрелище, не предназначенное для посторонних глаз. На траве, под ракитой я увидел Базиля с Тиной, что называется, *in flagrante delicto*.

– Ты что, зарубить нас хочешь?

Зубы Стольниковова блеснули в ухмылке.

– Pardon...

Я попятился.

«Вон оно что! – сказал я себе. – Тина меня отвергла вовсе не потому, что я негоден в любовники, а потому что у нее уже есть любовник. Что ж, на такого соперника обижаться грех». И настроение мое исправилось.

На следующий день вечером (это было 17 мая – скоро объясню, почему запомнил число), я, конечно же, был у Иноземцова. Я и так бы пришел повидаться с Олегом Львовичем, и уж тем более ни за что не пропустил бы этой okazji, зная, что туда собиралась зайти Дарья

Александровна. Читателя не должна удивлять такая простота нравов: в том и состояла одна из прелестей кавказского курорта, что правила этикета, строго соблюдавшиеся в столицах, здесь считались необязательными. В серноводской жизни господствовали обыкновения милой деревенской жизни, когда помещики навещают друг друга без приглашения, просто «на огонек». Естественно, я предупредил хозяина о возможном визите моей (то есть, собственно, нашей с Никитиным) знакомой. Возражений не было, да и не могло быть.

Всё выглядело точно так же, как третьего дня. У окна часовым торчал звероподобный аварец, только сегодня он неторопливо и тщательно проделал своим кинжалом нечто вроде маникюра, а потом принялся переменять порох в зарядах, вынутых из газырей.

Я послушал о выслеживании горного козла, о собранных доктором травах, о карачаевском ауле, где заночевали охотники. Рассказывал в основном Кюхенхельфер, переполненный самыми разнообразными впечатлениями. В горском селении его больше всего поразили старики – и своим почтенным возрастом, и крепостью конституции. Аксакалу, по уверению жителей, было сто десять лет, еще трое старцев называли себя столетними.

Прохор Антонович стал развивать теорию о целебных свойствах горного воздуха и в особенности собранных им трав, которые у карачаевцев принято добавлять в кумыс и бузу. Он рассчитывал сделать из этих растений экстракцию и изготовить состав долголетия.

– Горный воздух есть и в Карпатах, а кумыс с травами пьют в половине Азии, – отрезвил энтузиаста Олег Львович. – Секрет долголетия кавказцев в другом. В других народах, старея, человек выходит из употребления. Общество перестает им интересоваться и воспринимает как доуку, а то и обузу. Не то в здешних горах. Чем ты старше, тем больше к тебе прислушиваются. Уважение и востребованность – вот вам весь рецепт долголетия. Кабы мы, русские, ценили опыт и мудрость старых людей, и у нас жили бы до ста лет и далее.

Доктор, конечно, заспорил. Но я не слушал его доводов. С самого прихода я всё поглядывал в окно и тут как раз увидел, как за плетнем останавливается дашин экипаж. Дарья Александровна сказала что-то своему верному Трофиму, оставшемуся на козлах с кучером, и вошла в калитку. Сердце мое, как ему и полагалось, затрепетало.

– К нам гостя, – объявил я.

Иноземцов встретил барышню с несколько преувеличенной, старомодной учтивостью, выразившейся не столько в словах, сколько в

поклонах и пригласительных жестах. Врач, будто невзначай, остановился возле зеркала и пригладил седоватые перышки на лысине. Никитин поздоровался с пришедшей, как со знакомой.

Поразительно, до чего преобразается мужское общество и даже самое помещение, когда вдруг появляется молодая красивая особа. Обо мне говорить нечего, я был по уши влюблен, но и остальные, включая молчаливого капитана и флегматичного Олега Львовича, как мне показалось, вдруг словно помолодели и прояснели.

И как им было не прояснеть? В комнату будто влетел свежий ветерок или заглянуло утреннее солнце. Дарья Александровна, раскрасневшаяся от быстрой езды или, быть может, волнения, так и искрилась радостным оживлением.

– Господа, – сказала она, как только закончились взаимные представления, – я сегодня так счастлива! Нынче семнадцатое число, день моего рождения, мои именины. Я решила устроить себе праздник!

– Что ж вы не предупредили? – закричал я. – Мне было бы так приятно сделать вам подарок!

– Нет, получать подарки или цветы это скучно. Я придумала кое-что получше. – Она таинственно улыбнулась. – Я сама сегодня дарю подарки. Всем своим друзьям. А поскольку, Григорий Федорович, мы с вами друзья, не так ли? – (Я лишь закатил глаза, не найдя слов, достаточно выразительных, чтоб передать, до какой степени мы дружны.) – ...То и те, с кем вы водитесь, мне тоже друзья. Я позволила себе, господа, всем вам привезти подарки.

Мы все несколько растерялись. Даша же подошла к окну, махнула рукой. Через минуту седой унтер внес в горницу большую и, кажется, довольно тяжелую корзину с крышкой.

На лицах моих друзей (как, верно, и на моем) появилось то детское выражение ожидания и готовности разочароваться, какое возникает даже у немолодых, битых жизнью людей в ожидании подарка.

С видом волшебницы или нынешнего деда Мороза (о котором в те годы, кажется, еще не слыхивали), Дарья Александровна запустила руку под крышку.

– Это, Платон Платонович, вам.

И достала прямоугольный сверток в пестрой обертке с золотыми наклейками.

– «Гавана»? Настоящая?! – У капитана изо рта выпала вечная палочка. – Боже мой! Но откуда? Они ведь запрещены к продаже!

Он не мог поверить своему счастью – и мял сигары, и нюхал. Даже

позабыл сказать «спасибо».

– Да, это из конфискованной контрабанды. Жандармский офицер, помощник отца, принес по моей просьбе... А это, Прохор Антонович, вам. Сорваны на вершине Каратау на рассвете. Я посылала самого исполнительного из наших лакеев.

Она передала доктору заткнутую пробкой склянку, в которой лежало несколько невзрачных белых цветков.

– Акчой?! – пролепетал потрясенный Кюхенхельфер. – Да еще с капельками росы?! Не может быть! Вы колдунья!

Я с трепетом ждал, какой дар достанется мне. Будет он свидетельством всего лишь дружбы или, быть может, чего-то большего?

В руках Дарьи Александровны оказался позвякивающий чем-то металлическим сверток в шелковом чехле.

– Это дагестанской работы кольчуга. Очень легкая.

Я взял рубаху переливчато-мерцающего сплетения, действительно оказавшуюся не тяжелее куртки из толстой шерсти. В горле у меня встал ком, когда она продолжила:

– Отец сказал, что вы горячи и честолюбивы. Что в грядущем походе наверняка полезете в самое пекло. Я не прошу вас, Григорий Федорович, поберечься – знаю, что бесполезно. Но, умоляю, по крайней мере наденьте этот доспех. Я ничего в подобных вещах не смыслю, но мне сказали, что при невероятной легкости он как-то необычайно прочен. Убережет не только от шашки, но и от пули.

От окна подошел заинтересовавшийся Галбаций, пощупал кольчугу и сказал что-то по тону вроде бы одобрительное, но потом покривился и сплюнул.

– Что он? – затревожилась Даша. – Иль меня обманули и вещь нехороша?

– Он говорит, что это настоящая джугурта, – перевел Никитин. – У самого Хаджи-Мурата такая же. А плюнул, потому что ненавидит ХаджиМурата.

– А-а...

Дарительница успокоилась, я же в тот миг боялся только одного – что от переполняющих меня чувств могу разрыдаться. Она тревожится обо мне! Она говорила с отцом, и тот аттестовал меня храбрецом! Это ль не счастье?

– Мое сердце будет защищено от вражеской стали, но не от иной опасности... – тихо сказал я, наконец придумав фразу, показавшуюся мне очень ловкой.

Но Даша не услышала. Она со смущением и волнением глядела на Никитина.

– Я знала, что такому человеку, как вы, угодить подарком трудно. Но, надеюсь, этот придется вам по душе...

Не из корзины, а из выреза платья она достала узкий конверт, должно быть сохранивший тепло ее тела.

– Пользуясь привилегией дочери командующего, я прошу здешнего почтмейстера вскрывать при мне мешок с почтой – люблю находить там письма от своих петербургских друзей. И вот сегодня увидела там письмо, адресованное вам. Если б я его не выудила, оно ушло бы в форт Заноза...

Взглянув на мелкий, красивый почерк, которым был написан адрес, Олег Львович изменился в лице. Молча он взял конверт, быстро разрезал его и отложил, а с листком отошел в сторону.

Мне стало любопытно, кто это ему пишет. Из-за кого позабыл он всегдашнюю свою вежливость? Конверт лег на стол так, что, скосив глаза, я мог прочесть имя и адрес отправителя: «Г-жа А.С.Незнамова, дом купца Зоона в Чистом переулке что в Арбатской части». Женщина? Интересно...

– Вы в самом деле колдунья? – Доктор пытливо, будто невиданное растение, разглядывал Дарью Александровну. – Откуда вы догадались, что именно нужно дарить людям, которых вы не знали?

Она бросила на меня смеющийся взгляд, я с невозмутимым видом молчал. Давеча, расспрашивая меня о Никитине и его приятелях, она узнала и про сигары, и про цветок акчой, и про то, что Олег Львович никаких особенных пристрастий не имеет. Однако выдавать Дашу я не собирался.

– Все женщины в той или иной степени колдуньи, – ответила она. – Но я не закончила. Остался еще один ваш друг.

И повернулась к горцу. Тот, полюбовавшись кольчугой, вновь сел на подоконник и перестал обращать внимание на происходящее в комнате.

– Вы желаете одарить Галбация? – недоверчиво спросил Никитин. Он уже прочитал письмо и складывал его, чтоб спрятать в карман. – Да чем же? Оружия из женских рук он не примет, а более его ничем не обрадуешь.

– Это мы сейчас узнаем... Признаюсь честно – я расспросила Григория Федоровича о каждом из вас...

– Ну то-то же. Колдовства не бывает, – удовлетворенно вставил доктор.

– ...В том числе и о кунаке Олега Львовича. Задача была трудная. Может быть, я и ошиблась, когда решила, что такому человеку надобно дарить нечто вроде этого...

Абрек понял или догадался, что говорят о нем. Повернувшись, он

настороженно, даже брезгливо глядел на светловолосую гяурку, которой от него было что-то нужно. Я испугался, не сделает ли он грубости, и шагнул вперед. Наклонившись над корзиной, Даша вынула оттуда маленького котенка, совершенно белого и очень пушистого. Он сладко спал.

– Вот. – Барышня протянула кавказцу зверька. – Сайигат.

Последнее слово по-туземному означало подарок. Дарья Александровна, наверное, выучила его специально.

Никогда еще не видал я Галбация таким ошеломленным. Я не думал, что это дикое лицо вообще способно выражать что-то кроме свирепой неприязни или угрюмой погруженности в себя.

Я думал, он не возьмет котенка. Вначале аварец и в самом деле отшатнулся. Но тут пробудившийся ангелочек очаровательно зевнул, потянулся. Даша приложила его к груди абрека, и котенок будто прилип к черкеске, вцепившись в нее коготками. Галбаций подхватил его своей огромной ладонью, пробурчал что-то гортанное и чуть не бегом кинулся вон из комнаты.

– Башку оттяпает, – предположил доктор. – Или утопит. Держу пари!

– Не думаю. – Никитин выглядел озадаченным. – Но со своей невезучестью биться об заклад не стану. Пойду-ка посмотрю. – И тоже вышел.

Даша побледнела.

– Неужто он может...? Боже, что я натворила!

С минуту мы все молчали, потом вернулся Олег Львович, обескураженный еще больше прежнего.

– Представьте, мой Галбаций посадил котенка на руку, смотрит на него и осторожно гладит! Это невообразимо! С ума он что ли сошел?

– Сударыня, – чуть ли не впервые за все время разомкнул уста Иноземцов. – Как вы догадались, что этому суровому человеку следует подарить «нечто вроде этого»?

– Каждому нужно дарить то, чего ему больше всего не хватает, – ответила она не совсем понятно. – До свидания, господа. Мне нужно развезти остальные подарки.

Она одарила каждого улыбкой, причем я заметил, что все они были особенные, но особенные по-разному. Мне досталась нежная, моряку ласковая, доктору веселая, Никитину печальная.

Сам Базиль Стольников, если б желал кого-то очаровать, не сумел бы произвести такой эффект. И как точно Даша рассчитала правильный момент для ухода – на высшей точке всеобщего восхищения.

«Она чудо, – думал я. – Ей покоряется всё!»

Ну-ка, что вы скажете о моей избраннице, умные люди? С этой мыслью я горделиво осмотрел своих товарищей.

Олег Львович задумчиво сказал:

– Удивительное для молоденькой девушки чутье на людей. Мадемуазель Фигнер обещается со временем вырасти во вполне незаурядную женщину. Если только страстность натуры не собьет ее с пути...

На мой взгляд, Даша заслуживала более горячего отзыва. Я заподозрил, что Никитин утаивает свои истинные чувства.

– Удивительно другое. – Доктору, видно, тоже не хотелось выглядеть восторженным. – Зачем столько усилий ради пустяков? Ведь это не просто подарки, за каждым – работа ума и сердца.

С наслаждением раскурив сигару, отчего комната вмиг наполнилась терпким ароматом, капитан лукаво сказал:

– Барышня хотела на кого-то из нас произвести впечатление. И я догадываюсь, на кого именно.

Все поглядели на меня. Кажется, я покраснел – мои щеки стали горячими.

Мне хотелось говорить только о Даше, но остальные о ней больше не поминали. Я уже знал, что любимым времяпрепровождением этой компании является штука диковинная и мне совершенно непривычная – рассуждения и споры на отвлеченные темы. В моем кругу такое никому бы и в голову не пришло. Только Базиль, как давеча со своим внезапным панегириком патриотизму, мог изредка позволить себе слегка пофилософствовать, но это относили к одному из его чудачеств.

Вышло так, что в тот вечер у Иноземцова тоже заговорили о достоинствах и пороках отечества. Нападал на Россию доктор – как я понимаю теперь, он вольно пересказывал идеи из «Философических писем» Чаадаева. Мне показалось смелым и новым суждение о том, что наша страна не поместила в сокровищницу человечества ничего настоящего ценного или оригинального, что мы обречены быть провинцией и охвостом мировой культуры, что весь смысл России в том, чтобы демонстрировать людскому роду, как ненужно обходиться со своим народом, природой и государственным строем. Единственное спасение для русского человека, обладающего умом и совестью, состоит в том, чтоб жить самому по себе, по своим собственным правилам, и ни в коем случае не мешаться с остальной массой.

Возражал ему, как и в прошлый раз, Никитин, а Платон Платонович с удовольствием внимал обоим, соглашаясь и с тем, и с другим. Теперь, при

гаванских сигарах, вид у моряка был уже совершенно счастливый.

– То, что вы говорите о личных правилах, справедливо, но позвольте: я ведь – не только личность, которая однажды родилась и однажды умрет, – отвечал доктору Олег Львович. – Я еще и частица чего-то большего: мужского пола, дворянского сословия, великорусской народности. Я же не казнюсь оттого, что я появился на свет мужчиной и дворянином? Отчего же мне мучиться своей русскостью? Случалось ли вам встретить черкеса, который жалел бы о том, что он черкес? А ведь у них оснований для угрызений никак не меньше, чем у вас и вашего одномысленника Чаадаева. – (Полагаю, я впервые тогда услышал это имя и взял его себе на заметку). – Я русский по языку, воспитанию, образу мысли, душевному складу, наконец, и спокойно принимаю это обстоятельство как данность, даже рад ему.

– Чему же, позвольте узнать? – кипятился Прохор Антонович. – Что за радость такая быть русским? Мы живем в деспотии, бесправии и неравенстве! Народ наш коснеет в грязи и свинстве! Европа развивает науки и просвещение, а у нас студентов за пустяки отдают в солдаты! Какой британец, или француз, или хоть захолустный швед станет безропотно сносить зуботычины исправника, порку в съезжей избе, позорную цензуру каждого печатного слова? Да любая из европейских наций лучше нашей!

– Одна нация не может быть лучше или хуже другой. В чем-то одном может, а вкуче – никогда. Это верно, что по части собственного достоинства англичане с французами нас далеко обошли. Немцы прилежней нас. Итальянцы больше расположены к искусствам. Чухонцы аккуратней. Зато мы выносливей, разносторонней, а в час испытаний и самоотверженней, что многократно доказывала наша история. Так давайте ж крепко держаться за то, в чем мы лучше, догоняя другие народы в тех качествах, которых нам недостает. Вот вам вся формула патриотизма.

Капитан кивнул, и даже дважды. Однако Кюхенхельфер, заядлый спорщик, не сдался:

– Качества качествам рознь! Выносливость хороша для тягловой скотины. Как можно сравнивать ее с развитым достоинством, которое подвигло англичан подчинить королевскую власть закону еще в тринадцатом столетии! Где вы видели самоуважение в нашем крестьянине или мастеровом?

– В Сибири и на Дальнем Востоке, – сказал Никитин. – Именно там сегодня поселился настоящий русский человек. Лучшие качества его натуры проявляются там, где нет помещиков и полиции. Русский человек

создан для вольной жизни. Тогда он становится широк, отважен, предприимчив. Когда он встает в полный рост и распрямляет плечи, ему нипочем любые преграды. Еще со времен Ермака всяк, кто не мог мириться с принуждением и унижением, тянулся на окраины. Когда-то вольным народом были казаки. Но их прикормили, приручили, и стали они мышкой на цепи: перед кем скажут, пляшет, на кого покажут – когтями рвет. Иное дело – Сибирь. Будущее России там, уж можете мне поверить.

И он стал рассказывать о краях, где человек сражается не с человеком, а с дикой природой; где всяк узнаёт себе подлинную цену и находит, что искал – кто богатство, кто приключения, кто покой.

Мы слушали его рассказы о Сибири допоздна.

Глава 8

Мой сосед. Темные личности. Вести с той стороны. О благах молодости. Печорин или Грушницкий? Страшное подозрение и светлые слезы

А наутро мне снова, в третий раз за три дня, довелось выслушать рассуждение о патриотизме – из уст довольно неожиданного оратора. Потребовав в номер кофею и не дождавшись его, я вышел в буфетную, никого там не обнаружил и отправился на половину, которую занимала хозяйка, купчиха Маслова. Ее заведение, как я имел возможность убедиться, считалось первоклассным лишь по той причине, что в Серноводске недоставало гостиниц. Пришло время высказать претензии относительно мух, холодных самоваров, тугоухой прислуги и прочего. Первый, кого я повстречал, войдя в коридор хозяйкиных апартаментов, был майор Честноков. Он предстал предо мной по-домашнему – в халате и войлочных туфлях без задников.

– Удивляетесь? – Он игриво подмигнул. – Homo sum et nihil humanum...^[11] – разумеется, в свободное от службы время. Капитолина Семеновна – особа сдобная, что ж не полакомиться. Да вы заходите, заходите. Попросту, по-соседски. Я, знаете, тут прижился, навроде приبلудного кота. Человек я бедный, бездомный, а тут и тепло, и сытно, и покотовать лакомно. – Иван Иванович жирненько посмеялся. – Мы с вами одного поля ягоды, милейший Григорий Федорыч. Из малодушных-с. Всякой ласке рады.

– Это в каком, позвольте спросить, смысле – «малодушных»? – неприязненно отстранился я от руки, норовившей взять мой локоть.

– В самом прямом. Юридическом. Мне от папеньки в наследство досталось три крепостные души. Вам, сколько я знаю, сулитесь немногим больше. Таких дворянчиков в старых грамотах именовали «малодушными». Вот ваши питерские приятели – те «великодушные». Но государство российское не на них, бездельниках, а на нас с вами держится.

Меля языком, он как-то очень ловко поддел-таки меня под руку и увел вглубь квартиры. Я и не заметил, как оказался за столом в уютной кухоньке, и передо мной в большой чашке с узором уж дымился кофе.

– Вам с сахарком или с медом? Сливочек пожалуйста, – хлопотал надо мною майор.

Теперь мне стало понятно, почему я так легко разместился в

«Парадизе». Однако осведомленность жандарма о моих наследственных перспективах настораживала. Это могло означать только одно: Честноков зачем-то не поленился собрать о моей скромной персоне сведения, которые вряд ли содержатся в офицерском формуляре.

– Мы с вами служим не с гонору или скуки, а ради хлеба насущного. Государство нам и отец, и мать, и кормилица, питающая нас своими персями, – продолжал Иван Иванович.

– Неправда. Я служу из любви к отечеству.

Он покачал пальцем:

– Бросьте. Любовь к отечеству, антр-ну, это химера, хоть и полезная. Любить отечество возможно для каких-нибудь англичан или голландцев, которые, влезши на кочку, могут всю свою необширную родину враз оглядеть. А Россию обозри-ка, попробуй. Кой ляд общего у меня, русака, с камчадалом, чухонцем, жидом, полячишкой, да хоть бы и своим мужиком сиворылым? Можем ли мы с ними любить некую абстракцию, которая существует только на географической карте? Другое дело – любовь к государю. Вот это штука ясная и нисколько не абстрактная. Человека полюбить очень даже возможно. Нам, дорогой Григорий Федорыч, без самодержавия прожить никак нельзя. Оно наш стержень или, выражаясь по-кавказски, шампур, на коем всё наше мясо держится. Вот в чем состоит российский патриотизм: люби государя, верь в него, как в святую Троицу, а если грех какой, так то его царская печаль – ему за всех нас перед Богом отвечать. Так или нет?

Я, поколебавшись, неуверенно кивнул. Не спорить же в самом деле с жандармом о любви к государю императору?

– Ну то-то. К сему еще прибавлю, что с монархом нам исключительно повезло. Орел, лев, василиск! Я раз его наблюдал вблизи – вот почти как вас. Пять лет тому его величество к нам на Кавказ пожаловал, я на ту пору в Тифлисе служил. Ох, и нагнал же Николай Павлович страху на наших начальников! С князя Дадианова, зятя тогдашнего главнокомандующего, сорвал аксельбанты и в крепость посадил. Самого главнокомандующего под зад – в отставку, с позором. Тифлисского полицмейстера за пьянство под суд! То-то все, как тараканы, забегали! – Он затрясся в смешке от приятного воспоминания. – А мне – повышение за бесстрашную правдивость. Взял меня государь за ухо, говорит: «Я вашу породу знаю! Сам воруй, а другим не давай! Раздавлю!» Ожег своими бешеными глазницами – у меня душа в пятки. Но и восторг ощутил животрепетный. Как такого царя не любить? Как за него в огонь и воду не пойти?

В дверь сунулся половой.

– Батюшка, к вам пожаловали.
– Кто? – спросил Честноков.
– А татарин крючконосый, всё тот же.
– Его-то я и жду! – Майор вскочил. – Вы, милейший Григорий Федорыч, тут пока побудьте. Это и до вас касается.

Он оставил меня одного. Я просидел минут пять или даже десять, потом начал свирепеть. Что это меня, дворянина, будто челядь, на кухне усадили, да еще велели не отлучаться? Лакей я ему, что ли?

Я встал и, громко стуча каблуками, пошел вон. Чтоб вернуться в вестибюль, нужно было пройти коротким коридором, который потом раздваивался: налево – в гостиницу, направо – в хозяйкины покои. Оттуда, из-за угла, слышался невнятный гул голосов. Но прежде, чем я достиг поворота, из-за стены мне навстречу бесшумно шагнул круглый человек в грязной черкеске, низко надвинутой папахе и потрепанных чувяках. Он тронул рукоятку кинжала и предостерегающе зацокал языком. Голова его странно кренилась вбок, словно мягкая складчатая шея не могла ее удерживать.

Недоуменно уставился я на потную физиономию толстяка. Если это горец, то почему ни бороды, ни усов? И что за невиданная дерзость по отношению к офицеру? В бешенстве я толкнул невежу в пухлую, как подушка, грудь и прошел мимо.

В нескольких шагах, близ одного из коридорных окон, стояли Честноков и какой-то кавказец, быстро, по-звериному обернувшийся. Маленькие колючие глаза, сдвинутые к большому горбатому носу, так и впились в меня, острая черная борода дернулась книзу. Одет незнакомец был со всей горской щеголеватостью: в алую черкеску с серебряными газырями, мерлушковую шапку, ворот бешмета сверкал золотым галуном. За спиной у меня виновато шипел странный толстяк.

Я хотел крикнуть майору, что не имею времени дожидаться, пока он беседует со своими знакомыми, но Иван Иванович меня опередил.

– Ступайте к себе в номер, поручик! – рявкнул он грозно, будто только что не звал меня «милейшим» и не подливал мне кофею. – И оттуда ни ногой! Это приказ!

Не буду описывать, в какой ярости прометался я по своей комнате следующие четверть часа и какие речи заготовил для наглого жандарма, бог весть что о себе вообразившего. Существенней другое: покинуть номер я не решился.

Честноков явился ко мне в мундире и при сабле, официальный и торжественный.

– Имею превосходную новость, – объявил он с порога. – Поздравляю, очень за вас рад. Сведения, доставленные вами, полностью подтвердились. Шамиль и Хаджи-Мурат всего с тремя сотнями мюридов, тайно, отбыли из Дарго на запад, в неизвестном направлении. Не иначе как в Семиаульскую долину. А уж мы дорогим гостям подготовим встречу!

Разом забыв об обиде, я стал расспрашивать, откуда известие.

– От моего агента, – отвечал Иван Иванович. – Вы его только что видали, он вернулся из Чечни. Некто Эмархан, князь без княжества. Полезнейший туземец. Ему можно верить.

Мне по разбойничьей роже «крючконосого» так не показалось, что я и продемонстрировал скептической гримасой. Майор рассмеялся:

– Вы хотите сказать, что Эмархан похож на мошенника? Он и есть мошенник и даже мерзавец. Но это наш мерзавец и служит мне верно. Надевайте-ка мундир, цепляйте свою чудо-саблю и маршируйте со мной, к его превосходительству. Будет вам заслуженное награждение.

Нечего и говорить, что переоделся я в минуту. По дороге я спросил:

– А что это за кастрат с князем? Тоже шпион?

– Да-с, его оруженосец Реза. Только попрошу произносить почтенное слово, которые вы изволили употребить, без шипения. А то эк вы скривились: «ш-ш-шпион». Людишки этого сорта, конечно, мутны и своекорыстны, ну так ведь и вы, Григорий Федорыч, не ручей горный. Как про награждение услышали, до того обрадовались, что и о дружке своем Никитине позабыли. А заслуга-то его, не ваша.

– Не забыл. Только я о том не с вами, а с генералом говорить буду, – огрызнулся я, уязвленный. Честно говоря, от возбуждения я действительно не вспомнил об Олеге Львовиче.

В предшествующие дни по некоторым признакам я видел, что тайные приготовления к экспедиции идут полным ходом. Вдруг ни с того ни с сего снялся и переместился ближе к горам казачий полк, ранее стоявший лагерем в десяти верстах от города; отдохавшим на водах офицерам было велено вернуться в свое расположение; горно-артиллерийская батарея устроила учебные стрельбы. Все эти воинственные приготовления были сочтены подготовкой к грядущему приезду князя Чернышева, но я-то знал, в чем дело.

Теперь дело десятикратно ускорилось. Притом, не желая подавать вражеским лазутчикам повода для тревоги, Фигнер по внешней видимости вел обычную жизнь – катался с Дашей в коляске, недолго засиживался в кабинете, даже затеял бал в Благородном собрании. Всю невидимую работу выполняли адъютанты и ординарцы. В число последних был определен и я.

Мне было милостиво сказано, что это еще не награда, а лишь первая к ней ступенька; по заслугам я буду отличен по окончании похода – в зависимости от его результата. Чем значительней окажется победа, тем на большее смогу я рассчитывать. Исправляя в отношении Никитина неловкость, которой попенял мне жандарм, я стал просить командующего за своего подчиненного. В положении человека, лишенного прав, награда может быть только одна – их восстановление. Так неужто важность доставленных Никитиным сведений не стоит эполет?

– Вы знаете, друг мой, что производство нижних чинов в офицеры является привилегией главнокомандующего Кавказским корпусом, а я всего лишь начальник одной из трех линий, – отвечал мне Александр Фаддеевич. – Но я нынче же велю дать вашему протеже унтер-офицерские лычки, это в моей власти. Кроме того, пошлю представление на него в Тифлис, однако дело это долгое. Положение главнокомандующего и без того шатко. Он не посмеет своею властью, без одобрения высшей инстанции, производить в прапорщики такого человека. Никитина ведь не за пустяки вроде дуэли иль пьяного дебоша разжаловали. Но ничего. Бог даст, одержим викторию, тогда и его дело решится. Ну а повезет взять самого имама иль хоть Хаджи-Мурата – тут нам сам черт будет не брат. Просите тогда чего хотите. Этакого героя, как вы, даже и не мне награждать – берите выше.

Из этих слов, произнесенных самым загадочным тоном, я сделал сразу несколько выводов, от которых у меня закружилась голова. Во-первых, я вообразил, что генерал знает о наших отношениях с Дарьей Александровной (это я так про себя сформулировал, хотя никаких отношений, собственно, не было). Во-вторых, «берите выше», верно, означало, что меня отправят с победной вестью к самому императору, и тот на радостях, что взяли Шамиля, даст гонцу какую-нибудь невиданную награду. Тут, пожалуй, можно надеяться и на георгиевский крест, и на аксельбанты. Флигель-адъютанта и царского любимца даже командующий будет рад видеть своим зятем.

Слава, любовь, карьера, богатство – всё казалось достижимым. Ни один другой офицер из посвященных в смысл военных приготовлений так не жаждал успеха, как я. Усердней порученца в штабе не было. В день я покрывал верхом многие десятки верст, носясь меж Серноводском и боевыми частями. Но молодость – пора, когда не ведаешь усталости. По вечерам, вернувшись после скачки, я не валился в постель, а отправлялся куда-нибудь: или туда, где мог увидеть Дашу, или к «блестящим». Совместить первое со вторым было невозможно, поскольку Дарья

Александровна более у Кискиса не появлялась, а Базиль и его компания досугами водяного общества пренебрегали.

Несколько раз мне удалось пройтись с Дарьей Александровной по бульвару во время вечернего ритуального гуляния, куда маменьки с дочками выходили, разряженные в пух и прах. На балу в Благородном собрании я на глазах у генерала протанцевал с Дашей мазурку и, как мне показалось, поймал на себе поощрительный взгляд его превосходительства. Никаких признаний или нежных объяснений, однако, меж нами не звучало. Даша была так проста и серьезна со мною, так доверительна. Ни за что на свете не рискнул бы я испортить ясную прелесть этих отношений неосторожным порывом. Я говорил себе, что от симпатии до сердечной дружбы один короткий шаг, потом еще шаг – и пробудится любовь. Я уверял себя, что у чистой, возвышенной девушки иначе и быть не может. К тому же, как человек чести, я должен удерживать свою страсть в узде. Предположим, мне удастся разжечь в Дарье Александровне ответный пламень – и что же? Отношения тайных любовников меж нами невообразимы, она не Тина Самборская. А просить ее руки я не смею – до тех пор, пока мое скромное положение не изменится.

Потому в беседах с Дашей я старался избегать тем, грозящих увести нас в область романтических чувств. Говорили мы всё больше о Никитине и его друзьях. После своего эффектного явления в дом морского капитана Дарья Александровна побывала там всего однажды. «Не хочу докучать мужской компании, – сказала мне она. – У меня такое чувство, будто эти славные люди, непривычные к женскому обществу, при мне застегиваются на все пуговицы и прицепляют крахмальные воротнички. Я их стесняю». Не в первый раз поразился я ее пронизательности. Действительно, перед ее приходом доктор с моряком застегнулись, а Платон Платонович счел необходимым еще и повязать галстух.

Дарья Александровна и этот свой визит оправдывала лишь тем, что желает проведать своего «крестника» – так она звала котенка.

С «крестником» всё было отлично. Уж не знаю, какую неведомую струну в дикой душе абрека тронул этот подарок, но Галбаций совершенно бросил свою вечную возню с кинжалом и теперь всё время проводил, пестуя Малаика – это означало «Ангел». Имя как нельзя лучше подходило котенку с его белой шерсткой, голубыми глазками и нежным мяуканьем. Аварец поил своего питомца парным молоком из блюдечка, расчесывал его, гладил или просто подолгу любовался, как малыш спит. Олег Львович шутил, что отныне занимает в сердце своего кунака лишь второе место. Для удивительной привязанности горца к Малаику у Никитина имелось

рационалистическое объяснение. В горной деревне, где вырос Галбаций, кошек никогда не держали, ибо незачем. С точки зрения туземца, собака – существо полезное для караульных или охотничьих надобностей, но нечистое. Их не пускают в дом и никогда не ласкают. Кавказца котенок потряс своей опрятностью – он только и делал, что чистился. По уверению Галбация, Малаик даже научился делать намаз: надо было видеть, как в час молитвы аварец тянул свое «Бисмиллахи-рахимани-рахиим», сидя на коврике, а котенок, тоже повернувшись в сторону Мекки, тер лапкой по мордочке. Выходя на улицу, горец всегда совал своего маленького приятеля за пазуху. Они были поистине неразлучны.

Итак, докучать визитами моим друзьям Даша не желала, но зато уж меня расспрашивала об их жизни при каждой встрече и во всех подробностях. Прежде всего – об Олеге Львовиче: здоров ли, в каком настроении, о чем говорил и прочее. Я с готовностью удовлетворял ее любопытство. Мне было все равно, о чем с нею беседовать, лишь бы она на виду у всех склоняла в мою сторону свою очаровательную головку, увлеченно мне внимала и все вокруг это видели. Я знал, что общество уверено, будто у меня с мадемуазель Фигнер *liaison romantique*,^[12] и очень радовался сему заблуждению.

Помимо прочего эта победа очень возвышала меня в глазах «брийянтов». Я частенько слышал от них шуточки о моей ловкости и неотразимости и, хоть изображал негодование и всячески отнекивался, но испытывал приятное щекотание в груди, когда Кискис или Граф Нулин сетовали, что первые красотки вечно достаются печоринным. Лестное прозвище в нашем кругу окончательно за мной утвердилось, и я находил это справедливым.

Как вдруг однажды, по случайности, у меня открылись глаза.

Вернувшись после очередной скачки, я вошел в гостиную к Кискису, миновав дворецкого, и услышал обрывок разговора, от которого кровь бросилась мне в голову.

– Что-то наш Грушницкий припозднился, – донесся до меня голос журналиста. – Без его фанфаронства даже скучно.

Ленивый смех, раздавшийся в ответ, ожег меня, словно едкая кислота. Так они надо мною все это время потешались!

Одним из недостатков и одновременно достоинств моей природы является то, что в минуту ярости я действую, не заботясь о последствиях.

Быстро войдя в салон, я остановился за спиной у Графа Нулина. Он меня не видел, но остальные смеяться перестали. Я поймал на себе любопытствующий взгляд Базиля: ну-ка, что дальше?

– Кажется, я знаю способ излечить вас от скуки, мсье Лебеда, – сдавленно сказал я.

Он обернулся. Его румяные щеки мгновенно – я никогда такого не видывал – окрасились в цвет несвежей наволочки.

– Посмотрим, станете ли вы паясничать под пистолетом, – продолжил я.

Он попытался хорохориться:

– Ишь, какой смельчак! Всем известно, какой вы трюкач по пистолетной части. Я не дурак, чтоб исполнять роль вашей мишени!

Говорил он с вызовом, но в глазах читался ужас. Это придало мне уверенности, я заговорил спокойней.

– Если вы так боитесь моей меткости, извольте: условия поединка будут точь-в-точь такие же, как у ваших любимых героев, Печорина с Грушницким. На шести шагах вы не промахнетесь. А скалу, на которой они стрелялись, я знаю. Она всё там же.

Несколько секунд журналист смотрел на меня в замешательстве. Потом его мягкое лицо шутовски сморщилось. Граф Нулин рассмеялся.

– Ну уж нет. Все ошибки в нашей жизни происходят, когда мы пытаемся изображать то, чем не являемся. Я, Григорий Федорович, трус, а так называемую «честь» полагаю глупой выдумкой. С какой же стати, изображая храбреца и человека чести, я стану лезть под вашу пулю? Я вас обидел, каюсь. За это вы наказали меня публичным унижением. Разве вам недовольно?

Признаться, от такого простодушия я растерялся.

А тут еще и Стольников сказал:

– Bravo, Граф. Умно, откровенно и для труса, пожалуй, даже смело. Признай это, Грегуар. Не то правда обратишься в Грушницкого.

Я колебался.

– Право, не сердитесь. – Лебеда искательно смотрел мне в глаза. – Я ведь из тех, кто из-за красного словца не пожалеет мать-отца. Ну что, мир?

Он протянул мне руку.

– Мир! Мир! – закричали Тина с Кискисом.

Базиль жестом римского императора поднял кверху большой палец. Мне ничего не оставалось, как ответить на рукопожатие, после чего все зааплодировали.

Вроде бы я должен был чувствовать себя удовлетворенным. И все же глядя на журналиста, который тут же, будто ни в чем не бывало, принялся рассказывать какую-то потешную историю, я отчего-то испытывал смутное подозрение, что он снова надо мной надсмеялся, только неким более

изоощренным образом.

С того вечера, однако, Граф Нулин сделался со мной безупречно любезен и даже повадился заводить разговоры на разные нешутовские темы. Оказалось, что он очень неглуп и отнюдь не поверхностен. Журналист обладал ценнейшим для беседы качеством: умел задавать вопросы и заинтересованно слушать ответы. Я объяснил это тем, что Лебеда, вероятно, относится к довольно распространенной породе нахалов, которые проникаются уважительным любопытством ко всякому, кто их одернет. Он расспрашивал меня о моих взглядах, моем прошлом, моих нынешних друзьях. Сначала я отвечал неохотно, но человеку, особенно молодому, трудно устоять перед столь искренним любопытством к его особе. Как и Дарью Александровну, Лебеду особенно занимал Никитин. Неудивительно – такова уж была притягательная сила этой личности.

Последнее, что мне осталось рассказать об этом периоде своей серноводской жизни, тоже связано с Олегом Львовичем.

Дня за два до выступления в поход Базиль с обычной своей небрежностью спросил:

– Ты уже покусился на невинность мадемуазель Фигнер?

Я ответил что-то возмущенное.

– Судя по благородству негодования, еще нет, – спокойно заключил он. – Но дело хоть идет к тому? Ты объяснился? Нет? Не может быть! Я видал вас сегодня на бульваре. Ты что-то говорил ей, а она слушала тебя с таким страстным выражением. Уж я в подобных вещах понимаю.

Припомнив, о чем мы с Дашей беседовали, когда мимо на своем иноходце проехал Базиль, я сказал:

– Нет-нет, мы говорили не о любви. Я рассказывал ей, как Никитин готовится к экспедиции.

Стольников посмотрел на меня странно. Вздохнул и молвил:

– Ну так вот что я тебе скажу, мой милый. Она влюблена не в тебя, а в Никитина. Очень хорошо помню, как она на него смотрела, когда вы трое стояли в прихожей.

Предположение вызвало у меня смех, Базиль настаивать не стал и переменял тему. Но капля яда уже проникла в мою душу и начала ее разъедать.

А ведь верно! Почти все наши разговоры так или иначе вертелись вокруг Никитина. Не было случая, чтобы Даша поинтересовалась чем-то из моего прошлого или моими мыслями о будущем! Разве так бывает, когда девушка любит? А вот в Никитине ее занимало всё, любая мелочь. Мне теперь казалось, что самый голос ее менялся, а глаза загорались особенным

огнем, когда она произносила его имя!

Мучения мои были слишком остры, чтобы я мог долго терзаться неизвестностью. Поступил я так же, как всегда – ринулся в пучину, не задумываясь о последующем.

Назавтра я чуть не загнал коня, чтобы поскорее вернуться с задания и подстеречь Дашу, когда она будет возвращаться из серных ванн, – весь ее распорядок был мне известен до мелочей.

– Вы любите Олега Львовича! – выпалил я, выскакивая ей навстречу из кустов. – Я знаю! А со мною водитесь, лишь чтобы выведывать о нем новости! Но я... я не желаю более состоять в этой жалкой роли! Только это я и хотел вам сказать!

В первую минуту она испуганно отшатнулась. Мое появление и весь дикий вид напугали ее. Но затем лицо Дарьи Александровны залилось краской. Сердце мое упало. Я вообразил, что это свидетельство моей правоты.

– Отчего вы так унизили меня? – горько молвил я. – Если он вам дорог, дали бы ему это понять. Как вы... бессердечны. Не к нему – ко мне.

Произошло то, чего я никак не ждал. Даша заплакала. Но не испуганно и не виновато, а оскорбленно, даже возмущенно.

– Вы... вы не смеете! – захлебывалась она. – Я считала вас другом, а вы!.. Как вы могли даже вообразить! Вы слепец! Нет, хуже – у вас испорченный, грязный ум! О, как вам было бы стыдно, если б я объяснила... Но нет, уйдите с моих глаз!

Я и сам плакал, ничего не понимая.

– Что объяснили бы? Что?

Но она не говорила, лишь трясла головой и показывала рукой: уйдите.

– У меня не грязный ум, просто я вас люблю, – вдруг вырвалось у меня. – Подозрение, будто вы любите другого, для меня невыносимо.

Даша зарыдала еще пуще, но уже без негодования. Когда я понуро повернулся, чтобы уйти, она удержала меня за рукав.

– Погодите... Я всё вам расскажу.

И рассказала.

Я узнал, что познакомиться с Олегом Львовичем ее попросила одна госпожа Незнамова, его невеста. У них многолетняя драматическая любовь. Условием этой Алины Сергеевны было, что Даша станет наблюдать за Никитиным издали, не выдавая истинной причины своего интереса. Почти каждый день Даша отсылала ей подробный отчет, главным поставщиком сведений для которого являлся я.

Мне вспомнилось письмо, доставленное Дашей в день ее именин.

Пелена упала с моих глаз, и я будто заново родился.

– Простите меня, Дарья Александровна. Я ужасно перед вами виноват. И благодарю, что доверились мне. Олег Львович ничего не узнает.

С трепетом я ждал, не скажет ли она чего-то по поводу моего невольного признания.

Нет, Даша ничего не сказала. Но по ее взгляду я знал, что сгоряча вырвавшиеся слова оставили в ней след.

– Мы поговорим обо всем, когда вы вернетесь из похода, – нежно молвила она. – Пообещайте мне быть осторожным в бою и беречь Олега Львовича.

Слезы мои уже высохли. Молодцевато улыбнувшись, я сказал:

– За первое не ручаюсь, а насчет второго можете быть покойны.

Глава 9

Безупречный план. Участники экспедиции. Странность за странностью. Первые столкновения. Через леса. «Третий принцип» Никитина. Имам видит вещий сон. Возвращение из похода

Будучи одним из ординарцев генерала Фигнера, я был посвящен в план предстоящей экспедиции. План этот был хорош своей простотой и легкоосуществимостью. В зажатую меж крутых, непроходимых гор лесистую долину, где обитало Семиаульское общество, ведут всего две дороги. Одна узкая, петляя по обрыву реки Эрсу, тянется с востока, из мятежных областей; вторая, широкая и удобная, проложена с севера, из русских владений. Именно она-то и являлась главной причиной миролюбия семиаульских жителей: обеспечивала им выгодную торговлю с нашими городами и станицами и в то же время делала долину уязвимой для карательных мер, буде туземцам вздумается бунтовать. Однако, если они открыто присоединятся к Шамилю и опытный в горной войне Хаджи-Мурат со своими отборными нукерами возглавит сопротивление, усмирить Семиаулье будет непросто; оно превращалось в клин, угрожающий Военно-грузинской дороге. С помощью подкреплений «республика» могла бы оборонять северную дорогу, перекрыв ее завалами и каменными осыпями.

Поэтому прежде всего – ночью, в полной секретности – в поход выступил отряд казаков и егерей, которому поручалось устроить засаду на восточном пути. Там в одном месте дорога сужается до размеров тропы; слева – отвесный склон, справа – пропасть. Отряду было велено пропустить Шамиля с Хаджи-Муратом без выстрела. Едва лишь имам войдет в долину, мышеловка захлопнется.

С севера в Семиаулье тем временем войдут наши основные силы – открыто, с орудиями и обозом. И пусть местные обитатели выбирают: то ли им отвернуться от имама и сохранить свои селения, то ли быть уничтоженными вместе с Шамилем. В первом случае «хищники» кинутся на восток – и угодят в засаду. Во втором случае наша победа всё равно обеспечена превосходством сил и главарю мятежного Кавказа от нас не уйти, а наказание строптивых семиаульцев станет уроком для остальных непокорных.

План казался беспроегрешным.

И вот, через два дня после скрытного выступления казаков и егерей, мы тронулись в путь. Шли форсированным маршем, высылая вперед и в

стороны летучие разъезды и дозоры. Фигнер собрал большую силу: шесть батальонов пехоты, пять эскадронов регулярной кавалерии, пять казачьих сотен и немалую силу туземной милиции – всего более шести тысяч штыков и сабель с двенадцатью горными орудиями. Всё население Семиауля не достигало этого количества.

Мы с Никитиным состояли при штабе – я по должности ординарца, а Олег Львович в качестве моего подчиненного; с ним – попросту в качестве кунака – был и Галбаций. Надо сказать, что в экспедицию отправилось множество никуда не приписанных лиц. Такого рода предприятия на кавказском жаргоне назывались «дождливыми» – то есть сулили участникам целый дождь наград. С нами увязалось, наверное, до полусотни бездельников: столичные гвардейцы, любопытствующие иностранцы, просто зеваки. Среди последних были Базиль, надеявшийся разогнать скуку, и Лебеда – этот рассчитывал написать очерк о пленении или уничтожении Шамиля. Князь Бельской тоже желал ехать, но передумал, узнавши, что мы выступаем на рассвете, – он никогда не просыпался ранее полудня. Забегая вперед, скажу, что недалекий умом Кискис в данном случае поступил мудро.

Я на своей не слишком казистой, но проворной кабардинке с примесью арабской крови всё время носился взад и вперед, не столько по службе, ибо поручений мне давали немного, сколько от возбуждения. С этим походом у меня связывалось много надежд, я просто не мог ехать шагом. Я успевал и помозолить глаза его превосходительству, и унести к передовым дозорам, и поболтать с Базилем, и перемолвиться словом с Никитиным. Он держался немного в стороне от дороги, чтобы не глотать пыль; ехал по-горски, то есть отпустив поводья и закутавшись в бурку, хоть было тепло. На мои нетерпеливые вопросы – как он думает, угодил ли в ловушку Шамиль, да возьмем ли мы его живьем – Олег Львович флегматично отвечал, что на войне никогда не выходит по плану и что не позднее завтраго мы всё узнаем.

Журналист, дурно сидевший в седле и комично смотревшийся в папахе и черкеске, был не таким, как в городе. Не молот языком, не сыпал шутками, а лишь вздрагивал, когда издали доносились выстрелы. Я его успокаивал, говоря, что это палят для острстки, на всякий случай. До входа в долину нападение врага маловероятно.

Кто совершенно не переменялся, так это Стольников. Он – кажется, один из всего скопища – был не в военной форме и не в черкеске, а одет по-статски: в кофейном рединготе и бежевом цилиндре. Ехал он по-щегольски, перекинув одну ногу в замшевом сапожке через седельную луку, да еще

покуривая сигарки. Солдаты на него пялились и вслух гадали, что это за «ферт». Первые полчаса или час происходящее его забавляло, он оглядывался с любопытством, однако довольно скоро марш ему прискучил. Он стал допытываться, скоро ли «что-нибудь начнется», и выразил надежду, что «туземцы окажутся молодцами и tanceront nous du jar».^[13] Еще Базиль высказал мне пожелание, будто я был распорядителем представления, чтобы кому-нибудь по соседству ядром оторвало голову, он-де читал о таком в книгах, но совершенно не представляет, как это выглядит. Я разочаровал его, сказав, что у семиаульцев пушек нет, да и вообще, скорее всего, горячего дела ждать нечего – вся главная работа достанется засадному отряду.

Миновав за день по ровной дороге более сорока верст, мы разбили лагерь у подножия первых настоящих гор. Командующий велел соединить три большие палатки и дал ужин в честь грядущих событий. Генералу, который готовился занять место в истории, хотелось быть уверенным, что столичные и иностранные наблюдатели осознают всё значение происходящего.

– В европейских газетах часто спрашивают, зачем нам, русским, понадобились эти дикие горы, которых никогда и никому еще не удавалось покорить? – говорил Александр Фаддеевич, поглядывая на двух британских офицеров и французского capitaine de corvette^[14] (я подслушал, как днем майор Честноков аттестовал всех их генералу «матерыми шпионами»). – Что-де за прок России от колоний, не сулящих никакой выгоды? Отвечу. Мы не алчны, колоний нам не надобно. Мы не плаваем за моря на другой конец земли в погоне за барышами, Африк с Индиями да Австралиями не покоряем. Весь наш территориальный рост испокон веку происходит от необходимости – можно сказать, не по нашему хотению. Такие уж по воле истории нам достались соседи. С запада нас теснили драчливые поляки, с юга – турки да разбойники-крымчане, с востока лезли шайки татар, потомков Чингиз-хана. Не мы донимали соседей – они нас. Наши территориальные расширения никогда не диктовались стремлением подчинить весь мир, о нет! Лишь логической необходимостью установить твердые границы с цивилизованными державами, которые не будут нарушать наш покой. На западе мы остановились, едва только с карты исчез вечный источник европейских раздоров – Польша. С Австрией и Пруссией нам делить нечего, за свой левый фланг мы можем быть покойны. На востоке мы дошли до океана, до великого Китая – и тоже остановились. Но на юге наше движение не может быть окончено, пока мы не встретимся

с силой государства, которое способно гарантировать мирное и надежное соседство. Мы отлично ужились бы с Турцией и Персией, но страны эти скверно устроены, они не умели смирить хищные племена, что обитали в пограничных с нами землях. Оттого-то и пришлось нашему государю, неся огромные траты в деньгах и людях, воевать кавказские теснины. Там обитали и сейчас еще обитают хищники, чей промысел – набег да разбой. Если оставить их в покое (а мы это пробовали), они сами лезут на нашу равнину. Договариваться с ними невозможно, ибо не с кем. Не успеешь заключить мир с каким-нибудь князьком, а его уж свои зарезали. Да и сколько их тут, всяких мелких князей, миниатюрных султанов да самозванных пророков? Выход у нас один – выполоть сей дикий бурьян и разбить на этом месте цивилизованный газон. Какая уж тут колонизация? Колонии прибиток приносят, а нам от Кавказа одна морока да расходы. Когда завоюем – придется горских жителей за счет казны содержать, а то они без своего разбойного промысла с голоду перемерут, им ведь есть нечего.

Мне очень нравилось, как говорил Александр Фаддеевич. Даже не так смысл его речений (в мировой политике я был несведущ), сколько общий тон большого государственного мужа, которому тесен мундир армейского начальника средней руки. И то сказать: если б ему досталась слава покорителя Кавказа, о как высоко он бы взлетел!

За десертом старший из британцев, полковник, спросил Фигнера, будто тот был одним из первых лиц империи, каковы намерения России в Центральной Азии. Приосанившись, генерал ответил, что хивинцев с киргизами тоже придется приводить в покорность, ибо они грабят наши пределы; что русским придется двигаться на юг, пока мы не встретимся с британцами, которые несомненно пойдут на север из Индии. Когда два наши государства наконец сойдутся, мы установим по общему согласию границу, и южную проблему России можно будет считать окончательно решенной.

Я слушал всё это, замирая от мысли: я стану зятем великого человека!

На следующий день командующего было не узнать.

Едва мы приблизились к горлу Семиаульской долины, с Александра Фаддеевича слетела вся важность государственного мыслителя. В предвкушении драки он стал самим собою, то есть боевым генералом, мужем войны. Весь глянец пресловутой цивилизованности исчез без остатка. Голос его сделался зычен и хрипл, с губ поминутно срывались самые грубые слова, а солдат он приветствовал таким цветистым матом, что в ответ гремел одобрительный хохот. Я, помнится, в этой связи

подумал, что хороший военачальник – не тот, кто рассчитывает на карте хитроумный маневр, а тот, чей один лишь вид способен привести наступающую армию в состояние петушиного задора. Для обороны против превосходящего противника, как я узнал позднее, в севастопольские времена, от полководца потребны совсем иные духовные качества, но Фигнер заслужил репутацию именно лихого, то есть атакующего генерала.

Поскольку я теперь неотлучно находился при командующем и неплохо его изучил, мне было заметно, что за его басистым рыком и сквернословием скрывается растущее беспокойство.

Диспозиция проникновения в долину была составлена в расчете на два возможных варианта событий. Либо, уже зная о приближении колонны, семиаульцы передумают бунтовать и вышлют нам навстречу мирную депутацию старейшин; либо же перекроют дорогу в удобном для обороны месте и встретят нас огнем. Первое могло произойти, если Шамиль по какой-либо причине не явился в Семиаулье, или же, если у местных жителей возобладало здравомыслие и они попросили имама удалиться восвояси. Второй исход, тоже нас устраивавший, означал бы, что Шамиль не только прибыл, но и сумел воспламенить горную «республику».

Однако наши передовые разъезды беспрепятственно миновали горловину, после которой начиналась открытая местность, тянувшаяся версты на полторы и очень удобная для регулярного войска: оно могло спокойно развернуться тут или же расположиться лагерем. При этом никакая депутация к нам не вышла. Казаки не встретили ни одной живой души.

В самой высокой точке гряды, опоясывавшей долину с противоположной стороны, наш засадный отряд должен был подать дымовой сигнал, как только пропустит мимо имама с его «хищниками». Однако, несмотря на то, что низина была залита солнцем, именно в восточной части вершины гор были скрыты облаками. Пока их не унесет ветер, главный вопрос – здесь ли Шамиль – оставался неясным.

Вопрос второстепенный, касавшийся мятежности семиаульцев, скоро разрешился. Едва конная полусотня приблизилась к опушке леса, оттуда ударили выстрелы. Подобрав двоих упавших, казаки быстро откатились. Вместо них вперед побежала рота кубанских пластунов и в четверть часа, после короткой перепалки, заняла край леса.

– Ну, стало быть, Шамиль тут! – воскликнул Александр Фаддеевич, очень довольный, и припустил по-непечатному.

В его свите все начали друг друга поздравлять. Но тут в горах подул ветер – их вершины обнажились, и мы увидели, что никакого дымового

сигнала нет. Стало быть, мюриды мимо засады не проходили? Отчего же тогда туземцы встретили нас огнем? Без поддержки Шамиля они нипочем бы на это не решились.

– Сейчас мы разгадаем эту загадку, – уверенно молвил командующий и велел авангарду идти по лесной дороге вперед до первого из семи аулов.

Я напросился идти с ними, чтобы первым доставить из деревни кого-нибудь из плененных старейшин.

Отрядом командовал старый, опытный полковник. Он вел своих людей по дороге быстро, но осторожно; по обе стороны, держа дистанцию от колонны в полсотни шагов, крались пластуны; предшествовала движению полусотня кабардинской милиции. Нечего и говорить, что я был с ними.

Я хоть и хорохорился, но было мне совсем невесело. Из зарослей в любую секунду мог грянуть залп, и я в своей белой фуражке среди косматых папах моих спутников являл бы собой самую лакомую мишень. Наконец один из горцев молча отвязал от седла бурку и накинул мне на плечи; другой дал свою шапку, оставшись в головном платке, повязанном на манер пиратского. Я немного успокоился.

Никто, однако, на нас не напал. Из-за поворота показалась наклонная поляна, на которой раскинулось большое, домов на сто, селение. Оно встретило нас мертвой тишиной. Жители ушли, увея с собой всю живность. Полковник, присев на корточки, поглядел на свежий конский помет – он еще дымился – и послал казаков догнать беглецов. Всадники на рысях понеслись дальше по дороге, опять нырнувшей в чащу. Минут через десять донеслась частая пальба.

– Э-э, дело-то нешуточное. Мне одному тут не пробиться, – послушав немного, заключил полковник. – Скачите-ка, голубчик, к его превосходительству. Как он велит?

Я стремглав понесся обратно через пустой, нехороший лес.

Генерал сказал:

– Ах так? Ну коли им угодно, запомнят они Фигнера!

Экспедиция на ходу сменила характер, превратившись из демонстративной в карательную. Захваченный аул было велено разнести до последнего камня, посева вытоптать лошадьми, фруктовые деревья срубить, колодцы испортить. Эту гадкую работу доверили саперам и обозным, остальная же часть войска быстро двинулась на выручку авангарду.

Но враг, очевидно, сопротивлялся лишь с тем, чтобы жители первой деревни успели уйти подальше. С подходом наших основных сил стрельба прекратилась.

Зато перед вторым аулом разразился нешуточный бой.

Я опять был впереди и видел, как на поляну, разворачиваясь лавой, вынеслись казачьи сотни. Но узкие оконца и крыши сакль враз исторгли языки пламени и дым. Не достигнув и середины луга, конные повернули назад. На зеленой траве остались лежать люди и лошади.

– Черт их знает, что у них в голове, – говорил Фигнер, глядя в зрительную трубку. – Горловину сдали без боя, а тут вдруг решили уцепиться.

Кто-то из штабных закричал:

– Смотрите, смотрите!

Показывали на длинный шест с конским хвостом и цветным вымпелом. То был значок ХаджиМурата.

– Так мюриды здесь? Что ж тогда наши засадные? Проворонили? Почему не подали сигнала? – заговорили вокруг – и вдруг умолкли. Лица разом помрачнели.

В атаку пошла пехота – и скоро откатилась. Воины Хаджи-Мурата сосредоточили огонь на командирах. Согласно уставу, все они шли справа от развернутых ротных колонн и были легко отличимы от нижних чинов по головным уборам и обнаженным саблям. В пять минут батальон потерял чуть не всех офицеров, включая и командира, которого какой-то меткий стрелок свалил с лошади за добрые триста шагов. Солдаты, смешавшись, отхлынули назад к лесу. «Не выскочить ли мне вперед, на глазах у всего штаба, и не увлечь ли бегущих за собой, как Бонапарт на Аркольском мосту?» – спросил я себя. От этой мысли сердце мое чуть не остановилось. Трясущейся рукой я потянул из ножен саблю. Спасло меня, дурака, чудо. Командующий оглянулся на ординарцев, и его мрачный взгляд упал на меня.

– Скачите-ка, поторопите артиллеристов. Не стану я зря людей класть.

С невероятным облегчением я помчался выполнять приказ. На обратном пути повстречал Никитина. Он сидел в кустах и преспокойно покуривал, глядя на укрепившийся аул.

– А где Галбаций? – спросил я.

– Давно ушел. Сказал, что будет добывать своего кровника Хаджи-Мурата. Ангел-де ему поможет – у него за пазухой котенок сидит. Но очень возможно, что мой кунак сидит сейчас там где-нибудь, – Олег Львович кивнул на деревню, – и палит по нам. По его логике эти две вещи друг дружке не противоречат.

– Ваш приятель стреляет по нам – и вы так спокойно это говорите? – задал я вопрос, который однажды уже звучал.

Но сегодня Олег Львович ответил иначе, чем тогда:

– С точки зрения горца, мы, русские, – это Батый и Мамай в одном лице. Что мы сделали с той деревней, с полями и деревьями? А знаете, каково это – пробить колодец сквозь камни? По здешним обычаям, тот, кто испоганил колодец, карается высшей казнью – вечным изгнанием. Это у них хуже смерти.

– Но ведь они первые начали! Вольно ж им было стрелять!

– Можно подумать, нас сюда кто-то звал с нашими ружьями и пушками.

Мне захотелось разговорить его. Задание я исполнил, до прибытия батареи делать было нечего. Я стал горячо излагать резоны, оправдывающие наше завоевание Кавказа. Привел все аргументы, давеча названные Фигнером, еще прибавил от себя (самому понравилось), что здоровое, растущее государство вроде России подобно газовому облаку – оно занимает всё пространство, какое способно занять.

Он выслушал меня, пожал плечами.

– А я не понимаю, на что русским расширяться за пределы наших исконных земель? Зачем нам подгрести под себя инородцев и иноверцев? Чтоб они вредили нам, чувствуя себя людьми второго сорта? И главное, что за свет такой мы им несем? Можно подумать, что жизнь наша хорошо устроена, богата, привольна. Так вроде бы нет? Что ж мы тратим силы, жизнь самых здоровых наших мужчин не на укрепление своего ветхого дома, а на разрушение домов чужих? Если бы наша изба была красна, песни веселы, а мед сладок, соседи сами стали бы проситься под нашу руку.

– Нет, они захотели бы украсть наше добро!

– Так надо быть сильным, чтоб не совались, только и всего.

Слушая его, я диву давался, как может этот человек, во всем остальном такой умный, не понимать самых простых вещей и рассуждать, будто ребенок.

Но доспорить не пришлось – на опушку уже выезжали артиллерийские упряжки.

С полчаса пушки стреляли по деревне 18-фунтовыми гранатами. Там взметались комья земли и обломки, рушились дома, в нескольких местах начались пожары.

– Пехота, вперед! – приказал командующий.

Снова по полю побежали солдаты. Я увидел среди них Стольников в его неуместном наряде. Базиль шел по полю, сшибая стеком репейники. Должно быть, он чувствовал себя разочарованным – никто рядом с ним не

падал. Аул безмолвствовал.

– Прекратить обстрел! Их уж нет, трам-татам! – ругался Фигнер. – И значок Хаджи-Мурата пропал! В кошки-мышки они с нами играют, что ли?

Наскоро был созван совет. Все лучшие офицеры придерживались одного мнения: семиаульцы будут отступать от деревни к деревне, чтобы дотянуть до темноты. Тогда все население, забрав имущество, какое сможет унести, уйдет.

– Куда, по восточной дороге? – спросил майор Честноков. Не знаю, где он был раньше – на поле я его не видал. На совете, однако, он стоял прямо за спиной у командующего. – Ну и пусть себе. Попадут под огонь нашей засады.

На него поглядели так, будто он сказал что-то неприличное.

– Если дыма на горе не было, а Хаджи-Мурат в долине, очень вероятно, что засадный отряд обнаружен и истреблен, – сказал командир авангарда то, что считалось фактом почти несомненным, но до сих пор не проговаривалось вслух.

Жандарм скис и отступил в тень.

– Они меня от аула к аулу, как осла на поводке, водить вздумали? – вскричал Фигнер. – Как бы не так! Сейчас едва за полдень. Времени до сумерек еще много. Диомид Васильевич, – оборотился он к своему помощнику, молодому генералу, известному на весь Кавказ храбрецу (он года три спустя сложил-таки голову под чеченскими шашками), – они лесом к третьей деревне отступают, а вы возьмите казаков с драгунами и ударьте по четвертой, в обход. Вот здесь на карте балка обозначена.

Широкий овраг действительно очень кстати пересекал эту часть долины, давая возможность скрытно выйти к Шуурде, четвертому из селений Семиауля.

Дело обещалось лихое, я вызвался участвовать. К моему удивлению, со мной отправился и Никитин. Вероятно, ему надоело сидеть без дела.

Мы шли рысью, без остановок, и все-таки чуть не опоздали.

Вынесясь из впадины навверх, я увидел, как по ту сторону деревни к лесу уходит гурьба народу. Там были телеги, запряженные волами, стадо коров, отара овец. Над дорогой колыхалось, посверкивая на солнце, большое облако пыли.

– Третий аул, стало быть, уже пуст. Александр Фаддеевич был прав. Но тут мы им хвост прищемили! – Генерал азартно хлопнул себя по ляжке рукою в белой перчатке и тонким, визгливым голосом закричал. – А ну, ребята, руби их!

Два эскадрона и две сотни, то есть с четыреста конных, вынеслись на

ровное место и пустились вдогонку – казаки с улюлюканьем, драгуны с криком «ура!». Я старался не отставать от командира, который бешено размахивал шашкой, и тоже орал во всю глотку.

От удаляющейся толпы отделилась группа, человек двадцать, и побежала нам навстречу. Вот они остановились, вытянулись в цепочку плечо к плечу, нагнулись и произвели какую-то непонятную мне манипуляцию, после чего упали в траву и открыли огонь.

Стрельба была меткой. Головные кавалеристы начали осаживать коней, никто не хотел лезть вперед на верную смерть. Наши тоже стали стрелять из ружей и карабинов – не спешиваясь, с седла.

– Отставить! Отставить! – метался меж ними генерал. – Их так не возьмешь! Больше народу потеряем! В клинки надо!

Пальба с нашей стороны прекратилась, ряды выровнялись.

Перестали палить и залегшие горцы. Оттуда донеслись звуки заунывной песни. Я подумал, что ослышался.

Так я впервые увидел изготовившихся к смерти мюридов. Они связались ремнями, чтобы ни у кого не возникло искушения спастись бегством, залегли и стали петь прощальную песню.

Звучала она не более минуты. Генерал дал приказ, и мы сломя голову пустились вперед. Ударил последний залп, над головами пеших засверкала сталь, и скоро всё было кончено. Я не совался туда, где шла рубка, – через крупы казачьих лошадей все равно было не протиснуться.

– Это было только начало. Смотрите. – Олег Львович, бывший все время рядом со мной, но не обнажавший шашки, показал на опушку.

Там выстроилась новая вереница бойцов. Связалась вместе, залегла.

Еще дважды пришлось нам ходить в сабельную атаку, теряя людей. Когда же мы добрались до леса, дальнейшее продвижение стало решительно невозможным: казалось, по нам стреляют из-за каждого дерева. Генерал велел остановиться.

– Не нравится мне всё это, – объявил он. – Хаджи-Мурат здесь, мы видели его значок. Значит, где-то должен быть и Шамиль. Как бы он не ударил нам в тыл или во фланг. Скачите, поручик, к Александру Фаддеевичу. Скажите, что я шагу не сделаю, пока не добуду «языка». Сами видели, из тех сорвиголов ни один живым не дался.

Он громко сказал окружающим его офицерам:

– А что, господа, не угодно ль кому заслужить крест? Добудьте пленного, который объяснил бы, что за чертовщина тут творится.

Никто не вызвался – вояки были опытные, понимавшие фантастичность задачи. Иное дело я.

– Олег Львович, – зашептал я. – Давайте раздобудем «языка»? Поход провалится – нам награды не будет, а вам выслуга нужна!

– Пожалуй, – прикинув что-то, ответил он.

Я немедленно объявил генералу о нашем желании, попросив отправить вместо меня к командующему кого-нибудь другого.

– Пусть только доложат его превосходительству, отчего мне невозможно явиться самому, – скромно присовокупил я.

Вновь меня заставили снять мою белую фуражку и накинуть поверх мундира бурку.

– С Богом! Да поторопитесь, солнце ждать не станет, – напутствовал нас генерал.

Как берут пленных я, разумеется, не представлял и целиком полагался на Олега Львовича. Он относился к разряду людей, про которых думаешь, что они умеют всё на свете. И лишь когда мы углубились в густую чащу, я вдруг сообразил, что Никитин, как и я, никогда не бывал в этих местах.

– Откуда вы знаете, в какую сторону двигаться? – спросил я шепотом.

Едва мы отделились от отряда, вся моя бравада пропала. Я остро чувствовал враждебность окружавших нас зарослей, откуда в любую секунду мог грянуть выстрел. Надо сказать, что леса в тех краях несколько не похожи на русские. Деревьев почти нет, одни кривые березки, зато повсюду густой кустарник, сквозь который ничего не видно. Каждый шаг, особенно конский, отдается треском и грохотом – то есть двигаться незаметно никак нельзя.

– Мы идем туда, откуда можно осмотреть долину.

Мой спутник показал на холм, видневшийся впереди. Мне стало странно, что я сам не додумался до такой простой вещи.

Чтоб подняться по довольно крутому склону, пришлось вести лошадей в поводу. Олег Львович в своих горских сапогах шел очень быстро, а я, несмотря на молодость и крепость телосложения, довольно скоро выдохся. Бурку и папаху пришлось снять – я весь обливался потом. Но самолюбие не позволяло просить о передышке. Путь наверх, казалось, длился целую вечность. Я в конце концов сильно отстал, потерял из виду Никитина и тащился за ним по звуку и по следам копыт.

К тому времени, когда я достиг вершины, Олег Львович уже всё, что нужно, разглядел. Долина отсюда просматривалась, будто разложенная на столе географическая карта.

– Смотрите, – стал показывать он. – Вон четыре аула, которые уже заняты нашими. Над ними черные дымы. Еще три селения расположены далее к востоку и соединены лесной дорогой. Судя по облаку пыли,

убегающее население находится между шестой и седьмой деревней.

Я приложился к подзорной трубке. Всё было так, как он сказал.

– Что же делать? Мы опоздали?

– А ну-ка дайте.

Он взял у меня окуляр.

– Смотрите!

Я увидел, что к аулу, расположенному с другой стороны от нашего холма и уже покинутому жителями, движутся три всадника: двое в папахах, один в белой чалме.

– Зачем они возвращаются?

– Не знаю. Но упустить их нельзя. Это наш шанс. Живей!

С этими словами Олег Львович вскочил в седло и, не разбирая дороги, напролом, через кусты, помчался вниз. Я за ним. Любой конь, не выросший в горах, переломал бы себе от такой скачки ноги, но никитинский крепконогий черкесский конь и моя кабардинка ни разу не оступились. С холма мы слетели самое большее в пять минут.

Всадники уже ехали по главной улице аула. Нам было хорошо их видно. Я не отрываясь смотрел в трубку. Вот человек в чалме спешился и, по-старчески семеня, вбежал в большой каменный дом с башней, увенчанной полумесяцем. Это несомненно была мечеть.

Олег Львович сбатовал лошадей по горскому обычаю: вторую головой к хвосту первой и потом пропустил узду через кольцо седельного ремня. При этом можно спокойно уйти, оставив коней без присмотра, они никуда не денутся.

– Возьмите винтовку, а сапоги снимите, – тихо сказал он.

Мы бесшумно бежали меж пустых домов, ворота которых все были нараспашку. Сакли стояли к улице глухими безоконными стенами, на которых там и сям сохли лепехи конского навоза – так в горах заготавливают кизяк. Я вдыхал на бегу кислый запах чужой, незнакомой мне жизни.

У самого годекана, то есть деревенской площади, Никитин выглянул из-за угла. Я, как мог осторожно, тоже.

Двое горцев сидели верхом, спиной к нам, и смотрели на мечеть. Вид у них был не особенно молодецкий. Я догадался, что это не воины Хаджи-Мурата, а обычные уздени, то есть крестьяне.

– Всё как нельзя лучше, – зашептал я. – Мой – левый, ваш – правый. Стреляем разом. А старика возьмем. Он, верно, мулла или старейшина.

Олег Львович наморщил нос:

– Вы как угодно, но я стрелять не стану. Я ведь объяснял, в каких

случаях почитаю убийство допустимым.

– Нашли время шутить!

– Я не шучу. Эти люди мне ничего дурного не сделали.

– Заметят – сделают!

– Ну так пусть заметят... Вы-то, коли охота, стреляйте. Я вам своих принципов не навязываю.

Человек в чалме уже показался в дверях. Нельзя было терять ни секунды. Не раздумывая, я взвел курок, приложился и выстрелил. Моя жертва, качнувшись, выпала из седла.

Одновременно с этим Олег Львович выскочил из укрытия и быстро побежал ко второму всаднику. Тот, встрепенувшись, выхватил ружье и приложился. Лишь тогда Никитин свалил его выстрелом из пистолета. Мне подобная щепетильность показалась глупой. Война – не рыцарский турнир. Однако у каждого свои чудачества.

Теперь нужно было исполнить главное – схватить седобородого старика. Он замер как вкопанный, прижимая к груди что-то плоское, обернутое куском зеленого шелка. Бежать он не пытался, да и некуда было. Не выпуская своей ноши, старик оскалился и обнажил кинжал, но Никитин схватил его за правую руку. Тут подоспел и я. Вдвоем мы повалили бешено брыкающегося «языка» наземь и скрутили его же ремнем. Некоторое время он катался в пыли, по-звериному рыча. Потом утих, закрыл глаза и забормотал что-то беззвучное серыми губами – наверное, молился. Сверток валялся на земле. Зеленая ткань развернулась, открыв толстую книгу в старинном кожаном переплете.

У меня появилась возможность перевести дух. Я впервые убил человека. Во всяком случае с близкого расстояния – чтоб видеть труп перед собой. Но в том-то и дело, что смотреть на дело своих рук я не стал. Нарочно отвернулся. А вот Никитин перевернул застреленного им горца на спину.

– Хорошо хоть наповал, – сказал он. – А ваш, кажется, стонет. Куда вы его?

– Не знаю...

Я так и не повернулся глянуть.

Олег Львович, вздохнув, подошел.

– Хребет пополам. Долго будет мучиться, бедняга. Добейте его.

В ужасе я замотал головой:

– Господь с вами!

Он достал второй пистолет. Я зажмурился.

Грянул выстрел.

Молча мы перекинули «языка» через седло его же коня и пошли прочь с площади.

Я чувствовал правоту страшного поступка Никитина, но не желал ее признавать.

– Как же ваши принципы? – наконец крикнул я, не выдержав молчания. (Это было, когда мы уже скакали прочь от аула, таща третью лошадь в поводу). – Сколько помнится, вы считаете убийство позволительным в двух случаях: когда на вас нападают или когда вы имеете дело с законченной гадиной. А это не первое и не второе!

– Есть еще один допустимый случай. Я не говорил о нем, потому что не хотел вспоминать... – Лицо Олега Львовича омрачилось. – Но первый раз в своей жизни я сделался убийцей именно таким образом...

Он умолк. Я уж боялся, что не услышу продолжения. Но оно все же последовало.

– Это было в двенадцатом году. Шестнадцати лет я поступил в военную службу. Мечтал разить французов бесчисленно и беспощадно, да только вышло иначе... При отступлении от Москвы моего приятеля, такого же юнкера, как я, всего годом или двумя старше, сразила пуля. В живот. Была неразбериха, почти паника. Никто кроме меня подле раненого не остался. Мучился он ужасно. Ваш нынешний горец был стоек и в мужском возрасте, он только зубами скрипел да постанывал, а мой товарищ, совсем мальчик, истошно кричал. Помочь ему было нельзя...

– И вы... убили его?

– Да. Он умолял меня об этом. – Олег Львович передернулся. – Эта картина преследует меня всю жизнь, вот уж тридцать лет. Но иначе поступить я не мог... Вот третий случай, когда я признаю убийство допустимым: если оно является актом милосердия. И коли – всякое на войне возможно – со мной произойдет то же, а вы окажетесь рядом, прошу вас не проявлять мягкости.

Я горячо обещал и просил его о том же.

Пленного мы доставили без приключений. Притом не в передовой отряд, а прямо к командующему. Тот несказанно обрадовался – неясность ситуации угнетала его всё больше.

– Считайте, крест ваш, – сказал мне Фигнер. – И вам, Никитин, тоже зачтется.

– А если старик будет молчать? – спросил снова откуда-то вынырнувший Честноков.

Но это опасение не оправдалось.

Седобородый «язык» говорил много и даже охотно, поминутно возводя

глаза к небу и прославляя Пророка. Прапорщик из туземной милиции едва успевал переводить.

Никитин куда-то ушел (я давно понял, что он предпочитает держаться подальше от начальства), но я остался – на правах ординарца и вообще героя.

Оказалось, что мы захватили муллу аула Саршек, от входа в долину это селение было пятым. Священнослужитель в спешке забыл взять из мечети Коран, которым очень дорожил, и потому вернулся, сопровождаемый двумя охранниками. По мнению старца, всё случившееся было волей Божьей, смерти он не страшился, а с гяурами согласился разговаривать с одной-единственной целью: пусть знают, какие дивные чудеса ниспосылает Аллах своим верным рабам.

История, которую он рассказал, в самом деле, была диковинная.

Якобы по пути в долину «великому имаму, да славится имя его» привиделся вещий сон. Шамиль спал, окруженный верными мюридами, и ему пригрезилось, будто по небу летят два орла, белый и бурый. Вдруг они сделали круг и расстались: бурый полетел в сторону, а белый повернул назад. «Что сделал бы простой человек, увидев такой сон? – воздел ладони к небу мулла (генерал велел развязать его). – Пожал бы плечами и отправился дальше. Но не таков великий имам, просвещенный от Бога».

Если опустить цветистости и поминание Всевышнего, случилось вот что. Шамиль истолковал видение так, что он сам (белый орел) со своими ближними мюридами должен поворачивать обратно в Чечню, а Хаджи-Мурат (орел бурый) с отрядом пускай движется в Семиаулье, но не прямым путем, по дороге, а сторонним – узкими горными тропами. Наиб заспорил с имамом, не желая тратить лишнее время и утомлять лошадей, но Шамиль пригрозил ему небесной карой, и Хаджи-Мурат послушался. Он со своими джигитами ехал день и ночь, а в долину спустился только нынче утром.

– Так вот почему на горе нет дыма! Оказывается, в долину есть другой путь! – воскликнул генерал. – Шамиль, выходит, от нас ускользнул!

Разочарованию не было предела. Зато разом объяснились все загадки. Хаджи-Мурат прибыл слишком поздно, чтобы устроить крепкую оборону в горловине. А жители, несмотря на наше наступление, поголовно взбунтовались под воздействием религиозного фанатизма – так впечатлил их вещий сон имама.

Пленник захихикал, видя перекошенные лица врагов, и сказал еще что-то.

– Он говорит, ихние лазутчики знают про засаду на восточной дороге, – перевел прапорщик. – Твои аскеры, урус-генерал, могут там

сидеть хоть до конца мира. Люди Семи аулов уйдут за Хаджи-Муратом горной тропой.

– Дозвольте, ваше превосходительство. – Вперед шагнул Честноков и вдруг схватил муллу за бороду. – А ну говори, черт, где начинается эта тропа. Надо туда казаков послать, чтоб бунтовщикам отступить было некуда!

Старик рассмеялся и плюнул жандарму в лицо. А потом высунул язык, прикусив его крепкими белыми зубами: мол, откушу, но не скажу.

– Дело большое, от него исход всей экспедиции зависит. – Майор утерся, деловито оглядывая деревенскую площадь, где происходил допрос. – Это, Александр Фаддеич, по моей части. Дозвольте я с аллаховым служителем по-своему потолкую.

– Что ж, потолкуйте. – Фигнер был мрачнее тучи. Он-то представлял себя покорителем Кавказа, а теперь дело сулило закончиться пшиком. – Если перехватим тропу, то пусть не Шамиля, хоть Хаджи-Мурата возьмем. Только уж вы побыстрей.

– Я живенько.

Генерал со штабом тронулись дальше, а Иван Иванович махнул двум своим солдатам, шепнул им что-то. Старика взяли под руки и отволокли к старому вязу, росшему посреди годекана. Вокруг всё грохотало и рушилось: солдаты взрывали сакли, крушили заборы, в щепки рубили ворота. Под сапогами хрустели осколки расколотой глиняной посуды, в воздухе летал пух, а из нескольких мест тянуло чадом.

Мне было интересно, каким образом майор станет развязывать упряму язык. Мысль о пытке в мою голову не приходила – для европейской армии, каковою являлась наша российская, это было невообразимо. Другое дело – порка, она считалась делом вполне обыденным. Поэтому, когда я увидел, что с муллы срывают одежду, решил: будут сечь.

Но вышло не то. По указанию Честнокова солдаты привязали пленнику к щиколотке веревку, перекинули ее через сук и натянули, так что бедняга оказался висящим вниз головой. Свободная его нога нелепо дергалась в воздухе, борода висела, касаясь земли, лицо быстро налилось кровью и почти почернело. Вид обнаженного старческого тела был тягостен. Сначала мулла пытался закрывать руками (они были свободны) срамное место, но потом, видно, решил, что гяуров стесняться нечего, и прижал ладони к груди. Его била судорога, и он рывками покачивался из стороны в сторону, однако не издавал ни звука.

Майор присел на корточки, велел переводчику повторить вопрос о

тропе. Губы старика зашевелились.

– Что он, образумился? – нетерпеливо спросил Честноков.

– Нет, он молится, – ответил милицейский прапорщик и приложил руку сначала ко лбу, потом к груди. – Зря теряете время. Ничего он не скажет.

– Ну пускай висит, пока не издохнет. В назидание прочим. – Майор распрямился. – Невзоров! Примкни штык и стой в карауле, пусть аррьергард пройдет, полюбуется. Потом распорешь ему брюхо – чтоб кишки висели.

Жандармский унтер-офицер козырнул:

– Так точно, ваше высокоблагородие. Не впервой.

Здесь майор поймал мой негодующий взгляд.

– Вещий сон, как же, – процедил он. Его прищуренные глаза обожгли меня злым огнем. – Меня не обдуришь. Я с самого начала подозревал, что дело нечисто. Шамиль – чертяка хитрый. Будем разбираться, что за сорока вам с Никитиным весточку на хвосте принесла. Но сначала поглядим, не будет ли еще каких сюрпризов.

Сердце у меня сжалось. Как бы вместо награды дело не окончилось следствием. Вместо того чтоб высказать Честнокову протест по поводу азиатской экзекуции пленного, я смолчал.

Обозные с саперами продолжали разрушать деревню, а боевые части, построившись в колонну, шли через площадь дальше на восток. Предстояло стереть с лица земли три оставшихся селения. Солдаты угрюмо смотрели на корчащегося старца. Не раздавалось ни одного глумливого выкрика, зато многие выразительно плевали унтеру под ноги, а кое-кто даже на сапоги. Бравый Невзоров почел за благо не мозолить глаза и куда-то исчез – очевидно, рассудил, что свирепое свое поручение исполнит, когда уйдут войска.

Я тронул стремяна и поехал вперед. На душе было гадко. Честолюбивые надежды оказались под угрозой, экзекуция муллы повергла меня в ужас, а больше всего терзался я собственным малодушием, не давшим мне остановить Честнокова.

Когда я уже съезжал с площади и поворачивал за угол, сзади ударил выстрел. Я обернулся.

«Язык» качался на веревке, но уже не дергался. Руки безжизненно висели книзу.

Из ближнего двора с криком выскочил Невзоров. Увидав во лбу пленника дырку, из которой сочилась кровь, он выронил ружье и бросился к колонне.

– Кто стрелял? Кто?!

Никто ему не ответил – ни один человек. Солдаты шли, как ни в чем не бывало.

Я остановился и стал смотреть, что будет дальше. Через минуту галопом примчался Честноков. Пообещал содрать с унтера лычки, потребовал к себе командира роты, отказывающейся назвать виновного. Капитан хмуро его выслушал, пожал плечами.

Вдруг я увидел подле одного из домов Олега Львовича, с безучастным видом опиравшегося на ружье. Ствол еще дымился. Я вспомнил про «третий принцип». Нельзя было, однако, допустить, чтоб Никитина заметил майор.

Я подъехал к жандарму и спросил, должен ли я доложить о происшествии командующему.

– Нет уж, я сам! – в ярости ответил мне Честноков. – Ну, ждите, мерзавцы! – Он погрозил роте кулаком. – Преступника покрывать? Сквозь строй прогоню, каждого!

Он поскакал в голову колонны. Я не отставал. Меня снедала тревога за Никитина. Под угрозой телесного наказания кто-нибудь из солдат непременно его выдаст.

Фигнер выслушал гневный доклад жандарма с кислым выражением лица, а на предложение немедленно учинить розыск, сказал:

– Не надо ничего. Предать забвению. Кто выстрелил – молодец, а я мерзавец, что вас послушал. Подите к черту с моих глаз.

Я вздохнул с облегчением.

После я спросил Олега Львовича:

– Вы рисковали всем – крахом надежд, шпицрутенами, новой каторгой – и ради чего?

– То есть? – Он удивился. – Всё, что я делаю, я делаю исключительно ради самого себя.

Тогда я, признаться, не понял, что он хочет этим сказать.

К концу дня мы прошли всю долину до конца и остановились, лишь завершив истребление всех селений. Сопrotивления мы более не встречали. Должно быть, жители успели беспрепятственно добраться до тайной тропы, которой спустился с гор Хаджи-Мурат. Мы нашли ее, эту лазейку. Да и как было не найти?

Весь склон перед скалистым отрогом был усеян трупами коров и овец. Взять их с собою жители не могли и предпочли перебить. Трава была залита кровью, над местом скотовьего побоища жужжали мириады зеленых мух. Солдаты кинулись резать куски мяса, а я отвернулся от мрачного зрелища. Но с другой стороны меня ждала картина еще более удручающая.

Внизу расстилалась долина. Еще нынче утром она казалась зеленой и цветущей, теперь же закатное солнце ярко освещало семь пожарищ. Семиауля больше не существовало. Жителям незачем было возвращаться: ни крова, ни пищи они здесь не найдут. Выражаясь по-военному, долина была окончательно замирена.

Командующий, хоть и опечаленный тем, что не удалось взять имама с наибом, все же объявил штабу свое удовольствие: карательная экспедиция прошла успешно, очаг мятежа уничтожен, о чем будет доложено министру и государю.

Но, как показало дальнейшее, Александр Фаддеевич поторопился с выводами.

Мы встали лагерем неподалеку, чтоб ротные кухни могли запасти как можно больше дармовой убоины. Полночи все обедались, отбирая самые лучшие куски. Утром колонна двинулась той же дорогой в обратном направлении.

Едва головная часть углубилась в лес, раздалась плотная пальба. Оказалось, что там засада – путь перегорожен завалом, а передовой дозор вырезан до последнего человека.

Наши, с ходу разворачиваясь в батальонную линию, пошли в атаку – и отступили с потерями. Казалось, всё мужское население Семиауля засело в этом проклятом лесу.

Я слышал, как один штаб-офицер сказал:

– Это уж всегда так. Главная докука начинается, когда отступаешь. Баб с детьми они услали, а сами тут затаились. Ох, жаркий будет денек. После того, что мы здесь учинили, они нас запросто не выпустят.

Тот день вспоминается мне сплошным дымным кошмаром. Завалы и засады поджидали нас буквально на каждой версте – в местах, где нельзя было применить артиллерию, так что приходилось идти в штыки, теряя множество людей. Летучие отряды обстреливали нас из зарослей – слева, справа, сзади. Вражеская конница ударила по обозу, перерубив прислугу и растащив всё, что можно.

Самое страшное воспоминание у меня такое. Всё еще надеясь заслужить отличие, я однажды кинулся-таки на глазах у командующего останавливать бегущих. Мне это даже удалось. Лупя саблей по спинам ополоумевших солдат, я погнал их вперед. В бок мне ударило – будто кто-то с размаху ткнул меня палкой. От боли я схватился за ушибленное место, уверенный, что пробил мой смертный час. В ткани была дырка, но кровь не текла. Я понял, что меня спасла Дашина кольчуга. Это открытие переполнило мою душу экстатическим восторгом. «Ура! Братцы,

вперед!» – заорал я, уверовав в свою неуязвимость. Впереди уже белела баррикада, окутанная пороховым дымом.

«Почему она такая белая?» – подумалось мне.

Вдруг я споткнулся.

Завал был сложен из голых тел. То были наши товарищи, сраженные во время предшествующих атак. Некоторые из них шевелились.

Баррикада перестала огрызаться огнем. «Хищники» готовились встретить нас залпом в упор, а потом кинуться в шашки. Навстречу нам полетело несколько отрубленных рук. Потом к моим ногам покатилося что-то круглое – отрезанная голова с подкрученными усами.

Я попятился. Оглянулся – и увидел, что мое воинство бежит. Погрозив баррикаде саблей, я зигзагами побежал вдогонку. Мимо провизжало несколько пуль.

Больше я на штурм не ходил. Из меня будто ушла вся сила. Болел зашибленный бок, кружилась голова. Я говорил всем вокруг, что контужен и едва удерживаюсь в седле. Это было правдой.

Генерал Фигнер осип от крика. Чтобы понять его приказы, адъютантам приходилось наклоняться к самому его лицу. Вольные наблюдатели жались к штабу, некоторых достало шальными пулями, кто-то был убит. Графа Нулина я увидел в странном положении: он шел согнувшись между двумя волами, которые тянули повозку с ранеными.

– Вы что там делаете? – крикнул я.

Он поглядел на меня вытаращенными глазами и вдруг сел на корточки – должно быть, в воздухе просвистела пуля. Я догадался, что журналист постарался занять самое безопасное место.

Не так вел себя Стольников. Он не участвовал в бою, но преспокойно ездил всюду на своем иноходце, с любопытством оглядываясь. Однажды поравнялся со мной и показал обрызганную кровью полу редингота:

– За меня схватился смертельно раненый. Каково?

Где был все время Никитин, я не знаю, но к исходу ужасного дня, когда мы наконец пробились назад к горловине, Олег Львович разыскал меня и занялся моей контузией. Пока он смазывал салом черный кровоподтек и потом туго стягивал мою грудь кушаком, появился Галбаций. Щетина с одной стороны у него была вся опалена – так бывает, если кто-то выстрелил прямо перед лицом из пистолета.

– Что, нашел Хаджи-Мурата? – спросил я.

Он понял, но не ответил, только скривился. Видно, и ему нынче не выпало удачи.

У абрека из-за края черкески торчала пушистая белая головенка.

Ангел-Малаик тер мордочку лапой.

Напоследок, пользуясь тем, что с гор в долину задул сильный зюйдт, командующий приказал зажечь лес. Языки пламени, подгоняемые ветром, быстро поползли по верхушкам кустарников. Скоро вся долина должна была превратиться в пылающий ад.

«Так ей и надо, – думал я. – Это Семиаулье и есть геенна огненная».

Глава 10

Немилость. Ужасное происшествие. Мы возвращаемся в Серноводск. Переговоры с разбойниками. Вся надежда на Эмархана. Отправляемся в экспедицию. Прощание с юностью

Не сомневаюсь, что реляция, посланная Фигнером в Петербург и Тифлис, была победной: бунт подавлен, мятежники примерно наказаны. Однако итоги экспедиции удручали. Таких тяжких потерь наши войска не несли со времен печальнопамятного отступления генерала Граббе от аула Ахульго в тридцать девятом. В проклятых лесах Семиауля полегла четверть отряда. Одних офицеров, за которыми «хищники» охотились, будто за фазанами, выбыло до шестидесяти. Пропал почти весь обоз, враги отбили одно орудие, что считалось позором. На обратном пути я держался от командующего подальше – после того, как поймал его неприязненный взгляд. Было ясно, что один мой вид его превосходительству тягостен, ибо напоминает о несбывшихся надеждах и предстоящих объяснениях с начальством. Ни о каком кресте или повышении, конечно, мечтать не приходилось. Я боялся, не угожу ли под следствие. При неудаче у нас ведь непременно должны отыскать главного виновника, а по чьему, спрашивается, почину был предпринят несчастный поход?

Первой ласточкой грядущей опалы был переданный мне через адъютанта приказ скакать в несколько пригородных станиц и озаботиться подготовкой мест для раненых. Наскоро попрощавшись с Никитиным и Базилем, я помчался вперед, даже обрадованный возможностью не мозолить глаза генералу. Глядишь, со временем он оттает.

Два дня я со всей дотошностью следил за тем, как готовились помещения, койки и перевязочные материалы. Потом явился в штаб и доложил, где и сколько имеется мест. Отряд только что доплелся до окрестностей Серноводска, но меня в канцелярии уж поджидал приказ: я должен был немедленно, сей же час, возвращаться в Занозу и впредь без особого указания форта отнюдь не покидать. В противном слове «отнюдь» звучало явственное неудовольствие.

Адъютант Мишель, передавший бумагу, глядел с сочувствием и, видно желая подсластить горькую пилюлю, пояснил требование относительно «сего же часа» военной необходимостью: имеется-де опасение, что теперь «хищники» обнаглеют и начнут тревожить местности, доселе считавшиеся спокойными, потому-то комендант укрепления и должен находиться на

своем посту. У меня было собственное предположение насчет скоропалительности ссылки – Фигнер не хотел, чтобы я увиделся с Дашей.

– Будет исполнено, – уныло сказал я. – Вот только разыщу своего унтер-офицера.

У меня была надежда под этим предлогом задержаться хоть ненадолго.

– Вы о Никитине? Он отправлен в Занозу еще с марша, вместе со сменной командой казаков. Право, Мангаров, лучше вам поскорей уехать. Александр Фаддеевич ваше имя чуть не с рычанием произносит.

Я поблагодарил за совет, пошел к лошади. Не хватало еще попасться на глаза Честнокову. Уж лучше, пока все поутихнет, пересидеть в глуши.

Но меня терзало, что я не скажу «до свиданья» Дарье Александровне. Дважды проехал я верхом мимо ее дома, глядя на окна. Войти не осмелился. Судя по некоторым признакам (мельканье теней за стеклами, распряженная коляска), генерал был дома – наверное, приходил в себя после невзгод.

Вдруг на глаза мне попался Лебеда, шедший куда-то по бульвару. Вид у него был бодрый и франтоватый, совсем не такой, как под пулями, меж двух волов.

Мы заговорили.

– Пишу о нашем героическом сражении с неисчислимыми толпами врагов, о позорном бегстве Шамиля, – сказал журналист, весело улыбаясь. – Уж и заголовок придумал: «Семиаулье наконец наше!» Это ничего, что читатели ни о каком Семиаулье прежде не слыхивали. Жаркое однако было дело, не правда ль? Я вам рассказывал, как подо мною застрелили коня?

«Не вола?» – хотел переспросить я, но прикусил язык. Графа Нулина мне воистину послало провидение.

Я изложил свою просьбу – он охотно согласился. В пять минут я написал записку и передал ему, причем особенно просил исполнить деликатное поручение, не попавшись на глаза хозяину.

– Уж можете быть покойны, – сказал мне чудесный Лебеда. – Я в высшей степени обладаю двумя этими талантами: попадаться на глаза, когда мне надо, а если необходимо, то быть невидимым. Подождите меня за углом – не ровен час генерал вас увидит из окна.

Не прошло тридцати минут, как мой посланец вернулся, блестяще справившись с поручением: он не только видал Дашу, но и принес от нее ответ.

На листке, наскоро сложенном вчетверо, было всего две строчки: «Какой ужас! Необходимо объясниться. Я навещу вас в крепости!»

Я чуть не прослезился. Это было самым настоящим признанием в любви!

В свою ссылку я поехал счастливым и по дороге бесчисленное количество раз покрывал бумажку поцелуями. Нечего и говорить, что намерение Даши приехать в Занозу я приписал девичьей порывистости – как это дочь командующего поедет навещать бог знает кого через горы, да еще в столь тревожное время?

О, как мало я тогда еще знал Дашу!

По возвращении в свой постылый форт я убедился, что новый хорунжий, сменивший Доната Тимофеевича (тот со своей командой вернулся в родную станицу), служил здесь прежде и знает дело не хуже предшественника. Это дало мне все основания отрешиться от служебных забот, и я погрузился в самоистязательную хандру. Думы о несостоявшемся взлете карьеры и о разлуке с Дарьей Александровной томили меня. Поговорить было не с кем – Никитин со своим кунаком пропадали на охоте.

Вдруг – на третий день моего упадничества – на серноводской дороге показалось облако пыли. Часовой с перепугу ударил в сторожевой колокол. Пристегивая портупею, я взбежал на вал.

Впереди скакал конный, потом ехала коляска парой, сзади рысил десяток казаков. В трубу я узнал в переднем всаднике Мишеля. Сердце мое вострепело. Жадно покрутив колесико, я навел окуляр на экипаж – он был хорошо мне знаком, в нем обычно ездила Даша. Однако кроме кучера в коляске никого не увидел. Что за странность?

Недоумение мое еще более усугубилось, когда адъютант, не слезая с седла и не поприветствовав меня, сурово спросил:

– Где мадемуазель Фигнер? Мне велено тотчас возить ее обратно. А вам, Мангаров, я не завидую.

Выяснилось вот что.

Назавтра после того, как я покинул Серноводск, Дарья Александровна объявила, что едет на несколько дней в Кислосерск принимать ванны. Никаких подозрений это не вызвало. С Дашей в недалний путь поехали ее вечный спутник Трофим и горничная.

Вечером генералу, чувствовавшему усталость после похода, вздумалось последовать за дочерью и тоже пройти курс целебных купаний. Однако в кислосерской гостинице он застал одну служанку. Та от ужаса сначала потеряла дар речи, потом разрыдалась и во всем призналась.

Барышня поехала в форт Заноза – верхом, в сопровождении своего старого унтера, а горничную оставила прикрывать отлучку: девушка должна была говорить всем, что госпожа Фигнер нездорова и не

принимает, либо же поехала кататься.

Зная нрав Александра Фаддеевича, легко вообразить, что тут началось. Служанку он посадил под арест, а за дочкой послал адъютанта с конвоем. Подлого предателя Трофима было приказано схватить и заковать в кандалы.

Я сказал, что заковывать некого и что госпожи Фигнер тоже нет. В правдивости моих слов Мишель сомневаться не мог – у меня было две сотни свидетелей. Тут мы оба сообразили, что Дарья Александровна должна была прибыть в форт еще вчера, и меж нами повисло молчание.

– Боже, Боже... – пролепетал я, чувствуя дурноту.

Адъютант, наоборот, помянул черта и сделался смертельно бледен.

Потом началась беготня.

Я кричал, чтоб казаки седлали коней, чтоб солдатам трубили сбор. Ополонув от тревоги, я собирался вывести весь гарнизон, растянуть его длинной цепью и так прочесать всю дорогу до Серноводска.

От безумного плана меня отговорил Олег Львович. Оказалось, что они с аварцем, будучи в нескольких верстах, услышали звук колокола и поспешили вернуться в крепость. Никитин сказал, что цепь не понадобится. Они с Галбацием произведут поиск много быстрее и действенней.

В путь отправились сразу же. Впереди ехали Олег Львович и его кунак, глядя в разные стороны от дороги. Мы с Мишелем и казаки конвоя следовали, немного поотстав. В детстве я был религиозен, затем совершенно отошел от веры – в кругу, где я стремился стать своим, она была не в моде. Но в этот день я непрестанно и горячо молился: только бы с Дашей всё было хорошо, только бы не случилось то, чего все мы так боялись!

Мы двигались по направлению к Серноводску, пока не зашло солнце. Я думал, что в темноте поиск прервется, но ошибся. Никитин с Галбацием лишь спешили, зажгли факела. Это было для меня облегчением. Целую ночь бездействия я бы не вынес.

Адъютант с казаками, не имевшие отдыха после восьмидесятиверстной скачки в форт, вскоре выбились из сил. Я посоветовал им сделать привал и потом нагнать нас. До самого рассвета мы шли втроем. Мое участие заключалось в том, что я вел в поводу трех лошадей.

Рано утром, когда бо́льшая часть пути была преодолена, Галбаций вдруг встрепенулся и гортанно воскликнул что-то, показывая на прикрытый кустами ручей – он нес свои звонкие воды шагах в двадцати от обочины.

– Что такое? – спросил я Олега Львовича. – Что он говорит?

Никитин, не ответив, пошел туда, куда бросился горец. Я не заметил ничего особенного. Разве что примятый след на траве, будто какое-то время назад по ней проволокли тяжелое. Пожалуй, на земле было многовато отпечатков копыт, но ведь для дороги это естественно?

Мои спутники стояли в ивняке, склонившись над чем-то. Я боялся туда идти. Губы мои зашептали молитву с удесyтеренной страстью.

– Это произошло здесь! – крикнул Олег Львович, показывая на утоптаный кусок земли. – Они прятались в кустах.

– Кто?

Но ответ мне был уже ясен. Отпечатки в большинстве своем были от неподкованных копыт. Я знал, что абреки лошадей не подковывают...

Задыхаясь, я направился к ручью.

Под ногами у моих спутников лежал обнаженный труп. Мужской. По седым усам и грозно сдвинутым бровям я узнал Трофима.

– А где... Где...

Я не мог выговорить имя.

– Мадемуазель Фигнер? Несомненно похищена.

– По... хищена? – всхлипнул я. – А вдруг убита? Вдруг она лежит где-нибудь здесь?

Никитин удивился.

– Зачем абреки станут убивать женщину? Если б она была из простых, они перепродали бы ее работоторговцам. А по Дарье Александровне видно, что она барышня. За нее потребуют выкуп. Они и слугу бы не убили, да он, видно, сопротивлялся.

Я был готов к самому худшему, поэтому немного воспрял духом.

– Вы наверное знаете, что это именно похищение?

Он повернулся к приятелю, который преспокойно поил из ладони своего котенка, и спросил что-то на клеочущем наречии. Галбаций коротко ответил.

– Да. Это абреки. Подстерегли, выскочили, увезли. И мертвого до нитки раздели – тоже ихняя повадка.

– Надо в погоню! – вскричал я.

Они еще потолковали между собой.

– Пустое. Прошло почти двое суток. Отсюда они отправились по ручью, чтоб не оставлять следов. Вверх по течению или вниз, неизвестно.

– Что же делать?!

– Ждать, пока запросят выкуп. Если узнают, что им досталась дочь самого Фигнера, генералу придется изрядно раскошелиться.

Хладнокровие Никитина было мне невыносимо. Но даже в панической

сумятице чувств я понимал: он прав.

Несколько дней, в течение которых никто ничего не знал о местонахождении Дарьи Александровны и не было уверенности в том, что она жива, я провел, как в полусне: не спал, не ел. Я дневал и ночевал в доме Фигнеров. Прежде труднодоступный, представлявшийся чуть не крепостью, от стен которой я отступил, не могши взять их штурмом, теперь этот дом отворил предо мной двери. Мы очень сблизились в эту горькую пору с Александром Фаддеевичем. Грозный и даже жестокий на поле брани, он оказался самым нежным и трепетным отцом. Почувствовав во мне такое же неподдельное отчаяние, генерал не хотел со мною расставаться, а я с ним. Несколько раз, не стесняясь друг друга, мы рыдали, когда рядом никого больше не было. А однажды надтреснутым от слез голосом он сказал: «Вы, кажется, ухаживали за Дашей, и она принимала это благосклонно? Прежде я был недоволен, считал, что вы ей совсем не пара. А теперь – только б она вернулась! Только б вернулась!» Он не договорил. Мы обнялись и завyli дуэтом – известно, как немзыкально и неумело плачут мужчины. Вот сейчас, через много лет, вспомнил ту сцену – и ком в горле. Сильные чувства живучи в памяти...

Никитин тоже остался в Серноводске дожидаться, когда вернется его кунак. Галбаций отправился в горы, у него среди многочисленных и разномастных разбойников Кавказа имелись обширные связи. Я уверял Александра Фаддеевича, что аварец обязательно выйдет на след.

Другим утешителем командующего был майор Честноков. Он, надо дать ему справедливость, в ужасной ситуации оказался очень на месте: распорядителен, деловит, тактичен. «Узнавать, что творится во враждебных пределах – это по моей линии, – сразу сказал жандарм. – За то и получаю жалованье, для того и держу лазутчиков. Положитесь на меня, ваше превосходительство. Честноков вас не подведет».

Относясь к этому человеку неприязненно и помня, как нехорош он был в походе, я, признаться, не верил ни единому слову Ивана Ивановича. И ошибся.

Первое известие о Дашиной участи мы получили именно через него.

Это было на пятый день.

Я спал в кресле генеральской гостиной, повалившись туда от изнеможения, когда меня разбудил сам Александр Фаддеевич. Он был багров от волнения, глаза сверкали.

– Жива! – бодро воскликнул генерал. – Вам говорю первому! Жива – и это главное.

Он немедленно созвал совещание.

Докладывал Иван Иванович. Также присутствовал раз уже виденный мной князь Эмархан. Этот честнокровский агент и вышел на след похитителей.

Сначала майор изложил основное, потом кавказец ответил на многочисленные вопросы. Первый держался величественно, как подобало герою и спасителю; второй говорил коротко и почтительно, поминутно кланяясь и прижимая руки к груди. Вместе они являли собой живописную пару: одутловатый белесый коротышка с размытыми, будто придавленными чертами и чернявый жердяй, весь из резких углов: борода клином, нос клювом, сросшиеся брови двумя углами. Филин с коршуном, думал я, терзаясь завистью, что Александр Фаддеевич узнаёт о Даше не через меня. Но это мелкое чувство присутствовало не более чем фоном. Куда сильнее было облегчение.

Эмархан через каких-то своих знакомцев на той стороне выяснил, что дочь «сардара» (так горцы называли командующего) угодила в засаду канлийцев или, по-другому, канлыройцев. Это маленькое и дикое сообщество, обитающее в глухих горах. Слава у канлийцев самая дурная. Они не выращивают зерна, ничего не производят на продажу; единственный их промысел – набеги и торговля людьми. Само их наименование происходит от слова «канлы», то есть «кровник». Когда-то это разбойничье гнездо было основано разноплеменными беглецами, скрывавшимися от кровной мести. Они выбрали для проживания самое труднодоступное место, откуда их невозможно выкурить. Это грозные воины, не признающие никаких законов кроме своих обычаев. Говорят они на собственном языке, представляющем смесь всех горских наречий. Их аул называется Канлырой, «Дом кровников», потому что всякий изгой, преследуемый врагами, находит там пристанище – лишь бы был храбр, силен и послушен главарю. Нынешнего предводителя канлыройцев звать Рауф-беком, он самолично командовал партией, устроившей засаду на дороге из Серноводска в Занозу.

Совещание было бурным. Говорили без старшинства, поэтому первым влез я. По моему мнению, тут нечего было и думать: немедля идти всею доступной силой и потребовать от разбойников выдать Дарью Александровну под угрозой поголовного их истребления.

На это чернобородый Эмархан, поклонившись и испросив позволения у «сардара», ответил, что, во-первых, аул совершенно неприступен и отсиживаться в нем канлийцы могут хоть до скончания века, а, во-вторых, угрожать им нельзя – они лишь оскорбятся и пришлют нам отрезанную голову «сардар-бике». Последнего слова я не знал, но поняв, о ком речь,

побледнел и умолк.

В итоге было решено отправить в Канлырой гонца – спросить о выкупе. Эмархан предложил своего нукера Резу, в котором был уверен как в самом себе. Ручался за него и Честноков.

Вызвали нукера. Я узнал в нем женоподобного толстяка, что шикал на меня в гостиничном коридоре. По-русски Реза понимал, но, кажется, не говорил. Он не произнес ни единого слова, только всё поглядывал желтыми глазками на своего господина и кланялся. Генерал посулил посланцу награду и приказал не жалеть коня.

Всё это было крайне тревожно, но по крайней мере появилась надежда.

Вернулся Реза скоро, спустя всего четыре дня, но они мне воистину показались вечностью. Тем более что Александр Фаддеевич больше не рыдал у меня на груди и вообще словно бы утратил ко мне интерес. Его как отца можно было понять – надежды на спасение дочери теперь связывались у него с Иваном Ивановичем. Однако я свое отстранение от забот по спасенью Дарьи Александровны переносил болезненно.

Не тотчас же, а лишь благодаря Мишелю узнал я об условиях выкупа. Они были ужасны. Рауфбек Канлыройский, видно, откуда-то прознал, что за добыча попала ему в руки, и требовал, во-первых, возместить вес пленницы золотой монетой; во-вторых, отпустить всех аманатов (то есть сыновей горских князей, взятых нашими властями в залог верности); в-третьих, скрыть укрепления, построенные нами в последние десять лет.

Требования эти были фантастичны и совершенно невыполнимы.

По поводу первого условия дома у Фигнера состоялся совет, в иных обстоятельствах, вероятно, показавшийся бы комичным. Предстояло вычислить, сколько весит Дарья Александровна. В качестве экспертов были призваны все, кто, так сказать, имел хоть какой-то доступ к ее телу: выпущенная из-под ареста горничная; кучер, переносивший барышню на руках из коляски через лужи; пользовавший ее доктор; две банщицы из ванн – и, наконец, я, что выглядело довольно двусмысленно, но всем было не до того. Впрочем, я принес свою пользу, потому что неоднократно (замечу, с сердцебиением и пересыханием во рту) помогал Даше спускаться с седла. Руководил всеми нами сам генерал.

Сначала мы установили рост бедняжки (это было просто – мне до середины уха, то есть два аршина и четыре вершка); потом, после долгих споров, – примерный ее вес (три пуда или сто двадцать фунтов). Перевели в число монет из расчета 64 полуимпериала на фунт – вышло 7680 монет или 38400 рублей золотом. Генерал схватился за голову – таких денег у него не

было, разве что если просить в долг у евреев или армян под большие проценты.

Это бы еще ладно. Чтоб выпустить заложников, требовалось соизволение государя, а на получение ответа из столицы уйдет по меньшей мере месяц, в продолжение которого Даше придется томиться в плену у дикарей.

И если на милостивое решение этого вопроса еще можно было надеяться, то уж о снесении укреплений Фигнер, конечно, не посмел бы и просить. Это означало перечеркнуть усилия последнего десятилетия – отдать все завоевания, доставшиеся огромной кровью и миллионными затратами.

Мы впали в отчаяние, но Эмархан внес некоторое успокоение, сказав, что с людьми вроде Рауф-бека, в отличие от фанатиков-мюридов, договориться всегда можно: для разбойника главное – деньги. Значит, он променяет третье условие (а может, и второе) на увеличение суммы выкупа. Эмархан утешил отца еще и тем, что с «сардар-бике» в плену будут обращаться хорошо, – ради этого князь уже дал Рауф-беку из своих средств задаток в пять тысяч рублей. Вернуть эти деньги он попросит лишь в случае, если его посредничество завершится успехом – то есть, после того, как он доставит в Серноводск освобожденную пленницу.

Благородный поступок горского князя вызвал в обществе восхищение, и он вдруг сделался заметной фигурой. Скептики говорили, что Эмархан в любом случае не прогадает – и деньги свои вернет, и Фигнера, будущего главнокомандующего, сделает своим нравственным должником.

Я почти ненавидел дашиного радетеля – более всего за то, что спасет ее он, а не я.

Бездействие и в особенности перспектива месячного ожидания сводили меня с ума. Я воображал ужасные картины лишений и глумлений, которым, возможно, подвергается моя возлюбленная в эту самую минуту, – и чувствовал, что не усажу в городе.

В конце концов мне пришлось на ум обратиться к Никитину. Ломая руки, с дрожанием в голосе, пересказал я ему свои мучительные думы.

– Что делать? Скажите, что делать? – воскликнул я в финале своей слезницы. – Вы человек бывалый, что вы об этом думаете?

Ответ был прост:

– Тут и думать нечего. Нужно нам отправиться в Канлырой и освободить Дарью Александровну. Без войск, без пушек – самим. Девушка она впечатлительная, тонкого воспитания. Каждый лишний день неволи среди разбойников, верно, стоит ей года жизни.

– Да как же мы это сделаем?

– Я давно жду, что вы заведете об этом разговор. Кое-какие соображения имеются.

Олег Львович рассказал, что его кунак подтверждает сведения Эмархана: мадемуазель Фигнер действительно захвачена Рауф-беком. Галбаций хорошо знает те места – лет пятнадцать назад он сам несколько времени скрывался у канлыройцев и даже может объясняться на их языке. Правда то, что аул неприступен. Он со всех сторон окружен отвесными скалами, единственный проход крепко охраняется. В прошлые годы в Канлырой, преследуя кровников, пытались прорваться и адыги, и чеченцы, и даже лихие аварцы, притом значительными силами, но мало кто вернулся живым.

– Какие ж тут могут быть «соображения»? – уныло спросил я. – Что мы вдвоем сможем сделать, если и значительные силы настоящих джигитов ничего не достигли?

– Во-первых, у нас иная цель. Нам не нужно захватывать укрепленный аул – лишь освободить пленницу. Во-вторых, нас будет не двое, а трое. Представьте себе, мой Галбаций за что-то привязался к Дарье Александровне. Он сам вызвался помогать, коли мы возьмемся за это дело.

Разговор происходил на квартире у Иноземцова в присутствии капитана и доктора.

– Не трое вас будет, а пятеро! – вскричал Прохор Антонович и воинственно потряс кулаком. – Не правда ль, Платон Платонович?

Иноземцов молча кивнул и выпустил струйку синеватого дыма.

У меня от растроганности защипало глаза. Вот что такое настоящая дружба! Притом ведь им обоим друг не я, они делают это ради Олега Львовича!

Никитин, однако, совсем не расчувствовался. Брать с собой ни доктора, ни капитана он не хотел. Кюхенхельферу было сказано, что он плохо сидит в седле, через два часа езды натрет себе седалище и окажется всем в обузу. А моряку Олег Львович заявил:

– В горах от вас проку будет не больше, чем от меня в парусном бою. Признайтесь, я ведь вам на мостике только мешал бы?

– Вероятно.

– Ну так и вы лишь будете путаться под ногами. Вместо дела нам придется смотреть, чтоб вы не свалились в пропасть и не оставили лишних следов. Учтите к тому же, что на обратном пути возможна погоня. Лучше поступим вот как. Вы с доктором проводите нас в коляске до последнего мирного селения, куда доведена дорога, и останетесь там ждать.

Неизвестно, в каком виде доставим мы девушку и каковы будем сами. Может понадобится помощь, в том числе и врачебная.

На этом спор окончился. Сразу же – с момента моего прихода миновало не больше четверти часа – начались приготовления.

Первое и самое главное было выбрать подходящих лошадей. Галбаций с Олегом Львовичем обсудили этот насущный вопрос. Черкесские кони неутомимы, могут в сутки проделать путь в двести верст. Кабардинские идеальны для гор – никогда не оступятся. Трамбовские непревзойденны по скаковым качествам – на случай, если за нами будут гнаться. Но самая лучшая порода – шалохская, совмещающая в себе все эти достоинства и к тому же очень быстро привыкающая к новому хозяину. Эти лошади дороги, но деньги у меня были – я предложил их все без остатка и пообещал занять еще, сколько понадобится. Однако Галбаций у меня ничего не взял, а Никитин запретил настаивать.

– Он говорит, что утром лошади будут, а прочее нас не касается. Вероятно, он возьмет их взаимозаменяемо у кого-нибудь из своих приятелей-разбойников. Не суйтесь вы с вашими ассигнациями, только обидите.

Полночи мы заготавливали всё необходимое для похода, укладывая припасы в переметные сумки из ковровой ткани. С мундиром пришлось расстаться – меня переодели по-горски, что оказалось и много удобней, и красивей. Замечу, что впредь, до самого своего отъезда с Кавказа, я уже не оригинальничал и ходил, как все, то есть в черкеске. Оказалось, что люди не дураки – при тамошних природных условиях оно удобней. Правда, в горах, перед самым прибытием в Канлырой, Никитин велел мне снова переодеться, но о том речь впереди.

Мне хочется задержаться в этой точке своей жизни – или, если употребить никитинское выражение, «зигзага». Канун достопамятной поездки в Канлырой представляется мне рубежом, за которым осталась моя юность с ее петушьей заносчивостью, наивным прагматизмом и неясностью нравственных очертаний. Конечно, я и позднее совершал глупые, смешные и недостойные поступки, но они были уже эпизодами, а не общим фоном моей жизни. Она вышла не триумфом и не праздником, как мечталось мне в 23 года; злоключений в ней было больше, чем приключений, а неудач больше, чем побед. Не верю людям, которые, оглядываясь на прожитые годы, гордо восклицают: «Ни о чем не жалею и ничего не стал бы исправлять!» Я и жалею, и исправил бы – да где уж?

Вот закрываю глаза, вижу: молодой ферт, картинно подбоченясь, любуется на себя в зеркало. И так повернется, и этак. Ему нравится, как ловко сидит на нем горский наряд, как сверкают серебряные газыри, как

блестит кинжал и изгибается шашка. Он воображает, что мчится на коне, прижимая к себе спасенную пленницу. Сзади черная ночь, впереди пылающий восход, откуда навстречу всаднику сочатся золотые лучи.

Увы. Если что-то из этого и свершится, то совсем иначе, чем представляется дурачку.

Сделаю еще одно отступление, прежде чем перейти к следующей главе.

Так вышло, что мой отъезд в горы, помимо прочего, стал еще и прощаньем с кругом «блестящих», так много значившим для меня в пору первой молодости. «Брийянты» готовились возвращаться в столицу, и больше я ни с кем из них на Кавказе не видался, за исключением журналиста Лебеды, но и с тем мы не более чем раскланивались издали.

Базиль Стольников и его свита навсегда ушли из моей жизни – и, как говорят британцы, *good riddance*.^[15] Не вернутся они и в мое повествование, однако, раз уж я отвел им некоторое место, расскажу, какая судьба ожидала каждого.

Тина Самборская вскоре после кавказской прогулки вышла замуж – да не за Стольникова, а за Кискиса Бельского. Когда эта новость до меня дошла, я удивился: как можно было ввериться шуту после того, как была фавориткой короля? Но потом я понял, что Тина поступила и логично, и дальновидно. Любовник – одно, супруг – другое; от двух этих мужских разновидностей требуются совершенно различные достоинства. Княгиня Бельская весело прожила молодость, сумев благодаря ухищрениям французской косметики растянуть ее чуть не до пятидесяти лет. Она не обременяла себя верностью, которой не требовала и от мужа, однако никогда не покидала рамок внешней благопристойности, а, выйдя из возраста женской привлекательности и овдовев, заделалась матроной строгих правил и хозяйкой нравственно-религиозного салона (в 80-е годы он был замечен и политически влиятелен).

О Кискисе рассказывать почти нечего. Он всю жизнь так и прожил балованным, капризным ребенком. Скончался шестидесяти лет, от сердечного приступа, в парижском непотребном доме, где отплясывал с девицами канкан. Вот уж воистину «жил смешно и умер грешно».

Мсье Лебеда до конца своих дней сохранил талант отлично приспособливаться к переменчивой эпохе. Николаевскую он закончил в должности цензора, во времена реформ сделался издателем чрезвычайно либерального журнала, который при Александре Третьем как-то внезапно поменял направление. Графу Нулину удалось всё: он стал богат, весом и на склоне лет даже утратил свою вечную искательность – верней, оставил ее

лишь для тех немногих, кто был выше его положением. А впрочем, я не общался с сим столпом официальной журналистики в период его могущества, поэтому сужу по отзывам.

Напоследок – о Стольникове, который несомненно был самой яркой звездой эпохи, на которую пришлось моя юность; его воистину следовало бы назвать героем того безвоздушного времени. Человек незаурядный, от которого по его способностям следовало ожидать многого, он ничего не сделал, ничего не достиг, не оставил никакого следа. Его постигла участь всякого остромодного феномена – в конце концов он вышел из моды.

Через много лет я случайно встретился с Базилем, и мы заговорили, будто расстались вчера. Это было после эмансипации шестьдесят первого года, окончательно расстроившей его состояние, которое и так было подорвано долгой беспечной жизнью. Стольников, однако, нисколько не переменялся. Манеры, речь, обаяние остались точь-в-точь такими же, из чего можно сделать вывод, что в тридцатые и сороковые не он подстраивался под моду, а она следовала складу его личности. Из нашей беседы мне в память врезался один поворот.

В своем прежнем тоне, предписывавшем изъясняться небрежно и позевывая обо всем кроме сущих пустяков, Базиль – уж не помню, в какой связи – повел речь о смерти.

– Видишь ли, Грегуар, – назвал он меня прежним прозванием, которое я успел позабыть, – я пришел к выводу, что наша жизнь и наша смерть – это не особенно важно.

– Как это? Ты и свою смерть тоже будешь считать не особенной важностью? – спросил я, подумав, как мало соответствуют его ленивый французский и блаженная мина бодрому настроению новой эпохи. Когда-то Стольников назвал Олега Львовича морской рыбиной, по ошибке заплывшей в пресную воду. Теперь акватория сызнава посолонела, настал черед Базилю выгладеть пескарем, которого вынесло в океан.

Он ответил, подавив зевок:

– До определенной степени она, конечно, важна как частный факт моей биографии, но – не очень. Посмотри, сколько вокруг происходит самых разнообразных смертей. – Неожиданно ловким движением он прихлопнул комара и продемонстрировал мне его расплющенный трупик. – Точно так же в эту самую минуту кто-то попадает под колеса, издыхает в канаве или на больничной койке, кто-то кряхтит, плачет, лепечет последнее «прости» – и превращается, как говорится, в *chladni troupek*. Чаще всего эта метаморфоза происходит вследствие нелепых, абсолютно случайных обстоятельств. Разве не очевидно, что для Господа Бога все эти казусы –

совершенно незначительная ерунда? Из сего я делаю вывод, что Господа Бога в христианском либо мусульманском толковании не существует вовсе. Раз человек глупо живет и бессмысленно погибает, возможно одно из двух. Либо правы индусы, и моя жизнь не более чем маленькая ступенька на длинной лестнице перерождений – а что за цена у маленькой ступеньки и стоит ли горевать, ежели она подошла к краю? Либо же моя жизнь – одномоментная искорка, зачем-то вспыхнувшая в бездушной и безмозглой тьме Небытия. Тогда цена моему существованию и его прекращению подавно – *mednaya polouchka*.

Его вялые философствования вызывали во мне все большее раздражение. «Как мог я когда-то желать быть похожим на этого человека?» – спрашивал себя я.

– Отчего ж ты тогда живешь? Почему сам не загасишь эту глупую искру?

– От равнодушия, друг мой. Делать усилие, чтобы гасить искру, означало бы признать за ней хоть какую-то важность.

Вот как разговаривали во времена моей юности люди, слывшие интересными. Самое удивительное, что – я уверен – Стольников нисколько не рисовался, он был в ту минуту искренен и, возможно, даже излагал свое *sredo*. Эта внутренняя убежденность в неважности всего и вся, как я теперь полагаю, и придавала личности Базиля тот магнетизм, ту притягательность, которую мы все когда-то чувствовали. Не напускной, а подлинный индифферентизм – качество редкое и неизменно интригующее.

Вскоре после нашей последней встречи я услышал, что Стольников умер. Его вид во время беседы, болезненный блеск в глазах показались мне странны. Я не удивился, когда мне сказали, что он отравился чрезмерной дозой опиума – уж не знаю, намеренно или по случайности. Согласно Базилю, невелика важность.

Ах, мои кичливые, оригинальничающие, никчемные сверстники, пустоцветные дети пустоцветного времени! Вы все уже ушли. Скоро уйду и я, о чем думаю не только без страха, но даже с приятностью, как думает о вечерней прохладе истомленный долгим и знойным путем странник. Если я и извлек из своего длинного существования какой-то урок, то сводится он к одному. Насчет того, что жизнь – штука не слишком важная, Стольников ошибался. Прав Никитин, считавший жизнь зигзагообразной тропой к вершине.

Ну, а важная ли штука смерть, скоро посмотрим.

Зара

И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.

А.С. Пушкин,
«Кавказский пленник»

В то утро Зара, как обычно, сидела на самом краешке. Порисует белым по черному, помечтает, просто поглядит вдаль, болтая ногами. Мир был устроен так: со всех сторон горы, посередине – Кольцо, на его кромке Зара. Она знала, что мала, Кольцо велико, а окружающий простор огромен, но когда смотрела вот так сверху, выходило наоборот. Надо всем и всеми она, будто владычица неба и земли, под ней – Кольцо, большое, но не очень, а внизу и по сторонам совсем крошечные горки-горочки, щелья-ущелья, дольки-долинки. Наверху было хорошо. Нана как-то рассказывала, что есть люди, которые коченеют от ужаса, если видят под собою обрыв или пропасть. Живут эти чудаки на краю света, где горы разглаживаются, чтобы скатиться в Бездну. Должно быть, от этого тамошние обитатели и боятся высоты. Как это можно ее бояться? Зара смотрела вниз и пробовала себе представить, что боится упасть. Не получалось. Все равно что идти по улице и все время думать: «Вэй, сейчас споткнусь, упаду и разобью голову о камень». Бывает, конечно, и такое – особенно если кто много бузы выпьет, но чего бояться-то?

Зара нарисовала на скале аталыка: как он вернулся после удачной охоты, выпил много-много бузы и, шатаясь, идет через двор. Получилось ничего так, особенно выпученные глаза. Назифе бы понравилось.

С тех пор, как Зара стала сидеть на вершине Кольца одна и нашла залежь белых крошащихся камешков, она ими все вокруг разрисовала. Как солнце заходит над горами. Как султан сидит в гареме среди красавиц. Как Назифа танцует с ангелами. Как аталык охотится на чужих.

Она хотела украсить и стену дома, однако нана не позволила. Сморщилась, заткнула уши руками, стала повторять: «Не скрежещи, во имя Аллаха не скрежещи! Какой звук противный!» Не хотите – не надо. Живите в доме со скучными серыми стенами.

Мелок сломался в Зариных пальцах. Она рассердилась, швырнула его о скалу, и он бесшумно разлетелся на осколки. На черном осталась точка, похожая на фасолину. Заинтересовавшись, Зара пальцем превратила фасолину в жука. Подобрала белый кусочек, пририсовала внизу цветок, под цветком землю, под землей лежащую девочку. Скрежещет, скрежещет – как это «скрежещет»? Она уже не помнила.

Рисунок переполз со скалы на каменную плиту – сверху оказалось маловато места, чтобы нарисовать весь подземный мир: там ведь тоже есть реки, перевернутые вверх тормашками горы, всякие злые и добрые звери. Теперь Зара стояла на четвереньках. Из-под чухты свешивались тонко заплетенные косички, а серебряная бахрома шапочки щекотала щеки. Это бы ладно, но очень уж давил пша, кожаный корсет на талии – джангызским девочкам его надевают, когда сравняется двенадцать лет. Зара к нему еще не притерпелась.

Джангыз, «Кольцо» – так племя аталыка называло свой аул, потому что он находился в круглой впадине, со всех сторон окруженной отвесными скалами (они-то и были Кольцом). Чужие нарекли селение Канлырой, «Дом кровников», но прозвание это обидное, свои его никогда не употребляли. Это когда Зара была совсем маленькая, атаи диде говорили «Канлырой», «канлыройцы», а когда она сама стала тут жить, то сделалась не канлыройка, а джангызка. На время – пока не вырастет большая и не вернется к родителям. Но это еще надо подумать, возвращаться ли?

При мысли о возвращении и шестипалом Аль-Латыфе она нахмурилась, бросила мелок, стала смотреть вниз, на дорогу, по которой однажды приедут ее отсюда забирать.

Но сразу забыла об этом. На дороге было интересно. По ней в сторону Ворот ехали всадники. Глаза у Зары были, как у орлицы. Конные были еще очень далеко, только выезжали из дальнего ущелья, а она уже видела, что их трое и одна лошадь в поводу. Дозорные пока ничего не заметили – сверху было видно, как они сидят на вышке и кидают на доске свои костяшки (скучная, тупая игра).

Вытерев нос рукавом бешмета, Зара стала быстро и ловко спускаться по внешнему обрыву. Никто другой не смог бы, а она знала каждый выступ, каждую выемку. Иногда из-под ее ноги в узком сафьяновом сапожке сыпались камни. Но часовые не поднимали голов, хотя наверняка слышали звук. В скалах всегда что-то сыплется. И потом, где им заметить Зару? Прильнет к камням – и нет ее.

Заметили они ее, только когда она уже спустилась и села на корточки у частокола. Стала ждать, когда подъедут всадники.

– Э, гляди, – сказал криворотый щекастый Масхуд (Зара смотрела, как шевелятся его красные губы). – Как она прошла через ворота? Я не видал. Чудная она. Тихая, как ящерица.

Вторым дозорным был Олагай, сын кузнеца. Он, наверное, что-то ответил, потому что Масхуд сказал:

– Сейчас.

И замахал Заре рукой: уходи, иди назад в ворота, здесь нельзя! Одну руку к груди прижимает, а другой машет. И улыбается. Потому что она не просто девочка, а приемная дочь самого Рауф-бека.

Ни один человек не знал, что она может выбираться из аула через Кольцо. Никто в Джангызе не умел этого, только Зара.

Все остальные проходили и проезжали через узкий проход, стиснутый двумя крутыми откосами. Он назывался Дорога Костей. Потому что когда-то враги пытались пробиться снаружи, чтобы уничтожить всех-превсех, но не тут-то было. На этот случай наверху, в нескольких местах, приготовлены груды камней. Снизу нажать рычаг – будет обвал. Врагов и завалило, а кто жив остался – бежал без оглядки. Мертвецов потом доставать не стали. Насыпали поверх щебня. Так скелеты внизу и лежат. Поэтому – Дорога Костей.

– Едут! – сказала Зара Масхуду, чтоб он про нее забыл и перестал прогонять.

Криворотый стал смотреть вдаль. Сначала ничего не видел, потом разглядел-таки. Ударил билом о кусок железа, три раза. Это чтоб в ауле услышали: кто-то едет.

– Никак Рауф-бек вернулся? Не рано ли? – сказал он.

Зара, подняв голову, смотрела, что они говорят. Теперь им с вышки было видней, чем ей снизу.

Олагай ответил:

– Нет, этих только трое. И кони у них – шалохи.

Потом еще что-то, но прикрыл лицо рукавом, и она не разобрала.

Масхуд не забыл про Зару. Прижал ладонь к груди: поблагодарил, что предупредила. И больше не прогонял.

Ну то-то же. Он никто, простой нукер, а она – дочь князя и воспитанница Рауф-бека.

Рауф-бек был ее аталык. Как принято у больших и важных людей, Зару с малолетства отдали на воспитание в другой род. Этот обычай, существующий со времен пророка Мухаммеда, который тоже рос у чужих людей, очень мудрый, потому что помогает народам дружить между собой. У князя, отца Зары, жил младший сын Рауф-бека, а ее отдали в Джангыз-

Канлырой. Давно это было. Свою родину Зара почти не помнила. Родного отца тоже. Ата был большой, краснобородый, пах кислым и пряным. Диде, родная мать, навещала ее раз в год, поэтому ее-то Зара помнила, но не сказать, чтоб любила. Как можно любить того, кого видишь раз в год?

Любила она нану, свою приемную мать. И немножко Рауф-бека, потому что он всегда с охоты привозил интересные подарки.

А диде подарков не привозила, не ласкала. Погладит один раз жесткой ладонью по щеке и начинает оглядывать, ощупывать, да проверяет, многому ли Зара за год научилась: какому рукоделью, какой хозяйственной пользе. И разговоры всегда про одно. Как важно, чтоб Зару в Канлырое любили, потому что хоть все они тут и разбойники, но ата очень нуждается в поддержке Рауф-бека.

Последний раз диде приезжала прошлой осенью, когда Заре исполнилось двенадцать и ее затащили в пша.

– Ходить в корсете тяжело, снимет его с тебя только муж, после свадьбы, – говорила диде. – Но терпеть тебе недолго. Как только твоя нана сообщит нам, что у тебя начались женские обычности, мы заберем тебя домой и выдадим замуж. Отцу нужно замирился с зеранчхоевским князем. Твой жених – его старший сын Аль-Латыф Шестипалый. Мальчик рябоват и у него вправду шесть пальцев, но зато в союзе с канлыройцами и зеранчхоевцами нашему дому будет ничто не страшно.

Она долго про это объясняла, и Зара послушно кивала, но за рябогошестипалого выходить ей не хотелось. Она хотела вместе с Назифой попасть в гарем, где они стали бы самыми любимыми женами у паши, везиря или самого султана.

Говорить об этом с матерью, конечно, было нельзя. Тем более, диде тогда же строго-настрого запретила ей водиться с Назифой. Кто-то, видно, наябедничал.

Назифа была единственная подружка, рабыня с золотыми волосами, на год старше. Ее Рауф-бек привез с охоты совсем маленькой, еще раньше, чем сюда попала Зара.

У джангызцев такой промысел. Они уезжают далеко-далеко, подальше от здешних гор, чтоб не ссориться с соседями, и охотятся на чужих людей. Потом Рауф-бек или возвращает их за выкуп, или отвозит к морю и продает турецким купцам. Если охотники добывают детей, их сначала выращивают, а продают уже потом. Вырастить ребенка дешево, а дают за юношу или девушку в пять раз больше, чем за мальчика или девочку.

Назифу привезли из гяурского аула. Про прежнюю жизнь она ничего не помнила, только свое старое имя – Надия. Сначала ее, как других

маленьких рабов, использовали на всякой домашней работе, но однажды Рауф-бек присмотрелся к девочке и сказал, что она обещает вырасти красавицей, а золотые волосы у турок в цене. Пусть больше не доит коз и не сучит шерсть, чтобы не испортить рук. Когда ей сравняется четырнадцать, он выручит за нее две или даже три тысячи серебряных монет. С того дня Назифа жила вольно.

Она была веселая, смелая и все время что-то выдумывала, с нею Зара никогда не скучала.

Сколько всего интересного они делали вдвоем! Не было случая, чтоб в Джангызе случилось что-нибудь особенное, а Назифа об этом не знала.

Они подслушивали под окном у Дадуха Хромого в ту самую ночь, когда он женился на Гашнаг, а она оказалась нечистой. Собственными глазами они видели, как Дадух высунулся из окна, весь в слезах, и выпалил в небо из ружья. Пусть все знают, что Гашнаг – беспутница! А как Гашнаг плакала! Ее потом посадили на осла и отправили из Джангыза куда глаза глядят.

Еще они подглядывали, как Нахо, жена седельщика, стоя на четвереньках, выдавливает из себя красного, сморщенного младенца. Похоже на то, как рожают кобылицы или коровы, но не совсем.

И как возле кладбища наказывали прелюбодеев, они тоже видели лучше всех, потому что Назифа придумала заранее спрятаться на дереве. Прелюбодеея Джумала посадили связанного в одну яму, прелюбодееку Нурет – в другую. И стали кидать камнями: в мужчину – мужчины, в женщину – женщины. Джумалу-то хорошо, с первого же броска голову проломили, а женские руки слабые. Нурет долго кричала.

Еще Назифа научила Зару карабкаться на верхушку Кольца, чтобы оттуда смотреть на мир.

Они по целым дням там просиживали. Назифа рассказывала смешные или страшные сказки, Зара слушала и старалась всё это нарисовать.

Самая любимая ее сказка была про заколдованного султана. Что жил в главном городе земли Истамбуле султан. Все его боялись, потому что он был страшнее чудовища и свиреп душой. А всё потому, что злая колдунья заморозила его сердце и оно усохло, как мертвый цветок. Но однажды в гарем к султану привезли красавицу, которая умела вызывать ангела. Попросила она ангела расколдовать султана. Ангел проник султану за пазуху, дунул на сердце своим небесным дыханием – и мертвый цветок распустился. После этого султан стал самым великодушным из владык, а наложницу сделал своей любимой супругой.

Не передать, до чего Зара завидовала своей подружке. Воистину

несправедлива судьба! Кого-то продадут в гарем к султану, а кто-то, значит, станет женой шестипалого? Иногда они думали, как бы им убежать через горы к морю, куда приплывают турецкие корабли за юными рабынями. Но убежать было нельзя, Кольцо бы их не выпустило. Зара тогда еще не знала, что на внешней стене есть спуск.

Как же Зара могла перестать водиться с Назифой? Ну, матери она, конечно, это пообещала, не будешь ведь препираться с диде – строптивых детей в аду ядовитые змеи за язык кусают. Но про себя решила, что просто впредь будет осторожной.

Только видеться они все равно почти перестали. Всё из-за того, что Рауф-бек передумал продавать Назифу. Он смотрел на нее, смотрел и вдруг объявил, что она будет ему младшей женой – потому что Дарихан умерла и ее дом стоит пустой.

Когда Назифу еще не заперли на женской половине, чтобы готовить в невесты, она сказала: «Не бывать этому! Не хочу всю жизнь лепить навоз на стены и на четвереньках рожать Рауф-беку детей. Убегу! Я буду султаншей!»

«Да как ты убежишь? Кто тебя выпустит через Ворота?»

«Через Кольцо уйду. Найду спуск».

И однажды ночью она исчезла. Зара проснулась, увидела у своего изголовья красную ленту с пришитыми серебряными монетками, единственное сокровище Назифы, и заплакала. Поняла, что это подруга ей на память оставила, а сама ушла в большой мир.

Но она ушла недалеко. Ее нашли на камнях, по ту сторону Кольца. Рядом валялся узелок, там лепешки, сыр, запасные чуваки. Видно, хотела спуститься и сорвалась.

И стали Назифу хоронить, как полагается по обычаю. Запихнули в рот, глаза и уши вату, чтобы не вырвались злые духи, замутившие покойнице душу. Вечером понесли хоронить. Зара шла с женщинами, отдельной дорогой. Пока не достигли кладбища, где мужчины уже вырыли могилу, женщины говорили обо всяком разном, некоторые даже хихикали – ведь умершая никому из них не была родственницей. Но когда показалась разрытая в земле дыра, все разом зарыдали, стали причитать, бить себя кулаками в грудь. Нана, у которой Назифа должна была стать младшей товаркой, завела похоронную песнь и немножко поцарапала себе лицо.

Зара одна не плакала, не причитала. Она уже знала, что будет делать. Ей приходилось бывать на похоронах раньше. Там ведь как? Сначала мертвое тело опускают в могилу и накрывают дубовой доской, с наклоном от головы к ногам. Потом засыпают землей. Все немножко помолются – и

скорей отходят подальше, остается один мулла. Его дело – прочесть особую погребальную молитву и трижды полить из кувшина на могилу водой. После этого мулла тоже отбегает. Всем известно: как только вода просочится сквозь землю и достигнет покойника, он немедленно оживет и станет звать: «Почему я один? Зачем вы все меня бросили?» И всякий, кто услышит этот голос, навсегда оглохнет.

И вот мулла, подобрав полы своего белого траурного одеяния, засеменял от свежего холмика прочь. Тогда Зара кинулась вперед, упала на могилу и прижалась к ней щекой.

Ей стали кричать: «Назад! Назад! С ума сошла! Оглохнешь!». Аталык бежал к Заре, выдергивая из бурки клочки шерсти и запихивая их себе в уши. Еще чуть-чуть – и утащил бы. Но все же Зара не пропустила миг, когда из-под земли донесся жалобный зов Назифы. И успела крикнуть: «Я здесь! Я с тобой! Не бойся! Я тебя не бросила!». Услышала и ответ: «Я за тобой вернусь. Только ты меня узнай!»

Потом Рауф-бек схватил Зару своими сильными руками, перекинул через плечо, что-то звонко лопнуло – и звуки навсегда исчезли.

Уже больше полугода Зара жила в тихом, безмолвном мире. Сначала это было странно, потом она привыкла. Ни разу не пожалела она о том, что прижалась ухом к могиле. Зато Назифе было нестрашно переходить в царство смерти. Пускай она забрала звуки с собой. Быть может, это единственное, что у нее под землей есть.

А у Зары остались глаза. Они больше не отвлекались на шум, поэтому научились видеть далеко и зорко.

Сначала, правда, было трудно, потому что она перестала понимать людей. Но со временем глаза обучились слышать сказанное по губам. Зара никому об этом говорить не стала. Когда люди считают, что ты глухая, они рассказывают при тебе множество интересных вещей.

Недавно, ласково улыбаясь своей воспитаннице, Рауф-бек сказал:

– Что будем делать, жена? Через три месяца придет ее мать. Узнает, что девочка оглохла. Узнает, как это произошло. Я буду виноват, что не уследил. Кому нужна глухая дочь? Такую зеранчхоевский князь в невестки не возьмет. Придется мне платить за недосмотр большую пеню. Десять тысяч рублей или больше. Возьмут ли еще? Не знаю. Простят ли? Не знаю. Как быть?

Аталык всегда советовался о важном с женой, потому что она мудрая.

Нана тоже улыбнулась Заре.

– К чему ты ведешь? Говори.

– Если она заболит и умрет, мы будем не виноваты – на то воля

Аллаха.

– Девочка, слава Всевышнему, здорова, – ответила нана и стала смотреть на мужа.

– Можно насыпать ей в молоко тертой травы хаффар. От нее лихорадка, как от сильной простуды. Девочка два или три дня поболит, потом умрет. Никто не догадается. Так будет дешевле и безопаснее. Мы потратимся только на пышные похороны. Ты разорвешь на себе платье и раздерешь себе лицо. Я посыплю голову пылью.

Все так же спокойно улыбаясь приемной дочери, нана сказала:

– Если девочка вдруг заболит и умрет, я ночью вырежу твое черное сердце и брошу его нечистым собакам. Запомни это, Рауф-бек.

Аталык обнажил свои белые, острые зубы, расхохотался:

– Я пошутил, женщина. А ты поверила.

Потом поманил Зару и дал ей турецкий лукум, каким ее лакомили только по праздникам.

Совсем не испугалась она того разговора. Наоборот, обрадовалась. Если аталык ее отравит, не придется ждать неизвестно сколько, пока Назифа исполнит свое обещание. Известно, как тяжело усопшим душам дается обратная дорога в этот мир. А так Зара сама зайвится к своей подруге.

Сиживая над обрывом в одиночестве, она уж подумывала, не спрыгнуть ли ей вниз. Но не стала, потому что это харам. Лишать себя жизни правоверным можно только в одном случае: чтоб не попасть к врагам в плен. А кто своевольно себя убил, тому гореть в аду. Там с Назифой не встретишься. Была другая мысль: не нарочно сорваться, а почестному – как Назифа. Аллаха ведь не обманешь. Полезла она вниз по обрыву. Думала – убьется, а вместо этого обнаружила, что со скалы, оказывается, можно спуститься. Не вышло у нее умереть, как Назифа.

Тогда Зара стала как можно чаще попадаться на глаза аталыку, чтоб своим видом все время напоминать ему: осенью приедет диде. Когда Рауф-бек уезжал на охоту или по делам, она нетерпеливо его ждала. Поэтому и заторопилась вниз, завидев всадников. Вдруг это он?

Но Олагай оказался прав. Всадники были чужие.

Впереди ехал хмурый джигит, по лицу судить – аварец. Некрасивый, прямо урод. К его седлу был привязан повод лошади, на которой сидел военный урус со связанными руками. Сзади ехал старик с небольшой белой бородой, непонятно, какого племени. Он вел в поводу четвертую лошадь, с поклажей.

Ясно: абреки привезли продавать пленного. Так делали многие. Не все умеют торговать с турками, да и не потащишься из-за одного или двух пленных на ту сторону гор. А этот урус был начальник, афыцыр. За такого надо выкуп брать. Это Зара разобрала из слов аварца. Он говорил по-джангызски. Не очень хорошо, но понять можно.

Потом Масхуд сказал ему:

– Ты что ли, Галбацы? Помнишь меня? Я Масхуд. Зачем от нас уехал? Дауд-бек на тебя злился, догонять хотел. Но теперь у нас Рауф-бек, так что бояться тебе нечего. Это сколько же лет прошло, а?

Наверно аварец ответил, сколько, но Зара на него уже не смотрела. Она разглядывала старика. Тот был хоть и седой, но не сильно старый. Он молчал, сидел в седле неподвижно, дожидаясь, чем закончится разговор. По лицу было видно, что он старший, а этот Галбацы при нем.

Масхуд сказал:

– Бека нет. Скоро будет. Может, завтра. Или послезавтра. Живите пока тут. Лепешек, баранины принесем. Вода – вон течет.

Это обычай такой: гостей первые три дня ни о чем не спрашивать. Пусть люди отдохнут с дороги.

Для этого перед воротами стоял гостевой дом. С коновязью, а окна – из настоящих стеклянных кусочков. Чтоб приезжие видели, как хорошо живут в Канлырое. В самом ауле стеклянные окна были только в доме Рауф-бека. Каждую хрупкую пластинку привезли издалека, обернув в козий пух. Некоторые побились или треснули, но их все склеили прозрачной смолой. Зара любила смотреть, как на этих прожилках подрагивают разноцветные лучики.

Огалай ушел по Дороге Костей за едой, Масхуд остался на вышке, рядом с билом. Чуть что – ударит тревогу, дернет за веревку – ворота закроются. Такой порядок. А то под видом гостей могут ведь и враги нагрянуть.

Очень хотелось Заре посмотреть, что приезжие будут делать. Она спряталась так, чтоб Масхуд о ней не вспомнил. Обежала вокруг дома, привстала на цыпочки, стала подглядывать.

Абреки сначала, как водится, занялись лошадьми. Потом вошли внутрь, огляделись. Галбацы повернулся к востоку, забормотал молитву. Нестарый старик молиться не стал. Он снял шашку, отстегнул чехол с пистолетом, потом развязал афыцыра. Зара покачала головой: видно, совсем неопытные в охотничьем ремесле люди. Не надо пленного развязывать, пока он не в яме. Вдруг накинется?

Но урус был смирный. Он сказал что-то на своем языке, непохожем на

человеческий. Сел. Снял белую круглую шапку. Волосы у него оказались золотые, как у пленной урусим, которую Рауф-бек привез двенадцать дней назад.

Это было необычно, что он вернулся с охоты, захватив такую скудную добычу – всего одну замотанную в бурку женщину. Но вид у аталыка был довольный. Рауф-бек сказал нане: «Аллах послал мне выгодное дельце. Урусим эта досталась легко, а денег за нее уже заплатили, много. Посели ее в доме Дарихан, тепло одень, хорошо корми. За это потом еще заплатят».

Зара смотрела с любопытством, но без большого интереса. Пленных она повидала много. Правда, обычно их в зиндан сажали, а не селили в доме. Ну-ка, что там, под буркой?

Но когда аталык вынул бледную, полумертвую от страха девушку в рваном платье из плохой, тонкой материи, Зара обмерла. Волосы у пленницы были точь-в-точь такие же, как у Назифы!

«Только ты меня узнай», – сказала Назифа из-под земли. Уж не она ли это явилась с того света, а золотые волосы – знак? Лицо, правда, было совсем другое. И годами урусим была немолода, лет двадцати. Но все знают, что после смерти лицо человека меняется, а каждый день, проведенный в царстве мертвых, равен земному месяцу.

Ни на шаг не отходила Зара от девушки с волосами Назифы. Пленницу повели в маленький дом, стоявший в глубине двора. Там раньше жила Дарихан, она умерла, потому что не смогла разродиться. Потом Рауф-бек собирался поселить туда Назифу. Так дом и остался пустой. Единственное окно закрыли ставней, на дверь снаружи приделали засов – получился тот же зиндан, только сухой и чистый. Зара подсматривала внутрь через узенькие оконца восточной стороны. Они были проделаны, чтоб утром делать намаз в ясных лучах восходящего солнца.

Вот в комнату втокнули урусим. Она забилась в угол, вся сжалась. Нана поставила перед ней простоквашу, положила лепешку – девушка к еде не притронулась, хотя Рауф-бек сказал, что она два дня ничего не ела, не пила.

– Какая ты грязная, трясешься вся в своей тряпке, плечо голое торчит, – покачала головой нана. – Нужно привести тебя в приличный вид. А то стыдно будет возвращать. Скажут: «Жадные какие. Выкуп большой взяли, а даже одеть не могли».

Пленница не поняла и заплакала. Наверно, нана с ее горбатым носом и висячими щеками показалась ей злой ведьмой.

Пришли женщины, стали раздевать урусим, чтобы полить водой из кувшина. Она кричала, билась, потом лишилась чувств. Подумала, убивать ее пришли. Когда урусим обмякла, сразу стало легче. Женщины быстро сделали, что нужно. И помыли, и расчесали волосы, и натерли мазью ссадины.

Под одеждой девушка оказалась худая, с очень белой кожей. Подошвы розовые, нежные, будто всю жизнь только по козьему пуху ходили. На шее – маленький золотой крестик, как у всех гяуров. Нана сдернула его, забрала себе. Браслет и кольцо тоже. Рауф-бек пленницы не касался, ничего у нее не брал – для мужчины это харам.

Одели все еще бесчувственную урусим, как положено: в штаны, рубаху, бешмет. Натянули шерстяные чупяки. Волосы покрыли платком. И стала она похожа на нормальную девушку.

Наконец, ушли. Теперь Зара получила возможность побыть с пленницей наедине – понять, Назифа это или нет.

Сняла с двери засов, прокралась внутрь. Села на корточки, стала ждать, пока та очнется. Вообще-то, когда золотоволосая начала плакать, Зара подумала: «Не Назифа, нет». Назифа никогда не плакала. Но все-таки надежда еще оставалась.

Вот урусим шевельнулась. Увидела перед собой девочку, глядевшую на нее исподлобья, и вся задрожала. Заре это даже понравилось – еще никто не глядел на нее с таким ужасом.

– Ты Назифа или не Назифа?

Губы пленницы зашевелились. Она говорила что-то невнятное, не похожее на людскую речь. Это по-урусски или на языке загробного мира?

Хотела Зара потрогать золотые волосы. Протянула руку – девушка так и вжалась в стену. Тут стало окончательно ясно, что никакая это не Назифа, а глупая, трусливая урусим, добыча охотника.

Судя по плаксивому выражению лица, по дрожащему рту, она о чем-то умоляла и про что-то спрашивала. Зара поднялась, чтобы уйти. Она утратила интерес к пленной.

Вдруг та сделала кое-что интересное. Быстрым движением выдернула из ножен маленький кинжал, который всегда висел у Зары на поясе. В Джангызе девочки в двенадцать лет получали вместе с корсетом и булатный нож. У Зары он был красивый, в серебре, с золотой насечкой.

Урусим не нанесла удар – приставила клинок к своей груди и опять что-то быстро заговорила.

Неужели все-таки Назифа? Просто ничего не помнит, не узнает подругу?

– Я оглохла. Ничего не слышу. А язык твой не понимаю, – сказала Зара, испытующе глядя на девушку.

Так, как та держала кинжал, зарезаться было нельзя – разве что оцарапаться.

В голову пришла отличная мысль. Зара сняла с головы повязку, прощальный подарок Назифы. Пленница смотрела на расшитую полоску с серебряными монетками недоуменно.

– Ясно. Ты не Назифа. – Зара печально вздохнула. – А резать себя не надо. За тебя пять тысяч уже дали. Аталык сказал.

И нарисовала щепкой на земляном полу кучу круглых рублей и уезжающую повозку, которую встречают военные уруссы и с ними начальник-афыцыр.

– Скоро домой поедешь! Домой!

Жалко ей стало золотоволосую. Разве та виновата, что родилась не в горах, а на плоском скате в Бездну, среди диких, нечистых уруссов? Если б девушка понимала по-человечьи, Зара посоветовала бы ей остаться в горах. Приняла бы ислам, научилась бы приличным манерам. Глядишь, со временем какой-нибудь джигит взял бы ее в младшие жены. И жила бы, как люди. А то увезут ее, дуру несчастную, назад. Будет там свиней есть, ходить с непокрытой головой, с голыми плечами.

Кажется, Зара слишком громко говорила – с ней иногда случалось. Урусим, которая, рассматривая рисунок, опустила руку с кинжалом, вдруг вскинулась и снова приставила острие к груди. Это в дом вбежала нана.

– Не двигайся, доченька! – сказала она побелевшими губами. – И ничего не бойся. Сейчас я отберу у нее нож. Мне бы только к ней подойти...

– Я сама.

Зара обернулась к урусим, успокоительно ей кивнула и погладила по руке. Рука разжалась, кинжал выпал.

– Ты можешь понимать, если с тобой говорить медленно? – спросила нана. – По губам, да? Я давно заметила.

Вэй, не надо было ей отвечать! Нана умная, теперь будет знать. Пришлось кивнуть.

– Тогда смотри мне на рот. Не знаю, почему тебя слушается урусим, но это очень хорошо. Покорми ее. Нельзя, чтобы она заболела и умерла.

– Хорошо.

И, когда нана ушла, девушка действительно поела. Пока она пила из миски простоквашу, Зара погладила прядку золотых волос. Они были совсем мягкие, не такие, как у Назифы.

У пленного афыцыра, наверно, такие же. Он достал маленькое зеркало, гребешок и начал расчесываться. Не забыл и про усы – смешные, маленькие, как два куриных перышка. Потом начал брить бороду.

Зара поглядывала то на него, то на остальных двоих, составляя мнение о каждом.

Нестарый старик был человек уверенный, сильный. Как Рауф-бек. Только у аталыка внутри будто всё время кипятки бурлит – близко не подходи, ошпарит. А этот похож на белый ледник. Он тоже может обжечь, но холодом.

Афыцыра Зара презирала, он был трус. Если у тебя руки развязаны и в руке полоска острой стали, надо не лицо скрести, а кинуться на врагов! Главное, они даже не стерегутся. Белый старик чистит пистолет, черный Галбацы зевают, да почесывают себе грудь.

Вдруг Зара ахнула. Волосатая рука аварца достала из-под черкески что-то пушистое, цвета снега. Маленькое существо невиданной красоты потянулось и открыло ротик с розовым язычком.

Галбацы сел на колени (близился час молитвы) и стал совершать омовение. Существо занялось тем же – облизало лапки, потом стало ими чистить мордочку.

Зара снова ахнула. Что за чудо?!

Она неотрывно смотрела на волшебное создание. Даже не заметила, как аварец поднялся и вышел.

Через минуту крепкие пальцы взяли ее за плечо.

Она обернулась – над нею нависал Галбацы.

– Я тебя третий раз спрашиваю: кто ты, девочка, и почему за нами подглядываешь? Что ты не отвечаешь?

– Я глухая. Кто это у тебя – пушистый, белый?

– Но теперь ты поняла мой вопрос. – Он сдвинул густые брови. – Отвечай. Кто ты?

«Ух какой жуткий. Похож на злого духа», подумала Зара. И, чтоб он вел себя почтительно, сказала:

– Я дочь чарчхинского князя и воспитанница Рауф-бека! Куда хочу, туда и хожу.

– Не кричи. Идем со мной...

Когда они вошли, афыцыр о чем-то разговаривал со стариком, серьезно, но не как с врагом. Галбацы стал что-то им рассказывать, на чужом языке. Понимали они его не очень хорошо, особенно пленник. И все время смотрели на Зару. Потом аварец и урус стали сердиться на седого.

Тот послушал-послушал, покачал головой и сказал несколько слов, от которых Галбацы топнул, а урус всплеснул руками. Снова заспорили.

Но Зара за ними почти не следила. Она села на корточки и любовалась белым существом. Глазки у него оказались голубые. Подушечки на лапках розовые, как у золотоволосой урусим. Зара потрогала шерстку – она была, как облачко.

– Э, кто это? – спросила Зара у аварца.

– Малаик, – ответил тот, коротко обернувшись, и посадил чудесное создание себе за пазуху.

Малаик? Ангел? Вот почему он делает намаз!

– А можно я его поглажу?

Галбацы смотрел на нее сверху вниз своими свирепыми, как у джинна, глазами.

Потом сказал:

– Ангела кому ни попадя за просто так гладить нельзя. Это заслужить надо.

– Я заслужу! А как?

– Неужели ты не знаешь, как угодить ангелу? Нужно сделать что-нибудь доброе. Тогда ты сможешь его погладить. Если он будет тобой доволен, он даже о тебя потрется.

– Что хочешь сделаю! Говори! – потребовала Зара.

Они снова заговорили меж собой.

– У вас в ауле есть урусим, которую привезли дней десять назад. Ты ее видела?

– Да. Она живет в нашем дворе. У нее такие же волосы, как у вашего афыцыра.

Аварец перевел им, и пленник заволновался.

– Этот человек ее брат, поэтому у него такие же волосы, – сказал Галбацы. – Он хочет спасти свою сестру. А я и Аксыр ему помогаем. Помоги и ты. Если хочешь угодить ангелу. Это благое дело. Поможешь?

Конечно же, Зара согласилась.

Тогда Аксыр, Белые Волосы, велел что-то урису. Тот вынул листок и стал что-то писать на нем маленькой деревянной палочкой. Зара смотрела с восхищением, как ловко на бумаге плетутся письма. Вот бы ей такую палочку, чтоб рисовать!

– Отнеси ей это. Только спрячь, чтоб никто не видел. А потом доставь нам ответ. Сделаешь – и гладь ангела, сколько захочешь. Но учти: если ты нас выдашь, ангел сразу нашепчет мне – прямо вот сюда. – Галбацы показал на свое сердце. – И ты никогда больше не увидишь белых ангелов,

во всю свою жизнь. Потому что нет ничего черней предательства.

– Знаю. Предателей в аду пауками кормят.

Зара схватила сложенную бумажку, сунула ее под шапочку. Вкрадчиво спросила:

– А чем урусим будет ответ писать?

И ей немедленно отдали волшебную палочку. Зара уже решила, что на обратном пути обязательно ее потеряет.

Ах, как всё это было интересно! Когда умерла Назифа, мир не только онемел, но еще и съезжился, а сегодня он вновь сделался просторным.

Выбежав наружу, Зара столкнулась с Олагаем, который нес приезжим еду.

– Она еще здесь! – удивился Олагай.

И показал: тебе нельзя тут, иди в аул. Он еще и Масхуду крикнул. Зара изобразила примерную девочку – опустила глаза, чинно прошла через ворота. Но за поворотом припустила во всю прыть. Камешки разлетались из-под ее ног. Мертвые враги, лежавшие где-то внизу, кряхтели и вздыхали.

За двенадцать дней урусим к Заре привыкла. Разговаривать они не могли, но научились понимать друг друга. Если надо было что-то сказать, Зара рисовала на полу щепкой. Пленница кивала или качала головой. Иногда она плакала. А то вдруг медленно зашевелит губами – должно быть, пела какие-то грустные песни. Даже жалко, что Зара их не слышала. Судя по лицу девушки, песни были красивые.

Вбежала к ней Зара, запыхавшись. Но листок дала не сразу. Сначала нарисовала на земле трех всадников и одну пустую лошадь. Показала на нее пальцем: это для тебя. Но урусим не поняла.

Пришлось нарисовать афыцыра. Лица у Зары получались не очень, потому что изображать людей – грех. Всякий раз она немножко боялась, не прогневаешь ли Аллах. Но все равно рисовала, конечно – только чтоб никто не увидел.

Кажется, получилось похоже. Плоская круглая шапка, лицо с острыми язычками волос на висках и смешными усами.

Пленница побледнела. Сначала схватилась за сердце, потом вцепилась Заре в руку, что-то быстро заговорила.

Вместо ответа получила письмо.

Теперь, наоборот, вся порозовела. Само собой, заплакала. Она вообще чуть что пускала слезы. Обняла Зару, зачем-то прижалась к ее щеке и несколько раз мягко укусила губами. Это еще что такое?

Должно быть, брат написал, что она должна ответить. Или, может, она

сама догадалась. Урусим перевернула бумагу на чистую сторону, взяла у Зары деревянную палочку и очень быстро, еще быстрее, чем афыщыр, застрочила – иногда даже не успевала слезу смахнуть.

Никогда еще не преодолевала Зара стену так быстро: горной козой вскарабкалась на верхушку, шустрой змейкой спустилась.

– Вот, – сунула она аварцу письмо. – Давай ангела!

– погоди. Откуда ты взялась? Я все время смотрел на ворота. Но ты появилась с другой стороны.

Она коротко объяснила про свой лаз.

– Покажи, где.

– Ну уж нет! Сначала дай погладить ангела!

Внезапно она испугалась, что он ее обманет. Но ангела ей дали. Он спал и не проснулся, когда Зара осторожно прижала его к груди. Ангел был белый, от пушистого его тельца исходило еле заметное, нежное трепетание.

Краем глаза Зара видела, как афыщыр читает послание своей сестры, время от времени делая то же, что та сделала с щекой Зары: прижимался ртом к бумаге и будто присасывался к ней губами. Очевидно, это у них такой знак приязни.

Она сделала то же ангелу. Было щекотно.

– Хватит. – Галбацы взял ее за руку, а ангела убрал обратно за пазуху. – Теперь показывай, где ты спустилась.

Ведя его, Зара подумала, что он точь-в-точь заколдованный султан из сказки. Такой же страшный, но возле его сердца спит ангел. Разве станет ангел спать на груди плохого человека?

Показала, где лезть вверх. Он тоже попробовал. Но сначала положил на землю ангела, чтоб ненароком не выпал. Карабкался аварец ловко, не хуже, чем Зара. Она одобрительно пощелкала языком.

А ангел проснулся и стал тереться о ее ногу. Он был Зарой доволен!

Отметил это и Галбацы.

– Видишь, ты сделала благое дело, – сказал он спустившись. Его взгляд уже не казался ей страшным. Немножко еще заколдованным, но нет, не страшным. – А можешь сделать больше.

– Помочь вам выкрасть сестру афыщыра?

– Не выкрасть. Спасти.

Зара прищурилась. То, что никто не спросил про волшебную палочку, говорило о многом. Кажется, тут удастся получить кое-что поценнее.

– Я могу перелезть через Кольцо. Ты тоже сможешь – если я покажу как. Но урусим слабая и неловкая. Она свалится. Если только один из вас,

самый сильный, привяжет ее к своей спине...

– Мы сделаем это. Проведи нас к ней, когда настанет ночь.

Теперь, когда он понял, что дело исполнимо, его черные глаза загорелись. Такими они понравились Заре еще больше. Никакой он был не урод, Галбацы. Просто она раньше на него неправильно смотрела.

– Чем заплатишь, если я помогу?

Зара выставила вперед правую ногу и подбоченилась. Так обычно становился Рауф-бек, когда выходил за ворота поторговаться с заезжими абреками.

– Что хочешь проси, – ответил он. И спохватился. – Только ангела не отдам. Это все равно что отдать душу.

Она кивнула: понимаю. Если б султан отдал своего ангела, его сердце снова увяло бы.

– Хорошо, пусть ангел останется у тебя. Но поклянись Аллахом: если я отведу вас к урусим, ты возьмешь меня с собой.

Он очень удивился.

– Нельзя! За пленницей люди Рауф-бека будут гнаться день или два, потом отстанут, ведь пять тысяч они уже получили. Ты – другое дело. Лишиться воспитанницы для аталыка несмыаемый позор. Хуже, чем потерять родную дочь. За тобой они будут гнаться до самого края гор. И обязательно догонят, если мы будем с двумя девками.

– Они будут гнаться за вами только до края гор. А я пойду за тобой до края света. – Заре казалось, что это не она сама – кто-то другой ее голосом говорит. – Хоть на край Бездны, где нет людей кроме урусов. Мы будем там жить втроем – ты, я и твой ангел.

– Ты женой что ли моей хочешь стать?

Наверное, Галбацы совсем никогда не улыбался. Поэтому улыбка у него и вышла такая особенная, как ни у кого на свете.

– Не сейчас. Я же не дура. Года через два. Когда вырасту тебе до плеча.

Он задумчиво смотрел на нее и больше не улыбался. А она терпеливо ждала.

– Из тебя может получиться хорошая жена, – наконец промолвил он. – Если б я знал, что на свете есть женщины, с которыми можно разговаривать одними губами, без голоса, давно бы на такой женился.

И засмеялся, а смех у него был еще лучше, чем улыбка, хоть звука Зара и не слышала.

– Я должен посоветоваться с Аксыром.

Зара на миг опустила глаза. Потому что девушке нехорошо учить мужчину, как ему поступить.

– Зачем тебе советоваться? Что тебе эти люди? Отдай им урусим, а мы уедем. Втроем.

– Молодой мне никто. А старый – мой кунак.

– Тогда понятно. Он кто?

Простой вопрос вызвал у Галбацы затруднение.

– Он сумасшедший. Я не знаю, как он дожил до седых волос и не погиб. Его, наверное, Аллах хранит – как Он хранит дервишей, у которых в груди пылает огонь. Суди сама. Я давеча пошел к нему и сказал, что нам очень повезло: приемная дочь Рауф-бека у нас в руках. Надо ее украсть и обменять на пленницу. Чего проще?

– Ты хорошо придумал! Ты такой умный!

– Э, тут и думать не надо! А он сказал: нет. Нет – и всё.

– Ты прав, твой Аксыр сумасшедший. Но я рада, что он сказал «нет». Я не хочу, чтобы ты меня менял.

Галбацы про это не стал говорить. Нахмурился, велел в полночь спуститься к этому месту.

– Ты не бойся, я вещей с собой не возьму. Что я, не знаю? Когда погоня, лишний вес ни к чему, – сказала на прощанье Зара. – Гляди только, не обмани меня. Предатели в аду пауков едят.

Остаток дня она провела в блаженном ожидании. Что Галбацы ее обманет, она на самом деле и думать не думала. Как же он обманет, если у него ангел за пазухой? По той же причине, из-за ангела, не тревожилась, удастся ли побег. Знала: всё устроится.

И всё устроилось.

Предупреждать урусим Зара не стала. Напугается, разревется. Принесет ей нана ужин – и сразу догадается: что-то не так.

Единственный человек во всем ауле, с кем хотелось попрощаться, была она – нана. Но сделать этого Зара не могла. Поэтому она поступила, как Назифа. Ночью, когда все спали, отрезала одну из своих косичек и положила нане в чувяк. Утром будет обуваться – найдет. И поймет, что это на память.

В полночь, то есть через три часа после захода, Зара уже ползла вниз по обрыву. За последние месяцы она столько раз проделала этот путь, что ноги и руки сами находили все выступы и впадины.

Ее ждали в условленном месте двое: Галбацы и Аксыр.

– А где ее брат? – спросила она.

Галбацы наклонился к самому ее лицу, иначе она не разглядела бы губ.

– Он попробовал подняться – не получилось. Мы оставили его

приготовить лошадей. А девушку понесет Аксыр, он сильней и ловчей меня.

– Ты просто хочешь почтить старость, – засмеялась Зара. – Никто не может быть сильней и ловчей тебя.

Наверх они лезли сначала медленно – она показывала, как. Потом мужчины привыкли и уже не отставали. На гребне Кольца они задержались, глядя на спящий аул, в котором не светило ни одного огонька и только поблескивали под луной плоские крыши.

Спустились.

На чужих могли залаять собаки, хотя они в Джангызе были ленивые и не очень нюхастые. Но все же Зара велела спутникам остаться под скалой.

Сама же легкими, не ведающими усталости ногами понеслась в аул.

Разбудила урусим, поманила за собой. Та что-то спрашивала, но Зара только успокоительно кивала: да-да, я веду тебя к брату, только не шуми.

Не такая уж она оказалась трусиха, золотоволосая девушка. Бежала не отставая и совсем не плакала. А когда увидела, кто ее ждет, стала словно бы выше ростом, раскинула руки, как соколица крылья, и бросилась Аксыру на грудь. Лунный свет упал на лицо старика. В серебряном луче оно показалось Заре совсем молодым.

Поднимались вверх быстрее, чем потом спустились – так всегда бывает. Привязывать девушку не стали, она и так очень крепко обхватила Аксыра за шею, прижалась к его спине, а когда могла – помогала, опираясь ногами. Старик действительно оказался очень сильный. Даже не стал устраивать передышку на вершине, сразу захотел лезть вниз.

И правильно – времени оставалось немного. Летом рассветы ранние.

Афыцыр уже держал в поводу четырех лошадей. Он не стал обнимать сестру, как ждала Зара, а просто подбежал, что-то проговорил, схватил ее руку обеими своими и прижал к губам. Наверное, она была старшей сестрой.

– Мы не поедем через ущелье, – сказала Зара. Она уже всё придумала. – Там нас быстро догонят. Я знаю тропу, по которой чужие не ходят. Она кружная, но зато никто не станет нас искать. Объясни Аксыру.

Если она кого и боялась, так это старика. Вдруг он не захочет брать ее с собой? Он ведь Заре ничего не обещал. А Галбацы его чтит, спорить не посмеет. Про тропу Зара сказала еще и поэтому.

Ее вместе с урусим посадили на четвертую лошадь. Тронули шагом, после перешли на рысь. Обмотанные тряпками копыта мягко ударялись о землю. Ночной ветерок дул Заре в лицо, над головой мигали звезды. Назад, на темную громаду Кольца она ни разу не оглянулась.

Остаток ночи и утро они двигались гуськом по горной тропе – Зара шла впереди, остальные ехали следом, только афыцыр спешился и вел лошадь своей сестры за узду. Преодолев хребет, до следующего перевала добрались вскачь. Когда узкая дорога вновь пошла на подъем, Галбацы (он ехал замыкающим) вдруг слез с коня и вынул из чехла винтовку. Зара все время оглядывалась на него.

– Ты что? – крикнула она.

Он молча показал вниз.

Через низину скорой рысью неслась вереница всадников. Острый взгляд Зары распознал по белой шапочке нану, хоть она и сидела в седле так же, как мужчины.

Нана была слишком умная и хорошо знала свою приемную дочь – догадалась, что та ушла по доброй воле и поведет чужаков хитрой тропой. Плохо!

Аксыр тоже спешился, лег за большой камень и стал раскладывать патроны, вынимая их из газырей. Место, чтобы отстреливаться, было очень удобное. Зару пересадили на одну из освободившихся лошадей. Вместе с афыцыром и урусим они поскакали дальше – до перевала. Там была ровная, хорошо укрытая площадка. Сначала Зара не поняла, почему они не скачут дальше, но потом догадалась. Следующая долина широкая. Чтобы добраться до леса, где много троп, нужно оторваться от преследователей на несколько часов, иначе увидят сверху и все равно догонят. Нужно ждать темноты.

Золотоволосая несколько раз вздрогнула – должно быть, снизу доносились выстрелы. Пока афыцыр батовал лошадей и устраивал сестру в укромном месте, куда не залетит случайная пуля, Зара смотрела, как идет перестрелка.

Нана, конечно, не погнала джигитов под огонь. Они слезли с коней, рассыпались полукругом и потихоньку, перебежками, карабкались по склону. Аксыр с Галбацы постреливали, чтоб джангызцы не лезли слишком быстро. С той стороны не поднималось ни одного дымка – не хотели зря тратить заряды. Вот Галбацы, пригнувшись, перебежал выше, а Аксыр в это время выстрелил. Потом сделали наоборот: отступил старик, а выпалил аварец. Ага, сообразила Зара: так они поднимутся до самого перевала, а к нему преследователям близко не подобраться, потому что перед площадкой голый откос в целых сто шагов. Но как Аксыр и Галбацы сами преодолеют это открытое место?

Оба просто побежали вверх, зигзагами, и Заре впервые стало страшно

– вдруг пуля попадет в Галбацы? Афыцыр приложился к винтовке, готовый стрелять, если кто-то высунется, хотя расстояние для хорошего выстрела было слишком большое. К дулу ружья у уруса была приделана странная медная трубка.

Но джангызцы по-прежнему не открывали огня. Она догадалась: боятся палить вверх – не задеть бы приемную дочь Рауф-бека. И страх сразу прошел.

Они все снова были вместе. Галбацы немножко запыхался от бега, Аксыр – нисколько. Он стал что-то говорить, остальные молча слушали.

– Ждем темноты, – объяснил Галбацы. – Потом мы с ним задержимся, а вы поскачете вниз. Не бойся, мы оставим себе двух самых резвых шалохов. Уведем твоих аульцев другой дорогой, а потом уйдем вскачь – не догонят.

Замысел был хороший. Без женщин на быстрых конях они, конечно, уйдут.

Только плохо они знали нану. Сам Рауф-бек, будь он здесь, не придумал бы умнее.

Еще не стемнело, когда от скалы, под которой сидели беглецы, полетели крошки. Урусим сжалась, открыла рот, обхватила голову руками. Зара поняла: по ним стреляют. Но откуда? Не с неба же?

Оказалось, джангызцы зря времени не теряли. Они вскарабкались на крутой утес, торчавший примерно в двухстах шагах от перевала. Оттуда площадку, наверное, было видно, как на ладони. Если б стрелки захотели, уложили бы всех первым же залпом – это они нарочно взяли прицел выше.

На утесе поднялась знакомая фигура, махнула рукой, в которой белел платок. Это была нана. Она что-то крикнула, но издали Заре, конечно, было не разобрать.

– Что? Что? – дернула она Галбацы за рукав.

– Говорит: отдайте девочку, не то всех перебьем.

Он тоже встал, приложил руку ко рту. Зара была с другой стороны и прочла по медленно движущимся губам:

– Только суньтесь! Прикончим девчонку!

Рывком поставил Зару на ноги, приставил ей к горлу кинжал.

– Не бойся, – сказал. – Это я для виду.

– Я и не боюсь. Но теперь мы не можем уйти. Ночи лунные. С такого расстояния они в два счета прикончат вас с Аксыром. И афыцыра. Скажи всем, чтоб прижались ко мне ближе.

Он поговорил немного с Аксыром. Снова стал кричать, но теперь приложил ко рту левую руку (в правой был кинжал), и Зара ничего не

разобрала. Нана ему отвечала. Переговоры продолжались долго. Пока Галбацы не смотрит, Зара сунула руку ему за пазуху – гладила ангела, а один раз погладила твердую грудь своего будущего мужа.

Наконец (солнце уже садилось) на чем-то условились.

– Придется тебя им отдать. Сама видишь – другого выхода нет, – сказал Галбацы. – Уговор такой: все кроме нас с тобой уходят. Мы должны развести костер и сидеть все время на виду. С первым лучом солнца я стану пятиться вон к тем камням, держа тебя на прицеле. Там сяду на коня. Они обещают, что не станут преследовать. Наверно, обманут, но это все равно. Вряд ли кто меня догонит. А кто догонит – пожалеет.

Зара что было сил сдвинула брови – не хватало еще расплакаться, будто какая-нибудь урусим.

– Я свое обещание помню, – продолжил Галбацы. – Подрастешь – приеду за тобой.

– Отец не отдаст меня абреку.

Он пожал плечами:

– Выкраду. Ты ведь не будешь сопротивляться? Закон тебе известен: если девушку не смогли вернуть в течение дня и ночи, она становится законной женой похитителя.

– Нам нельзя расставаться. – Зара взяла его за руку, жесткую и горячую. – Я придумала лучше. Мы их обманем. Ты завернешь меня в бурку у них на глазах. А потом, когда луна зайдет за тучу, я потихоньку выскользну. Знаешь, какая я ловкая? Никто не заметит. Пусть Аксыр оставит внизу не одну лошадь, а две.

– Ты такая же умная, как твоя нана. – Он восхищенно покачал головой. – Так и сделаем.

Костер получился неважный – на перевале росли лишь чахлые кусты, но тепла от него хватало, а света было даже многовато. Укутанная буркой, Зара смотрела на своего жениха. Он сидел к ней вплотную, держа у ее горла кинжал – чтоб джангызцам не вздумалось подкрасться в темноте. Другой рукой время от времени он поглаживал Зару. Условились, что она уйдет за час до рассвета, когда скроется луна.

Если б только не тепло, исходившее от его руки! Если б не мечты о том, как они будут жить втроем на краю света!

Между мечтой и сном граница такая хрупкая, ее почти и нет.

Сначала Зара думала, какой у них будет дом. Потом увидела его, как наяву: белый-белый, и все стены разрисованы чудесными узорами. Но это она уже спала.

А когда проснулась, Галбацы не было. Он ушел, а Зара не могла этого

услышать – даже если джангызцы по нему стреляли.

Прозрачный воздух дрожал радужными искорками – из-за гор поднималось солнце.

Зара скинула бурку, поднялась. К перевалу снизу бежали джигиты, впереди всех – нана.

И Зара не могла удержаться – горько заплакала. Опять она была одна на всем свете.

Что-то коснулось ее щиколотки.

Посмотрела вниз – ангел.

Выгибая изящную спинку, он терся о чужак и зевал.

Галбацы оставил Заре того, кто грел его сердце! Значит, он обязательно вернется – за невестой и за своим ангелом!

Прекрасное создание вновь открыло ротик, и вдруг раздался небесный звук: «Яяау!»

А потом на Зару обрушилось много-много звуков.

Посвистывал ветер, шипели догорающие угольки костра, звонкий голос кричал: «Зара, доченька, ты жива!»

Пропел ангел – и мир избавился от немоты.

Зигзаг

Там поразить врага не
преступление;

Верна там дружба, но вернее
мщение;

Там за добро – добро, и кровь –
за кровь,

И ненависть безмерна, как
любовь.

*Лермонтов, «Измаил-
бей»*

Дарья Фигнер

Обманывать себя она перестала, когда перед подъемом обхватила его сзади за плечи и прижалась грудью к его спине. То, что не желал принимать рассудок и что отвергала воля, ворвалось в плоть и кровь – через нахлынувший жар, через сумасшедшее сердцебиение, через сладостное оцепенение. И во время восхождения, и во время спуска Даша была в полубеспамятстве. Но не от страха – от наслаждения. Ей хотелось, чтобы так было всегда: она крепко его обнимает, они единое целое. Если сорвутся, то вместе, а вместе с ним – хоть в пропасть. Это было самое восхитительное ощущение всей ее жизни. Это было самое ужасное, что только могло с нею случиться.

Она безрассудно, неостановимо полюбила единственного человека на свете, которого любить ей было никак нельзя. Полюбила не так, как описывают в стихах или романах – всем сердцем, а вообще всем, что в ней было, – и любила всё, что было в нем. Вдруг открылась неоспоримая истина: ее кожа создана для того, чтобы его осязать; обоняние – чтобы жадно вдыхать его запах; глаза – чтоб на него смотреть; слух – чтобы внимать его дыханию; язык – ... Во время спуска она тайком лизнула его покрытую испариной шею – и солоноватый вкус показался ей волшебным.

Когда всё закончилось, ее пальцы не желали расцепляться. Олег Львович подумал, что это от нервов, и очень бережно разъединил их, один за другим. Пальцам сразу сделалось холодно. Потом Мангаров целовал их, согревал дыханием, но это не помогло.

Весь долгий и опасный путь в Серноводск она была словно не в себе. Вдрагивала, когда звучали выстрелы, пила и ела – но совершенно механически. В Даше что-то происходило, что-то менялось, и она вся была поглощена этим пугающим процессом.

Хорошо, что мужчины обращались с ней, как с больной. Были заботливы, но не донимали разговорами: молчит – и пускай. Когда оказались в безопасности и стало возможно ехать медленней, Григорий Федорович настоял, чтобы она села перед ним – якобы так ей будет покойней. Она не спорила. Но все время, пока Мангаров нежно обнимал ее за плечи и нашептывал ласковые слова, она его ненавидела. За то, что он – не Олег Львович: и держит ее неправильно, и голос не такой, и запах.

Несмотря на ошеломление, мысль работала – выискивала лазейки, как совместить несовместимое и приспособиться к новой действительности.

Дашино воспитание, чувство порядочности, самоуважение – то лучшее, что в ней было и чем она гордилась – все эти основы ее душевного устройства были потрясены, опорочены. Ей следовало испытывать к себе презрение и омерзение, но ничего подобного не было. Это ужасней всего.

Держась обеими руками за жесткую гриву лошади, Даша вспоминала бывшее прежде – и поражалась собственной слепоте.

Теперь-то ясно, что она влюбилась в Никитина, еще его не увидев. В тот самый день, когда на станции Бирюлево слушала взволнованный рассказ Алины Сергеевны Незнамовой. Влюбилась в неизъяснимую красоту этой истории. В мужчину, который способен вызывать в такой необыкновенной женщине столь долгое и сильное чувство.

Ну хорошо, эта влюбленность была романтической и девичьей. Еще не любовь, а тоска по любви, ее предчувствие. Но когда она увидела Никитина вблизи и заглянула в его страшные (да-да, именно страшные!) глаза – ведь кажется, можно было спросить себя: чего это ты, голубушка, так напугалась? А того и напугалась, что увидела в этих глазах свою гибель. Гибель прежней Даши Фигнер – ясной, честной, светлой.

Но ничего она, дура, не поняла. Объяснила волнение своей душевной отзывчивостью и даже умилилась на себя: вот-де как близко приняла она к сердцу заботу доверившейся ей женщины.

И всё последующее свое поведение объясняла себе тем же: благородным участием в Никитине, ответственностью перед Незнамовой.

Не совсем так. Сомнения все-таки были, причем с самого начала. Но Даша возмущалась ими, гнала прочь. И, чтоб доказать самой себе чистоту помыслов, написала в Москву письмо: Олег Львович отличился, уже произведен в унтер-офицеры, а после похода в Семиаулье несомненно получит эполеты, так что не медлите, выезжайте. Письмо ушло с военным курьером, самой быстрой эстафетой.

Но экспедиция завершилась неуспехом. Олег Львович не только остался без надежды на выслугу, но был услан обратно в свой дальний форт. Когда Даша узнала об этом из записки Григория Федоровича, помертвела от ужаса. «Что я натворила! – сказала себе она. – Незнамова уже в пути, ее не остановить. Приедет счастливая – а его нет. Он ее не ждет, он спросит, почему она здесь? А виновата во всем я».

И невдомек ей было, что ужас вызван не столько конфузной ситуацией, сколько разлукой с Олегом Львовичем. Мыслью, что она может его больше никогда не увидеть. Решение ехать в Занозу возникло немедленно. Она об этом написала Григорию Федоровичу, отдала записку журналисту и стала думать, как всё устроить.

То, что случилось потом, было похоже на нескончаемый страшный сон: смерть бедного Трофима, плен у дикарей, но сейчас, потрясенная своим открытием, Даша об ужасах и не вспоминала. Словно всё это произошло не с ней. Или с ней, но много-много лет назад.

Чем меньше оставалось до Серноводска, тем яснее становилось: предстоящих мук Даше не вынести. Приедет Незнамова, посмотрит ей в глаза – и, конечно, сразу всё поймет. С ее-то пронизательностью и чутким сердцем – непременно. Как стыдно, как стыдно! Что может быть хуже, чем попытка украсть самое дорогое у той, которая и без того жестоко обворована судьбой?

Это был голос прежней Даши. Он потихоньку оттаивал, звучал всё громче. Спорить с ним было невозможно.

Имелся и еще один повод для терзаний, недостойный. Умываясь в маленьком горном озерце, она вдруг увидела свое отражение и чуть не разрыдалась. Боже, на кого она похожа! Какая-то облезлая кошка! Волосы висят сосульками, глаза ввалились, губы распухли. А кожа! А ногти!

«Глупости, – одернула себя Даша. – Какое это имеет значение?»

Но сама себе не поверила. То, как она выглядит, имело значение, и очень большое. Олег Львович должен смотреть на нее не с сочувствием, а с восхищением. Не жалеть ее, а желать!

Стоило ей мысленно произнести эти слова, и внутри будто вспыхнул яркий свет, озаривший душу и прояснивший мысли.

Нравственных терзаний как не бывало.

В любви каждый за себя. Здесь нет ни сострадания, ни благородства, ни учтивости. Потому что любовь – единственное, ради чего стоит жить и ради чего не жалко умереть. Одно дело прочесть такое в романе, и совсем другое – ощутить всем существом, как ощутила это Даша, застыв над черной водой.

Она будет сражаться за свою любовь! Пускай она воровка, пускай подлая предательница – да кто угодно! Наполнившее ее чувство было такой силы, что все остальное утратило значение.

Он будет принадлежать ей во что бы то ни стало. Вопреки всем и всему. Даже вопреки самому себе.

К Даше он равнодушен – в том единственном смысле, который для нее важен. Это первая трудность. Вторая: за много лет он свыкся с мыслью о той женщине, их слишком многое связывает. Трудность третья: его сердце покрыто ржавчиной, опалено невзгодами. Оно разучилось любить – если когда-то и умело.

Задача сложная, что говорить. Значит, нужно стать умной, смелой, прекрасной. Такой, перед кем рухнут все преграды.

И Даша очнулась. С нее слетела вялость, глаза заблестели, плечи распрямились. Лишь теперь она заметила, что куда-то подевалась маленькая глухая черкешенка и что Галбаций (кажется, он на время исчезал – или примерещилось?) едет мрачный и всё вздыхает. Вот отличный повод показать себя перед Олегом Львовичем в хорошем свете.

– Что с вашим другом? Он нездоров? – спросила она участливо. Безо всякого интонирования, по-дружески. Женские фокусы – это потом. Сначала нужно привести себя в надлежащий вид.

– Он где-то потерял котенка, что вы подарили, – так же по-товарищески ответил с улыбкой Никитин. – Я вижу, Дарья Александровна, вам лучше?

– Немного. Знаете, я не говорю вам слов благодарности. Потому что словами моих чувств не выразить. Отныне вы для меня... – И не договорила.

Голос у нее очень правильно, тепло дрогнул.

«Про скорый приезд Незнамовой ему ни слова, – думала Даша. – Как бы она ни торопилась на Кавказ, раньше, чем через две или три недели, не приедет. Это время – моё».

– Григория Федоровича мне отблагодарить просто, – сказала она, изобразив милую девичью застенчивость, которой в ней несколько не осталось. – Да и обязана ему я меньше, чем вам. Кунаку вашему я достану другого котенка. Еще краше и моложе, – прибавила она, не удержавшись. – А вот как выразить мою признательность вам, ума не приложу...

– Мне довольно того, что вы на свободе. А Галбация другим котенком вы вряд ли утешите. Кто краше и моложе не заменит того, кто был дорог.

Она вздрогнула – ей показалось, что Никитин прочел ее тайные мысли и ответил на них. Но в теперешнем Дашином состоянии надолго обескуражить ее было невозможно.

Первую попытку расшевелить в Олеге Львовиче иной интерес она предприняла на следующий день.

У подножия гор, в мирном ауле, их поджидали капитан Иноземцов и доктор Кюхенхельфер. В коляске у них было всё необходимое, чтобы снова превратиться если не в красавицу, то по крайней мере в цивилизованную женщину. Даша отмылась, переделалась, надушилась. Настоящей прически, конечно, не сделала, но заплела косу – вышло мило и эффектно, в духе пушкинской героини: «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала».

Сразу прибавилось и уверенности.

По дороге остановились на привал возле ручья. И Даша произвела еще не атаку, а, как выразился бы рара, разведку боем. Отошла к ивняку, стала ждать, когда Олег Львович пойдет умываться. И сделала вот что: приспустила платье, обнажив шею и плечи, грациозно присела над водой – стала обтираться смоченным платком.

Прежняя Даша ничего до такой степени бесстыдного и вообразить себе не смогла бы, а новая Даша, смелая, о стыде даже не думала. Лишь жалела, что плохо знает мужчин, особенно немолодых: что сильней пробуждает в них страстность? Во всяком случае, от маневра хуже не будет. В представителях сильного пола, как известно, чрезвычайно развита чувственность. Когда они видят какой-то пустяк вроде подвязки или ненароком обнажившейся части тела, прямо с ума начинают сходить.

С ума от вида Дашиных плеч Никитин не сошел, но и удалился не тотчас – несколько секунд постоял. Она сделала вид, что не видит его и не слышит, но внутренне возликовала: ага, залюбовался! Метод оказался перспективным – она взяла его на заметку.

В последний день путешествия Даша вела себя очень продуманно, с каждым спутником по-своему. Мангарову нежно улыбалась, но близко к себе не подпускала; его функция была – излучать обожание, окружать ее ореолом желанности. С капитаном держалась по-дружески просто. С доктором шутила. Горцу сочувственно вздыхала – издали, они ведь не любят разговаривать с женщинами. А Олегу Львовичу без конца посылала взгляды, полные глубокой благодарности и несколько раз говорила о своем неоплатном долге, так что он даже засердился. Это ничего. В какой-то книге Даша прочла, что больше всего человек любит тех, кто ему чем-то обязан.

Домой освобожденная пленница вернулась бодрая, целеустремленная, готовая перевернуть горы и вычерпать моря. Расплакавшийся от счастья папенька сказал: «Настоящая дочь воина!» Знал бы он...

С отцом нужно было провести очень важный разговор, однако в первый день Александр Фаддеевич был как в полупомешательстве: то смеялся, то утирал слезы, задавал миллион вопросов и не дожидался ответов. Он обнял всех спасителей дочери: и Мангарова, и Никитина, и доктора, и Платона Платоновича. Хотел даже облобызать абрека, но тот увернулся.

Еще бы папеньке не ликовать! Дочь возвращена, умолять государя об освобождении аманатов не нужно, закладывать имение не придется.

Надо было растолковать отцу, кому он всем этим обязан в первую очередь. Беседу Даша решила провести назавтра. Притом не в домашних условиях, а в отцовском кабинете – чтоб там же, сразу, без последующих сомнений была подписана соответствующая бумага.

Так и поступила.

В полдень явилась в штаб. Офицеров и всякого рода порученцев там было вдвое или втрое больше, чем прежде. Дело в том, что генерал от инфантерии Головин в ожидании скорого прибытия министра и своей неминуемой отставки взял отпуск по болезни. Генерал-лейтенанту Фигнеру он поручил временно исполнять должность главнокомандующего Кавказским корпусом со всеми соответствующими полномочиями и особыми правами. Даша смутно себе представляла весь объем этих полномочий, а из «особых прав» ее занимало только одно. О нем-то она и желала говорить.

На крыльце у нее произошла странная встреча. Из дверей штаба выскочил высокий тощий кавказец в алой черкеске и мерлушковой папахе. Его хищное, носатое лицо было черно от ярости, жилистая рука сжимала золоченую рукоять шашки.

Даша хотела пройти мимо, но горец, увидав ее, замер.

– Вы дочь сардара! А я князь Эмархан. Тот самый, что вел о вас переговоры с Рауф-беком! – вскричал он на правильном, но несколько клекочущем русском. – Это благодаря мне вас чисто держали и хорошо кормили! Я дал абрекам задаток в пять тысяч рублей – своих собственных денег! Сардар-генерал отказался мне их отдавать! Говорит, что вас освободили без моей помощи! Говорит: где доказательство, что я платил Рауф-беку деньги? Как будто абреки выдают расписки!

Она посторонилась – у него изо рта летели брызги, и вообще этот человек показался ей крайне неприятным. Он был похож на жуткого главаря разбойников, который два дня вез ее, словно мешок с отрубями, перекинув через луку седла. Только тот походил на рычащего волка, а этот на визгливого шакала. Зачем только отец пользуется услугами всякого отребья из туземных князьков? Они ничем не лучше «хищников». Даже хуже. Те, по крайней мере, защищают свой край.

– Если вы пытались мне помочь, я вам благодарна, – холодно сказала она. – Но чего вы хотите?

– Как «чего хочу»?! – Эмархан сглотнул – под острой бородкой качнулся огромный кадык. – Это были мои последние деньги! Вы говорите, что благодарны мне. Так вознаградите меня хоть чем-то! Я разорен! Нищ!

Раньше от такого шипения, от испепеляющего взгляда нежная

мадемуазель Фигнер перепугалась бы, начала лепетать что-нибудь извиняющееся и, наверное, даже отдала бы какую-то из своих драгоценностей, лишь бы этот головорез оставил ее в покое. Но в теперешней Даше девичьей пугливости совсем не осталось.

– Я подумаю, чем вас отблагодарить, князь. И стоит ли, – спокойно молвила она. – Посоветуюсь с отцом. А теперь позвольте – вы загораживаете мне дорогу.

Поддействовало! Страшный человек с низким поклоном прижал руку к груди, попятился.

– Не нужно советоваться с сардаром. Он прогневается на меня. Уповаю лишь на ваше милосердное сердце, благородная госпожа. Если решите чем-нибудь пожаловать бедного Эмархана, пришлите со слугой на постоянный двор Лазаряна. Ведь пять тысяч!

Она небрежно кивнула. Горец, продолжая кланяться, сбегал по ступенькам. Толстяк с бабьим лицом, в засаленной черкеске, подвел ему коня. Князь одним махом взлетел в седло и сдернул с головы шапку, что – Даша знала – у туземцев считалось высшим знаком почтительности по отношению к женщине.

Очень довольная собой, она прошла в отцовский кабинет и провела беседу просто блестяще.

Сказала, что спасением жизни, чести и рассудка обязана прежде всего Олегу Львовичу Никитину, который руководил экспедицией и лично вынес пленницу из вражеского логова на своей спине. Прочие участники дела не более, чем помогали ему – кто больше, кто меньше. Ежели батюшке дорога единственная дочь, он должен щедро вознаградить этого достойнейшего из людей.

– Так это всё Никитин? А я думал, твой поручик расстарался. – Александр Фаддеевич выглядел удивленным. – И что ты захочешь отблагодарить Мангарова на свой лад... Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Я уж внутренне и смирился, хоть он тебе ни с какой стороны не партия.

– Насчет моих чувств к Григорию Федоровичу вы, батюшка, ошибаетесь. Там нет ничего кроме дружеской приязни – во всяком случае, с моей стороны. Но дело не в том. По справедливости главная честь должна достаться главному герою. А это без сомнений господин Никитин.

– Хм. Чем же, по-твоему, могу я его отблагодарить, чтоб он не обиделся? Ты ведь знаешь, он не простой унтер, кого можно одарить деньгами.

– Дайте ему то, в чем он более всего нуждается. Офицерский чин, а с

ним – свободу. Вы нынче исправляете должность главнокомандующего. Производить нижних чинов в прапорщики – ваше право.

Отец закричал.

– Так-то оно так, но, душа моя, ведь он из каторжников. Их без высочайшего соизволения выпускать в офицеры не принято...

– Не принято или запрещено?

– Ну, прямого запрета нет, однако же прежний главнокомандующий на себя такой смелости не брал. А мое положение пока не определено. Ежели министр приедет и сочтет мой поступок дерзостным, меня могут не утвердить...

– А вы ему напомните, что благодаря Никитину российская держава сохранила у себя в залоге сыновей горских князей. Да за это не в прапорщики – в генералы произвести мало!

И не ушла из кабинета до тех пор, пока Александр Фаддеевич не подписал по корпусу приказ о производстве унтер-офицера Олега Львова Никитина за выдающуюся заслугу в пехотные прапорщики.

Список с приказа Даша сама отвезла на Ставропольскую улицу и велела отнести во флигель, приложив цветок гвоздику, символ свободы. Сама не пошла – на то была причина.

Дело в том, что попав к настоящему зеркалу, более безжалостному, чем озерная вода, Даша увидела, что до пристойного вида ей еще очень далеко. Придется потратить несколько дней, чтобы привести в порядок кожу, волосы, руки. На плечах, которыми она пробовала соблазнить Олега Львовича, оказывается, темнели синяки от ударов о камни, ляжки были все в кровоподтеках после скачки, губы растрескались.

Для разработанного Дашей плана всё имело значение, в том числе и ляжки. Поэтому несколько дней показываться Никитину было нельзя. Он увидит ее не иначе как в сиянии прежней – и даже еще более ослепительной – красоты.

План был смелый, даже отчаянный. Еще несколько дней назад Даша ни за что бы не поверила, что подобный прожект может прийти ей в голову. Еще и время подстегивало. В Серноводске ждало письмо от Незнамовой. Та писала из Москвы, что соберется в два дня и со всей возможной скоростью поспешит на Кавказ. Сердечные благодарности, выраженные самым искренним и трогательным образом, Дашу не тронули. Она только прикинула: писано седьмого июня; выехала, стало быть, девятого; если будет щедра на почтовых станциях и помчит без остановок, может оказаться в Серноводске уже тридцатого. То есть через неделю. Четыре-

пять дней, не более того, оставалось, чтоб залечить синяки и ссадины. А потом – помолиться Всевышнему о ниспослании победы, и на штурм. (Вот когда сказалась отцовская кровь – Даша и сама не заметила, как перешла на военные термины).

Расчет был на два фактора: необузданную страстность мужской природы и никитинское благородство.

Ведь чем объясняется столь долгая верность Олега Львовича той, кого он не видел шестнадцать с половиной лет? Тем, что он ее, чистую девушку, лишил невинности.

Ну так надо сравняться в этом с Незнамовой. И тогда посмотрим, какой долг благородства перевесит – перед проступком давним или совсем свежим? Для кого, спрашивается, утрата невинности существенней – для юной девушки безупречного положения или для перезрелой дамы, у которой так или иначе всё в прошлом? Пусть Незнамова приедет, и Олег Львович просто возьмет и сравнит их обеих. Как бы чудесно ни сохранилась Алина Сергеевна, тридцать четыре года для женщины – почти старость. Уж, верно, Никитин запомнил ее совсем другой.

Даша неотчетливо представляла себе, что такое – пресловутое «лишение невинности». Барышни ее круга обычно узнавали сведения этого рода накануне свадьбы – от маменьки либо, если девушка, как Даша, сирота, от какой-нибудь старшей родственницы.

Но детали Дашу не тревожили. Мужчины сами знают, как и что нужно делать. На то они и мужчины. Никаких сладострастных картин она себе не рисовала. Довольно было вспомнить вкус его пота, вообразить запах волос, и начинала кружиться голова. Ну, они будут обниматься, целоваться, потом, совсем раздетые, лягут на постель, и случится что-то, одновременно страшное и прекрасное, о чем не пишут в романах, но на что всё время намекают.

Чудесное преимущество женщины перед мужчиной заключается в том, что мужчина никогда не откажется, если ты сама предлагаешь ему это. Отчего так, она не знала. О мужской необузданности Даша знала очень мало, лишь понаслышке. Видно, так уж устроено природой. Мужчина всегда этого хочет, и только от женщины зависит, осчастливит она его сим даром или нет.

На четвертый день она сочла себя готовой и решила далее не медлить. Отправила Никитину записку: «Прошу Вас быть ко мне в полночь. Никто не должен об этом знать, никто не должен Вас видеть. Пробежитесь в наш сад. Я оставлю дверь на веранду незапертой. Умоляю, приходите! Это

ОЧЕНЬ важно».

Что Олег Львович придет, она нисколько не сомневалась. Он – рыцарь, он не сможет не откликнуться на мольбу дамы. Подумает, что она нуждается в срочной помощи. Пускай. Лишь бы пришел, а там уж она знает, что делать.

Прислуга у Даши была приучена без вызова не являться. В саду после темноты никому кроме генеральской дочери, любившей романтический лунный свет, гулять не разрешалось. Единственным препятствием для ночного гостя могла бы стать высокая каменная стена – но только не для Никитина, которому было нипочем с тяжелой ношей вскарабкаться на отвесную скалу.

Итак, Даша была уверена: он придет. И приготовилась со всей продуманностью: мягкое освещение, чтоб распущенные волосы посверкивали золотыми искорками; легкий архалук алого шелка; вышитые татарские туфельки без каблуков – она казалась в них такой миниатюрной, почти эфемерной.

Ровно в двенадцать, едва последний раз звякнули каминные часы, послышался осторожный стук в стеклянную дверь.

Сердце Даши тоже звонко застучало, но не от девической робости, а от упоения. Она чувствовала себя повелительницей мира, владычицей ночи – всё было ей подвластно.

– Дарья Александровна, что случилось? Верно, что-то особенное, коль вы призвали меня в такой час?

Он был в сюртуке, при сабле. Бороду сбрил – какой же офицер с бородой? – и от этого помолодел лет на десять. «У него очень красивые черты, – подумала Даша. – Я и не замечала. Как идет этому лицу выражение тревоги! Но ему идет любое выражение...»

– Да, случилось нечто особенное... Прошу вас, входите и затворите дверь.

Они остановились посередине комнаты – точно там, где Даша наметила. Два канделябра, слева и справа, подсвечивали ее, создавая сияющую ауру.

– Что такое? Вы меня пугаете. Говорите! Я здесь, чтоб помочь вам.

И она сразу, без прелюдий, сказала главное:

– Да, только вы можете меня спасти. Я пропадаю. Хуже, чем в черкесском плену. Я люблю вас. Безумно люблю. Это чувство сжигает меня. Один вы способны затушить этот огонь. Таким же пламенем!

Хоть текст был выучен наизусть, голос все равно дрожал и срывался. Даша закрыла глаза – теперь он, конечно, заключит ее в объятия.

– Вы очень смелы, – медленно произнес Никитин. – Вы необыкновенная девушка. Но...

– Не надо никаких «но»! И не играйте со мной в Онегина. Я знаю, что делаю. Я хочу стать вашей! Сей же час!

Уж, казалось бы, всё сказано. Проговорить это было нелегко. Почему он не делает шага ей навстречу? Зачем заставляет просить? Должно быть, считает ее порыв блажью, в которой она завтра раскается?

– Мне все равно, что будет потом, – продолжила Даша, читая в его взгляде смятение. Кто бы мог вообразить, что эти голубые, всё на свете повидавшие глаза способны быть растерянными? – Олег Львович, я не потеряла голову – она ясна. Вы – вся моя жизнь. Без вас я погасну, как задутая свеча. Не думайте ни о каких преградах, прошу вас. Забудьте обо всем! Ведь вы не монах, а я не статуя. Ну же!

Она протянула к нему обе руки. Господи, ну что еще нужно сделать, чтобы он шагнул к ней?

– Я не монах. И никогда не жил по-монашески. – Руки пришлось опустить – Никитин не тронулся с места. – Ни в прежней жизни, ни в ссылке...

Даша перебила:

– Зачем вы мне это говорите? Зачем вообще говорить? Просто обнимите меня!

– Постойте... Я должен объяснить. Понимаете, есть одна женщина... Я люблю ее. Давно.

Вот оно, началось! В глубине души она знала, что одним любовным признанием и распростертыми объятьями дело не решится. Надо дать ему выговориться.

– Когда-то она повела себя так же смело, как вы сейчас. – Олег Львович говорил медленно. Слова давались ему с трудом. Смотрел он не на Дашу, а в пол. – Но по-настоящему я научился ценить и любить ее только в разлуке. В Сибири женщины полнокровны и смелы, они не боятся чувств... Повторяю, я вовсе не монах. Но однажды я сказал себе: больше не будет никого, пока я вновь с ней не встречу. А если нам не суждено встретиться, пусть вообще больше никого не будет. Уж этой-то малостью я могу отблагодарить ее за столько лет верности. Я дал себе слово. И я его не нарушу.

Даша слушала – и не верила.

– Вы от меня отказываетесь? – ошеломленно спросила она. – Разве так бывает? Быть может, вы не поняли? Говорю же – я ваша! Совсем ваша.

И она показала вглубь комнаты, где за раздвинутыми портьерами

виднелось ложе. Готовясь, она сняла одеяло, решив, что оно неромантично, и щедро опрыскала простыни духами.

– Простите меня. – Он стоял перед нею, всё так же опустив голову. – Простите...

Но Даша еще не исчерпала всего своего арсенала. У нее оставалось тайное, непобедимое оружие. Причина, по которой это средство считалось всемогущим, была ей не вполне ясна. Однако известно: ни один мужчина перед этой силой не устоит.

Оружие называлось «Нагота». Если женщина, отбросив стыд, откроет свою Наготу, с мужчиной происходит что-то невероятное – обнаженное женское тело притягивает его, словно магнит. Конечно, в том случае, когда Нагота прекрасна.

Накануне Даша, раздевшись, долго рассматривала себя в зеркале, сравнивала со статуями богинь из альбома «Сокровища Эллады». Ей-богу, она была нисколько не хуже наяд или диан.

Решительный, неотразимый аргумент был припасен именно для такого случая – если Олег Львович окажется чересчур щепетилен.

Даша потянула поясок архалука, под которым ничего не было. Скинула легкий шелк, шагнула из тужурки и вновь простерла руки.

На, бери меня! Я твоя!

Средство действительно было сильное. Никитин зажмурился, качнулся от Даши так, что чуть не упал.

Бормоча всё то же («Простите меня, простите...»), он кое-как дотянулся до двери, спиной толкнул ее, вывалился на террасу.

Она кинулась за ним, но замерла на пороге. После освещенной комнаты разглядеть что-либо в саду было невозможно.

Шел мелкий дождик. Качались ветки, блестя влажными листьями, – и всё. Олег Львович исчез.

Капитан Иноземцов

У Платона Платоновича была полезная особенность организма: подобно Наполеону Бонапарту, он обходился всего четырьмя часами сна в сутки, причем эту норму мог распределять по частям. Привычка спать урывками в любое время дня и ночи развилась в нем вследствие морской жизни, когда в любой миг жди всякой неожиданности, и просыпаться нужно в секунду, без раскачиваний. Мало ли что: рифы, внезапный шквал, нападение пиратов или, не приведи Господь, бунт в команде. (Последние две крайности, правда, носили скорей гипотетический характер, поскольку в нынешние просвещенные времена морские разбойники встречались только в китайских морях, а команда у Иноземцова бунтовать никак не могла, ибо не с чего.) Однако хороший капитан должен всё предвидеть и быть ко всему готов. Поэтому большую часть своей жизни Платон Платонович проводил в размышлениях о возможных каверзах судьбы и соответствующих контрмерах. Таковы, собственно, все настоящие капитаны (и, шире, все настоящие начальники, которые чувствуют себя за всё в ответе), но Иноземцов считал свою предусмотрительность чертой маниакальной и немного ее стыдился. Иногда он разглядывал себя в зеркале, выискивая признаки иудейского происхождения, ибо известно, что стремление всюду подстелить соломки более всего характерно для этого осторожного племени. Но лицо было обычное, русское. Приходилось объяснять привычку перестраховываться исключительно боязливостью характера. Ах да: Платон Платонович считал себя человеком трусоватым, хоть не имел для этого совершенно никаких оснований, и все, кто его знал, ужасно удивились бы, если б он вдруг разоткровенничался на эту тему. Но откровенничать с кем-либо было не в обычае капитана. Он вообще предпочитал слушать, а не говорить.

Утром 27 июня, чисто выбритый и аккуратно одетый, попыхивая сигарой, Иноземцов сидел у себя и писал наставление старшему помощнику, оставшемуся командовать клипером «Кладенец». Инструкции эти, чрезвычайно подробные и состоявшие из множества пунктов с подпунктами, Платон Платонович отправлял с каждой почтой. Ночью, отослав свои немногие положенные часы, он лежал и мысленно составлял перечень, а с первым светом зари садился всё записывать. Не то чтоб капитан не доверял своему заместителю (тот был надежней самого точного секстана), но одна голова хорошо, а две лучше. Старпом был еще большей

занудой, чем Платон Платонович, и отвечал отчетами вдвое длинней иноземцовских.

Часа два капитан излагал свои соображения относительно того, как и где разместить мастеров с семьями, прибывающих в Севастополь для дальнейшего перемещения в русскую Калифорнию и Аляску. Особенно его заботило присутствие на корабле женщин, к повседневному общению с которыми экипаж клипера непривычен.

Потом Платон Платонович перешел к параграфу еще более экзотическому: о переоборудовании ромового погреба в детскую комнату (ибо ведь где женщины, там, вероятно, и дети?). Вдруг пришло в голову страшное: что если какая-нибудь из жен окажется брюхата и вздумает рожать посреди океана, да еще в шторм? Очень возможная вещь. И капитан приписал подпункт: лекарю Альфреду Карловичу пройти в береговом госпитале курс акушерского знания, которое из его плешивой головы за ненадобностью наверняка давно выветрилось.

Именно в этом трудном месте письма дверь без стука распахнулась. Платон Платонович с удивлением поднял глаза и увидел перед собой своего приятеля Григория Федоровича Мангарова. Тот был не похож на себя: встрепан, небрит, с дико вращающимися глазами.

– Я вызвал Никитина! – выпалил молодой человек. – А вас прошу быть моим секундантом.

Долгая жизнь в море приучила Иноземцова не терять спокойствия ни при каких неожиданностях. Он лишь застегнул крючки на вороте.

Невозмутимо сказал:

– У вас верно горячка. Надобно выпить воды и лечь. По крайней мере сядьте.

Поручик упал на стул.

– Доктор тоже про горячку... И отказал. Но ему я не могу всю правду, он болтлив, а вам расскажу. Вы – могила, я знаю.

– Покорно благодарю. «Могилой» меня еще никто не обзывал.

Это Платон Платонович нарочно пошутил, чтобы немного разрядить обстановку. А за доктора счел необходимым заступиться:

– Напрасно вы о Прохоре Антоновиче. Он любит поговорить, но чужим лишнего не скажет.

– Ну не скажет, так в дневник себе запишет. Он ведь наверняка какой-нибудь дневник ведет! Поклянись, что это останется между нами, и я всё вам расскажу.

– Клясться я не умею. Но вы можете быть совершенно покойны.

Иноземцов уже видел, что это никакая не горячка, и всерьез

забеспокоился. Он подумал: ежели отказать, этот сумасброд побежит искать секунданта в другом месте.

– Итак, я вас слушаю.

Мангаров оперся локтями на стол, обхватил голову и полупростонал-полувзрыднул:

– Я люблю Дарью Александровну. Всем это известно... Признаюсь вам в тайной нескромности. По ночам я иногда пробираюсь в сад Фигнеров, стою под ее окнами – и если увижу мелькнувшую на шторе тень, то бываю счастлив. Никаких непристойных устремлений у меня никогда не было... Боже, до чего ж я глуп, до чего смешон и жалок! – Он замычал, но скорей не от горя, а от ярости. Это утробный звук еще больше встревожил Иноземцова. – Минувшей ночью, после полуночи, я тоже оказался у ее окон. Я увидел, что она не спит. По временам мне слышался ее голос. Слов я разобрать не мог, но интонации были взволнованные, даже страстные. Я думал, она сама себе читает вслух какой-нибудь роман. Вдруг... – Лицо Григория Федоровича исказилось. – Вдруг дверь, ведущая на террасу, распахнулась. Из спальни мадемуазель Фигнер воровато выскочил какой-то офицер и, пробежав мимо, скрылся в кустах. Я узнал Никитина! Он был у нее ночью! Это ему адресовались ее страстные речи!

– Погодите, погодите. – Капитан твердо взял молодого человека за руку. – Да мало ли что? Госпожа Фигнер могла вызвать к себе Олега Львовича по какому-нибудь неотложному делу. Она чтит его, видит в нем друга и защитника. А вы уж сразу напридумывали! Пошли бы к Никитину и спросили прямо. Уверен, он бы вас успокоил. Не спросясь, вызывать товарища на дуэль – экая дурость!

– Всего, что я увидел, нельзя сказать даже вам. О, если б я мог вырвать себе глаза! – Мангаров судорожно потер веки, словно, в самом деле, желал себя ослепить. – Никаких сомнений быть не может. Они любовники... Я не помню, что делал и где бродил остаток ночи. Кажется, катался по земле. – Он поглядел на свою запачканную черкеску, на продранный локоть. – Не знаю, как я не сошел с ума. А может, и сошел.

– Похоже на то, – заметил Платон Платонович. – Иначе вы не заподозрили бы Олега Львовича в неблаговидности. Право, уж вам ли его не знать?

– О, я наконец его понял! Понял до конца! – Взгляд поручика засверкал ненавистью. – Лучше, чем все вы! Он – сатана! Он воспользовался невинностью Дарьи Александровны, ее искренней благодарностью. Мне ль не знать, как Никитин умеет располагать к себе, пролезать в душу, очаровывать этим своим показным благородством?

Старый коварный сатир! Когда настало утро, я бросился к Даше. Я желал предостеречь ее, открыть глаза на этого страшного человека. Что вы думаете? Мне сказали: она уехала, еще ночью. Обесчещенная, опозоренная, опомнилась – и бежала прочь. И я понял: без возмездия такую гнусность оставлять нельзя. Поруганная честь девы и преданная дружба вопиют о мщении!

– Вы не могли бы изъясняться без театральности? – поморщился моряк. – Что это вы в самом деле: «дева», «вопиют»? Так нормальные люди не говорят.

– Пусть я ненормальный! Как я могу быть нормальным, если у меня расплюсчен мозг и раздавлено сердце?

– Ну вот опять. Вы как вызвали Олега Львовича – устно или письменно? – спросил Платон Платонович, чтобы оценить размеры «пробоины» (этим термином он называл любые беды, где бы они ни случались – на суше или на море).

– Я хотел послать ему письменный картель. Потому что боялся не подобрать слов при личной встрече. Но по дороге от дома Фигнеров встретил его на бульваре. Он, иуда, протянул мне руку! Тут уж я сдержаться не мог. Я влепил ему пощечину и крикнул, что вызываю его стреляться – безотложно, сегодня же! Он что-то говорил мне вслед, но я не слушал. Больше я не произнесу с этим негодяем ни слова! – Мангаров вытер вспотевший лоб. – Ну вот. Теперь вы всё знаете. Согласны быть моим секундантом или мне искать кого-то другого?

«Пробоина на самой ватерлинии, – подумал Иноземцов. – Дело дрянное».

– Вы ударили Олега Львовича по лицу? Ну так считайте, что вы мертвец. Знаете ли вы, что некогда он был вынужден уехать за границу, потому что застрелил на дуэли человека, который его ударил?

– Наплевать! – прошептал Мангаров. – Если я умру, это еще лучше. Нам двоим нет места на земле! И наплевать, если я говорю, как Грушницкий!

– Кто-кто? – переспросил Платон Платонович, у которого круг чтения был весьма обширен, но совершенно не включал беллетристики. – Впрочем, неважно. Хорошо, я согласен. А доктор, верно, не откажется быть секундантом у Никитина.

«Мы с Прохором Антоновичем уж как-нибудь попробуем это уладить», – мысленно присовокупил он. Хотя пощечина на бульваре, конечно, сильно осложняла дело.

У Григория Федоровича всё уже было продумано.

– Вот мои условия. Менять их я не намерен. Разве что в сторону ужесточения. Мы стреляемся непременно сегодня. На пяти шагах, чтоб после не говорили, будто я воспользовался своей известной всем меткостью. А насчет места – доктор его знает. Я не случайно помянул Грушницкого. На той самой скале он дрался с Печориным. Всё, ничего не желаю слышать! – замахал он рукой, видя, что Иноземцов хочет возражать.

Подхватил саблю и выбежал.

В крайнем волнении, которое, однако, было совсем не заметно со стороны, Платон Платонович пошел во флигель к Никитину, но соседа своего не застал. Остался ждать, однако вместо Олега Львовича пришел Кюхенхельфер.

Полное лицо доктора всё дрожало и прыгало. Он получил от Никитина записку с просьбой быть секундантом и пришел отказываться. Во-первых, потому что дуэли противоречат его принципам, а во-вторых, потому что обоим забиякам надобно поставить пиявок и прописать ледяной душ – тогда они, глядишь, вернутся в рассудок.

– У нас с вами нет выбора, – сказал ему Платон Платонович. – Что тут поделаешь, если один хочет стреляться и другой тоже. Да еще пощечина. Как, вы не знали? – Он рассказал о происшествии на бульваре, но о ночном инциденте в саду умолчал, будучи связан словом. – Так что стреляться они будут и без нас. Привозите Олега Львовича в назначенное место. Попробуйте по дороге его смягчить. А я поговорю с Григорием Федоровичем.

Доктор, как человек эмоциональный, немедленно увлекся этой идеей и о прогрессивных принципах позабыл. Он был очень высокого мнения о своем даре убеждения, намеревался растолковать Олегу Львовичу, человеку умному, что поединки – средневековые и варварство. Кстати вспомнил и о том, что у него есть пара отличных дуэльных пистолетов, подарок излеченного ротмистра. Уж секундантствовать так секундантствовать.

Уговорились встретиться в шесть вечера у скалы, дорогу к которой Прохор Антонович не только объяснил, но и нарисовал. Оказалось, что на этом месте придуманной сочинителем Лермонтовым дуэли (доктор объяснил капитану, кто такие Печорин с Грушницким) за последний год произошло несколько настоящих поединков, притом два с печальным результатом.

В отличие от доктора, Иноземцов был невысокого мнения о своем даре убеждения. По пути к месту дуэли он несколько раз попробовал отговорить молодого человека от убийственного намерения, но Григорий Федорович

всякий раз пришпоривал коня и вырывался вперед. Верховая посадка у Платона Платоновича была, как у большинства моряков, неважнецкая, стилия «кошка на заборе», лошадка тоже не из рысистых, поэтому угнаться за офицером не получалось. Мангарову же, видно, не терпелось скорее пролить кровь – неважно, чужую или свою. Он сердито оглядывался, просил поторопиться.

Скверное предчувствие, с утра одолевавшее капитана, делалось всё тягостней. Надежда оставалась только на Кюхенхельфера.

Ужасное впечатление произвело на Иноземцова выбранное место. Это была торчащая наподобие одиночного рифа скала, куда пришлось подниматься по крутой дорожке. Наверху оказалась ровная овальная площадка. В самом узком ее участке от края до края было десять или двенадцать футов.

– Они стреляли по жребию, – сказал Мангаров, очевидно, снова имея в виду произведение Лермонтова, – а мы встанем друг напротив друга и будем палить разом, по команде.

Капитан наклонился, посмотрел вниз, на зазубренные камни.

– Это будет не дуэль, а двойное самоубийство.

Полоумный мальчишка на эти слова только улыбнулся.

Через четверть часа на смирном мерине притрусил Прохор Антонович. На скалу он вскарабкался в два приема и долго не мог отдышаться. В одной руке у него был докторский саквояж, в другом – плоский деревянный ящик.

– Получил записку от Олега Львовича, чтобы не ждать его, а ехать прямо сюда, – пояснил Кюхенхельфер и сделал капитану бровями: что, мол, у вас? Уговорили?

Платон Платонович покачал головой. Он чувствовал себя, как в Тихом океане перед надвигающимся ураганом: на тебя несется черная туча, сулящая кораблю гибель, а деваться некуда.

– Заряжайте пистолеты, – велел Мангаров. – Что зря время терять?

Доктор отказался, пролепетав: «Я не умею». Иноземцов сказал, что уметь-то умеет, но не станет. Тогда поручик, чертыхнувшись, сделал это сам.

– Вот, накрываю их платком. Выбирать будет он, первым. Чтоб, если осечка, потом не говорили... Смотрите, как я это делаю!

Секунданты отвернулись.

– Скачет... – тонким голосом произнес Прохор Антонович.

Иноземцов и сам уж видел, как от города по дороге, окутанный облаком пыли, мчится всадник.

Это был Олег Львович. Он привязал лошадь рядом с остальными и

стал быстро подниматься по тропинке. Когда стало видно его лицо, Платон Платонович очень удивился: оно сияло счастливой улыбкой. Таким капитан своего друга еще никогда не видывал.

Заметил странную веселость своего врага и Мангаров.

– Только никаких примирений! – задыхаясь от жажды немедленного отмщения, прохрипел он. – Вообще никаких слов! Берем пистолеты, встаем по краям, по команде стреляем – и дело с концом. Доктор, вы досчитаете до трех.

– Я не умею, – тем же тоном, что давеча, повторил Кюхенхельфер. У него дрожали губы, глаза под очками всё время мигали.

– И я не стану, – сердито сказал капитан.

– Ну так я скомандую сам. Или, может, он захочет. Мне все равно!

А тут на площадку поднялся и Олег Львович. С непонятым удовольствием огляделся вокруг, сам себе кивнул.

– Отлично. Именно то, что нужно. Тут сбежать некуда, так что господину Мангарову придется меня выслушать. Платон Платонович, загородите-ка тропинку.

Зачем Никитину это понадобилось, капитан не знал, однако немедленно выполнил приказание. На мостике распоряжается кто-то один, а Олег Львович всегда знает, что делает.

– Я не стану ничего слушать! – закричал мальчишка и заткнул уши.

Вид у него был преглупый. Сколько он так простоит – минуту, пять?

– Господа, нынче счастливейший день моей жизни, – сказал Никитин, обращаясь к моряку и доктору. – Представьте: она будет здесь уже завтра!

Выяснилось, что Мангаров всё отлично слышит.

– Как? – воскликнул он. – Даша возвращается?

– Приезжает та, кого я люблю. – Никитин смотрел на своего оскорбителя холодно и спокойно. – Моя невеста Алина Сергеевна Незнамова. Я получил письмо из Ставрополя. Она была бы здесь еще третьего дня, но захворала горничная. Однако девушке уже лучше, и завтра мы с Алиной Сергеевной встретимся. Не могу поверить...

– Вы еще гаже, чем я думал! – бросил ему Мангаров. – К нему невеста едет, а он...

Олег Львович продолжил:

– Я догадался, что с вами. Вы откуда-то узнали о том, что произошло минувшей ночью?

– А что произошло ночью? – спросил Кюхенхельфер. – Вы все что-то знаете, один только я не поставлен в известность. Это нечестно!

– Молчите, не то я выстрелю в вас безо всякой дуэли! – прошипел

Никитину поручик.

– Вас обманули. – Олег Львович качнул головой, будто чему-то удивляясь. – Ничего такого, что вы вообразили, меж нами не было.

– Не лгите! Я был там и все видел! Я стоял в кустах!

– Что вы видели? Что я от нее вышел?

– Да! А она вас провожала!

– И только?

– Не только, не только! – Григорий Федорович рванул воротник бешмета. – Я видел ее! Я видел всё! Понимаете?

Никитин кивнул:

– Понимаю. Дарья Александровна – девушка необыкновенная. Отчаянной смелости и беззаветной искренности. Она желала сделать мне дар, который я принять не мог, потому что люблю другую. Вы меня знаете, Григорий Федорович. Я не имею привычки лгать. Ваше оскорбленное чувство мне понятно. Но я перед вами ни в чем не виноват. Нашим отношениям конец. Вы никогда не сможете простить мне удара по вашему самолюбию, а я не имею привычки прощать удары по лицу. Двадцать лет назад я убил из-за этого человека и казнюсь всю свою жизнь. Повторять это преступление я не намерен. Но коли вам охота стреляться, извольте. Где мы встанем? Вероятно, в самом узком месте? Что ж.

Он взял из-под платка первый пистолет и подошел к самому краю скалы.

– Готовы? Ну, на раз-два-три.

Платон Платонович прикусил нижнюю губу. Ему нестерпимо хотелось вмешаться, но снова: на мостике двух капитанов не бывает.

Доктор закрыл руками очки.

Быстро досчитав до трех, Никитин выстрелил на воздух.

– Что же вы? Стреляйте, – хладнокровно сказал он поручику.

Тот с размаху швырнул пистолет о камни и, оттолкнув Иноземцова, побежал вниз по тропинке.

– Человек я не верующий, но в данном случае перекрещусь и даже трижды, – объявил Прохор Антонович, после чего немедленно исполнил обещание.

Потом сел на корточки, осмотрел треснувшее оружие.

– Я всё понимаю, но к чему ломать хорошую вещь? Ох молодость, молодость...

Майор Честноков

По утрам, едва разомкнутые сонные вежды сощурятся на сияние восходящей денницы, любил Иван Иванович потараканить пухлую, дебелую да сдобную Капитолину Семеновну, пока та еще не пробудилась. Оно и для здоровья хорошо, и для настроения победительно, и вообще помолодецки. Однако ныне воздержался – не такой день, чтоб беса тешить. Встал он рано, чтобы поспеть к заутренней. И помолился, и к благословию подошел, и свечку поставил.

Большое дело замыслил майор Честноков, титанического размаха, орлиной высоты. Всё приготовил, рассчитал, предусмотрел. И сегодня великий его прожект должен был свершиться.

Жизненный закон, по которому существовал Иван Иванович, гласил: человек не должен довольствоваться малым, ежели может достичь большего. Вверх надо стремиться, возвышенную душу иметь, воспарять к самым звездам – и тогда всё тебе покорится.

Ведь сил-то много, мысль остра, сердце бесстрашно – как же при таком недостатке природных дарований да крылья не расправить? Иль не в России живем? Страна – золото, а время – самое благорасположенное к умным и решительным людям. Грех тому, кто в таких условиях свои таланты погребет.

Многие прежние сослуживцы Честнокову завидовали. Считали, сытно устроился. Оно вроде и верно, должность у Ивана Ивановича была отменная, грех Бога гневить. Другой кто, с душою невозвышенной, сидел бы в полном удовлетворении и, как говорится, не рыпался.

Главное, что служебное поприще в свое время было выбрано безошибочное, для российского государства самое правильное. И дело вовсе не в том, что жандармский офицер получает жалованье втрое против армейского. Что жалованье? Кто и когда на Руси им довольствовался? Одни дураки.

Есть, конечно, и в жандармском корпусе люди глупые, кто стремится в столице служить, с чужого стола крохи подбирает. Но Россия, судари мои, страна не столичная. Отдались от Питера хоть на небольшую дистанцию – и ты уже не мелкая шушера, а Фигура, которую сам губернатор иль большой генерал остерегается, ибо знают – есть у тебя Секретная от графа Бенкендорфа Инструкция, а в ней среди прочего содержится Пункт 3-«е», где жандармскому штаб-офицеру дозволено «предварять начальников и

членов тех властей, между коими будут замечены незаконные поступки». «Предварять» – слово туманное, впечатлительное. В каких-то случаях скромного чина офицер может оказаться поважнее превосходительных особ.

Что такое, казалось бы, майоришко? Птичка-невеличка. На Среднем Кавказе майоров по штатным спискам чуть не сотня – не считая коллежских асессоров, которые суть тот же чин, только по статской линии. Иные чиновники восьмого класса в гимназиях какой-нибудь древнегреческий иль, тьфу, изящную словесность преподают. Чин – ничто, вот должность – дело другое.

Поставим вопрос. На какой должности в нашем государстве, имея всего две звездочки, можно без риска хороший капитал составить? То есть, конечно, все мы знаем: хлебных должностей вокруг полно, и многие пользуются. Но тут вся штука, чтоб без риска.

Ответ: на той должности, которая приставлена наблюдать за всякой пресущей тварью, сама же никем не наблюдаема. Жандармскому офицеру или, что почти то же, чиновнику Третьего отделения, Власть являет полное доверие и даже дает индульгенцию: живи, кормись, не жалко – лишь не забывай о гражданственном долге, о государственном интересе. Потехе – час, делу – время.

Подведомственную свою территорию, срединный Кавказ, Иван Иванович любил любовью хозяйской – требовательной и рачительной. Ибо она, с одной стороны, конечно, государева, а с другой его, честногоковская, выданная ему в кормление. Нива, быть может, не самая обильная, есть в нашей империи и пороскошной, но устроиться очень даже возможно, если с умом. А ума у майора было много.

Потому за годы кавказской службы Иван Иванович деньжонок прикопил тысяч за сто, да приобрел хороший дом в Москве, да славное именье.

Для финансовых целей было у него две руки: сожительница Капитолина Семеновна (тут приятное вкупе с полезным) и туземец Эмархан (неприятный, но тоже очень полезный).

У Капитолины Семеновны Масловой – первая на всю округу торговля. В магазинах и лавках честногоковской компаньонки товары обильней и дешевле, чем у прочих купцов. Почему так? А вот почему. Мзды она никому не платит (кто ж с приятельницы жандармского майора посмеет деньги тянуть?). Никто не поинтересуется, откуда у ней персидские шелка да турецкие табаки, не контрабандные ли? И еще важно: не было случая, чтоб на масловские караваны горные разбойники напали – а вот с ее

конкурентами подобная неприятность случалась частенько.

Это уж вторая честноковская рука подсобляла. Поначалу Иван Иванович князька-пройдоху сугубо для государственного интереса к себе приблизил: чтоб получать секретные сведения с вражеской стороны. Но присмотрелся к человечку, оценил, подверг испытанию – оказался Эмархан незаменимым помощником еще и в другом смысле. Товар ли через горы провести, с абреками ли договориться, а то пристукнуть какого-нибудь докучного или опасного субъекта – на всё гош.

Как с такими двумя руками да не иметь хорошего дохода?

И главное, поди-ка Честнокова за какую-то из сих конечностей ухвати. Во-первых, вмиг окажется, что никакая это не рука, а так, хвост ящеричный. Во-вторых, кому ж хватать, коли сам Иван Иванович – главный хвататель?

И вообще, люди у нас ныне в стране хорошие, понятливые, удобные для совместного проживания. Не то что в прежние времена. Лет двадцать назад по-другому было, даже не сравнивай. Ни тебе Третьего отделения, ни Жандармского корпуса, вспоминать страшно. Во времена прежнего лихого царствования попробуй-ка кого-нибудь из благородных пугнуть или, скажем, к полезному сотрудничеству побудить. По мордасам бы отхлестали государственного человека, и не заступился б никто.

То ль дело теперь. Увидит, бывало, майор какого-нибудь храбреца вот с этакими усищами, грудь в крестах, да посмотрит на него внимательно, особенным взглядом – и сник гордый сокол, сразу стал и ростом пониже, и в плечах поуже. А потому что авторитетная должность. Да, изменилась Россия при Николае Павловиче, дай ему Боже многая лета. Получшела, матушка, распрямилась на страх сопредельным державам.

Но зато уж если выплывет из прошлого сумрака несуразная особа вроде бывшего дворянина Никитина – беда. Такого особенным взглядом не осадить.

Во испытание был послан Ивану Ивановичу чертов каторжник. Видно, в наказание за грехи. «Больно жестоко караешь, Господи, на столько-то я не нагрешил», – часто повторял Честноков в последние недели.

Прямо наваждением для него стал Никитин, даже по ночам рожа его мерзкая снилась.

Нет, ну в самом деле!

На май месяц наметили с лапушкой Капитолиной Семеновной и Эмарханом важную коммерческую трансакцию: князек проведет от Каспия через немирные горы караван с запрещенным индийским муслином – лапушка товар примет и по лавкам распишет. Вдруг – извольте радоваться –

срочное донесенье из форта Заноза: Шамиль в гости жалует. Караван-то уже в пути и близко, а тут всем кордонам велено принять боевую готовность. И что же? Взяли на перевале весь муслин, осьмнадцать вьючных ишаков! Сам же майор, сердце кровью умывая, рапорт писал о пресечении дерзкого контрабандного ухищрения. У трех компаньонов чистого убытка до двадцати пяти тысяч. Мало того – еще и на служебную репутацию пятно: как это важная военная весть пришла не через честниковских агентов, а от какого-то разжалованного Никитина?

Кое-как Иван Иванович тогда вывернулся – ужом скользким. Будто бы не самочинные лазутчики, а он по собственной цепочке всё проверил и установил. Да только себе хуже сделал! Когда экспедиция в Семиаулье вместо триумфа окончилась пшиком, командующий на своего помощника окрысился: хорошо же ты всё проверил, недреманное око! Отношения с начальником стали у Честного кислые. А кто виноват? Никитин!

Но и тут майор духом не упал. Возник чудесный случай, который человеку дюжинному или робкому не принес бы особой пользы. А Иван Иванович враз понял все перспективы и не сдрейфил, осмелился.

Агент (прозвище «Нулик») по стечению обстоятельств узнал о сумасбродном намерении генеральской дочки тайно навестить своего любовника, сосланного в дальний гарнизон. Будь Честного без полета, просто доложил бы начальнику и получил от него малую благодарность, какой цена грош. А у майора возник орлиный план, со многими выгодами.

Девицу похитить, а после вернуть обратно, взяв на себя всю заслугу. В прибытке – вечная благодарность командующего и кругленькая сумма золотой монетой. Потому что абрекам, которых наймет Эмархан, знать, кого они украли, незачем, а цену выкупа безутешному родителю Иван Иванович сам определит, какую захочет. С князьком уговорились так: деньги пополам при условии, что Эмархан берет на себя организацию, беготню-суетню и все накладные расходы. Он же отвечает за то, чтобы разбойники вернули барышню в целости и сохранности.

Ловкий азиат всё отлично исполнил, ибо знает нужных людишек и распорядителен.

Отцовское горе, как и ожидалось, было беспредельно. Мысленно Иван Иванович уже прикинул, что в обмен на условие о срытии крепостей и возвращении аманатов можно будет сумму выкупа тыщ до шестидесяти-семидесяти взогнать. У Фигнера хороший особняк в Петербурге, несколько поместий, да и капитал от покойницы-жены остался. Это получается, если напополам, тыщ тридцать-тридцать пять, так? А кроме того, коли министр утвердит генерала главнокомандующим, благодарный отец, конечно же,

потянет за собою на повышение и спасителя дочери. Тогда под майором Честноковым окажется весь Кавказ. То есть, уже не майором – поднимай выше.

И вдруг – на тебе! Никитин со своими погаными дружками привозит сумасбродку в Серноводск! Бесплатно, за здорово живешь! Все грандиозные планы – псу под хвост. Эмархан, попусту лишившийся пяти тысяч, на Ивана Ивановича надулся, хотя уговор есть уговор: накладные расходы – не честноковская печаль. Да и кто, спрашивается, рекомендовал никчемного Рауф-бека, у которого запросто пленниц крадут?

Черт с ним, с Эмарханом, сочтемся. Но его превосходительство после этого конфуза к майору вовсе охладел. С учетом грядущего фигнеровского возвышения это было худо.

Но Иван Иванович опять не опустил рук, не расклеился. Из обломков кораблекрушения он немедленно выстроил новый корабль, прекрасней прежнего.

Разлюбил нас генерал-лейтенант Фигнер? Не оценил по достоинствам? Что ж, возьмем прицел повыше, найдем покровителя попомощественней.

Приближалось событие если не исторического, то государственного масштаба – посещение мятежного Кавказа военным министром. Это ого-го какой человек. Титан! Их на всю империю трое всего и есть, первых подручников его величества: граф Александр Христофорович Бенкендорф, ведающий спокойствием державы; управитель всей хозяйственно-экономической части граф Петр Андреевич Клейнмихель; и самый важнейший из триумвиров – князь Александр Иванович Чернышев. Даже не триумвиры они – три кита, на чьих спинах трон стоит.

Его сиятельство князь Александр Иванович крепок, облечен царской доверенностью, и полет его еще не достиг своего зенита. В столице взгляд сего олимпийца на какого-то майора, мелкую букашку, и не обратился бы. Не то – Серноводск. Глуп был бы Честноков, если б не использовал такой редкостной возможности.

Соединилось всё вместе: жестокие удары судьбы, дерзновенные помыслы, изобретательный ум – и из воспламенительной этой смеси воссияла ИДЕЯ. Именно такая, какие больше всего любил Иван Иванович, то есть соединившая в себе государственную пользу, личный интерес, да еще душевную приятность.

Последняя касалась непосредственно гнусного каторжника. Приятно будет сознавать, что он исполнит роль лестничной перекладины для легкой стопы карабкающегося вверх смельчака. Помимо накопившегося к

Никитину частного счета Честноков еще и в принципе не выносил эту человеческую породу. Вывести бы ее окончательно, с корнем, и тогда Россия для таких, как Иван Иванович, будет навек, до донца, своя.

Но лирическими мыслями вроде вышеприведенной майор сегодня тешиться не мог. Слишком многое предстояло сделать.

Министра ожидали к вечеру. Ежечасно по ставропольской дороге прибывали нарочные, докладывали о неспешном продвижении его сиятельства. По рыхлости конституции Александр Иванович быстрой езды не признавал.

Самое нервное – когда всё уже сделал, распоряжения отдал, и томишься в ожидании, ждешь весточки. До самого полудня майор места себе не находил. Ну, как сорвется? Или, того ужасней, всё раскроется? От волнения не обошлось без медвежьей болезни – до шести раз отлучался Иван Иванович в нужное место. Лишь во втором часу на взмыленном жеребце примчался Свинорыл, доставил отрядное известие. Кишечник у Честнокова сразу укрепился.

– Что ж он так расписал-то всё, дурья башка? – с видом неудовольствия, но внутренне ликуя, сказал Иван Иванович толстяку. – А если б письмо попало в чужие руки?

Агент Свинорыл (он, конечно, не знал, под каким прозвищем проходит в реляциях) мотнул брылями, оскалился:

– Нэ попало бы. Я бы глотал.

По привычке Иван Иванович прикинул, не сохранить ли изобличительный документец на случай надобности. Перечитал – нет, нельзя. Только самого себя изобличишь. Надо поскорей сжечь. Но вдруг пришла в голову забавная мыслишка. Улыбнулся сам себе, спрятал интересную бумагу в карман.

Теперь, как говорится в любимой его величеством комедии, «подать сюда Ляпкина-Тяпкина».

За оным майор послал обычного гостиничного рассыльного – чтоб предмет не переполошился.

Главное было сделано. Оставался пустяк, даже и неблагоприятный.

Эмархан

Перед большим делом он всегда спал крепко и сладко. Сны видел сочные, хорошие. В этот раз приснилась Война.

Была она, оказывается, румяной бабой с толстыми грудями, наполненными сладким молоком. Сам Эмархан, малое дитя, требовательно тянул губами сосок. Пил, давился от жадности и удовольствия.

Проснувшись затемно, он тихонько засмеялся – так развеселил его сон.

А ведь верно. Война ему если не родная мать, то щедрая кормилица. Дай Аллах, чтоб никогда не заканчивалась. Что мужчины Кавказа без войны? Все равно как сокол в краю, где перевелась добыча. Или с голоду подыхать, или садиться к ловчему на цепку – клевать мясо с чужой руки.

Горы высились над северной равниной, над южными предгорьями, истинно как гнездовья хищных птиц. Война не прекращалась здесь никогда, тысячу лет или больше. Потому что мало еды, мало удобной земли – всего мало. От вечных войн люди здесь вырастали сильные, выносливые, безжалостные. Когда не было гяуров, дрались между собой. Народов-то много, языков много, все друг другу чужие. Хорошая жизнь. Настоящая жизнь. Если, конечно, ты сильный и умный. Но зачем жить тому, кто не силен и не умен? Только чтоб стать пищей сильного и умного.

Всякое бывало в жизни Эмархана. И к солнцу взлетал, и о землю бился, крылья ломал. Но, едва залечив раны, снова поднимался в высоту.

Один раз майор Честноков, выпив много чихирю, стал говорить что-то подобное и про себя. Даже полеты в небо поминал. Эмархан вежливо поддакивал, а внутри усмехался. Думал: «Не сокол ты, а пес с псарни. Сокол сам, куда хочет, летает, на кого хочет охотится. А ты перед хозяином хвостом виляешь, да сам же у него куски ворует».

Насчет Эмархана майор был уверен, что тот тоже ручной – как сокол с колпачком на голове. Куда Честноков его повернет, туда и полетит. И очень хорошо, пускай верит. Ишак тоже верит, будто погонщик существует, чтоб насыпать ему в кормушку овес. Золотое правило толкового купца: компаньон всегда должен быть уверен, что обдурил тебя.

Где Иванываныч зарабатывал рубль, Эмархан получал два. Потому что вел торговлю не в один конец, а в два. Бабе майора привезет персидского или турецкого товару, а на обратном пути доставит горцам русский порох, которого им вечно не хватает. Или выкрадет и переправит в Дарго нужных

имаму мастеров – пушки лить. То же с военными сведениями. Русским – про горцев, горцам – про русских. Потому и есть у него от Честнокова своя бумага, от Левши (так за глаза звали Шамиля) – своя. С двумя этими пропусками любой караван где хочешь провести можно. Каждая сторона думает, что Эмархан только ей служит. Верблюд тоже думает, будто он – султан природы.

Но сейчас в жизни приключилась черная полоса. Два раза подряд злой Рок подтер Эмарханом свою поганую задницу. Всё нажитое развеялось, как пепел по ветру.

Из-за того, что Шамиль отправился походом в Семиаулье, а русские о том прознали, пропал караван, и Эмархан потерял почти всё, что имел. Для Иванываныча и его бабы караван вез пустяки, тряпичный товар. Но на двух ишаках была нагружена плата от Левши за большой груз пороха, в который Эмархан вложил все, что имел. Шестнадцать пудов серебра достались алчным кордонщикам, чтоб им в аду то серебро расплавили и залили в глотки! Контрабандный муслин в рапорте они указали, а про драгоценный металл – ни гу-гу. Не жаловаться же на них Честнокову?

Пытаясь спасти свое добро, кинулся Эмархан на ту сторону – якобы для проверки полученного донесения. Но спасти караван не успел. Единственное, что сделал ради будущих выгод, – предупредил Левшу о русской засаде. Не хватало еще, чтоб сардар-генерал захватил или убил имама. Кормилица-война такому не обрадуется.

Имама он застал в двух переходах от Семиаулья. Получил награду – именную медаль, обладателя которой в горах никто не тронет, даже самый отчаянный абрек. Эмархан был уверен, что Шамиль повернет обратно. Но хитрый Левша, как узналось после, сказал мюридам, будто ночью ему привиделся вещий сон: он-де должен повернуть назад, а Хаджи-Мурат пускай следует дальше, только не дорогой, а окольными тропами.

Ловко придумано. Потому Левша и правит Кавказом, что умный человек. Рассудил он, надо полагать, вот как: неудачный бунт на вражеской территории лучше, чем никакого бунта. А если к тому же Хаджи-Мурат свернет себе шею, Шамилю двойная польза – не доверяет он своему наибу, опасается.

И вышло всё к выгоде имама. Население Семиаулья ушло на восток. Хаджи-Мурат, хоть сам и не сгинул, но перебил много русских. Война могла быть довольна. Только вот серебро пропало.

Вторым подлым ударом Рока была история с похищением девки, генеральской дочери. Эмархан так хорошо всё устроил, что не сомневался в

успехе. Последние пять тысяч, что еще оставались после пороховой сделки, в дело вложил. Замысел у него был не такой, как воображал Иванываныч. Делить с ним выкуп, бешеные деньги, Эмархан не собирался. Забрал бы всё себе и навсегда ушел на персидскую сторону. С таким-то богатством можно и на покое жить. Но не захотел Аллах давать своему рабу покоя. Тот же гяур, из-за которого пропал караван, лишил Эмархана последнего. И вот – нищета, прозябание на постоялом дворе Лазаряна, где природному князю и коня напоить срамно.

Но горчайшее из падений вдруг обратилось величайшим из везений. Неугомонный Иванываныч соорудил ловкую штуку. Как всегда, грязную работу должен выполнить Эмархан. Что ж, копыту к грязи не привыкать.

Пускай Честноков становится большим человеком. После такой проделки никуда ему от Эмархана не деться. Придется Иваныванычу кунака за собой наверх вытягивать. Теперь они одной веревкой повязаны. Той самой, на которой за шею вешают. Куда один, туда и другой. В будущем это сулило барыши, которые с лихвой покроют всё потерянное.

С аварцем встретились в обговоренном месте – за городом, на холме, под которым проходит Ставропольский тракт. Сколько Эмархан ни оглядывал окрестные кусты, Резу так и не заметил. Тот должен был прибыть много раньше, хорошенько затаиться и держать абрека на мушке. Этот Галбацы – волчище зубастый, с острым нюхом. Если что-то почует и схватится за кинжал, толстяк его успокоит.

Надежный человек Реза, свое дело знает. Единственная тварь на свете, кому Эмархан полностью доверял, на которого мог положиться. Потому что и не человек даже, а полчеловека. А на вторую половину мертвец. Эмархан своего верного пса, можно сказать, с того света за ноги вытащил.

Был Реза рабом и сыном раба, посмевающим возжелать дочери своего хозяина – и не только возжелать, но свершить над нею насилие. Это преступление в горах очень редкое, почти неслыханное. За него в адатах даже кары не предусмотрено. Если такое совершил свободный человек, его просто убьют, как бешеную собаку. Но оскорбленная семья сочла, что для раба обычной смерти мало. Смертью наказали девушку, хоть она была виновата только в том, что далась насильнику живой. А Резу оскостили и вздернули на придорожном дереве. Там, по-собачьи хрипящим и истекающим кровью, его обнаружил Эмархан, ехавший мимо по своим делам. Горцы – не русские, толком повесить не умеют, поэтому Реза был жив. Он, конечно, все равно умер бы, когда в нем закончилась бы кровь. Но

Эмархан веревку перерезал, полумертвеца за ноги отволок в кусты и залепил ему позорную рану. Реза выжил, только остался кривошеим, разжирел и заговорил бабьим голосом.

Самые преданные люди получают из тех, кем все кроме тебя брезгают. За то, что Эмархан скопца-изгоя взял к себе, тот служил ему ревностней, чем джинны Шайтану.

Помощник из него получился бесценный. Был Реза сметлив, бесстрашен и переимчив. Выучился по-русски говорить и читать, даже освоил цифирную премудрость, так что мог вести все потайные счета господина. Такой не уворует. Зачем ему деньги?

Вот какого волкодава припас Эмархан для аварского волка.

Сели они с Галбацы на траву. Поговорили о деле.

– Всё выяснил, – сказал Эмархан. – Мое слово – булат. Можно устроить, что ты хочешь. Трудно, но можно.

– Трудно – это ничего. – Абрек сверкнул своими бешеными глазами. – Я тебе помогу, ты мне. Сколько людей приведешь? Вдвоем не управиться.

– Сколько понадобится, столько приведу. Но много не нужно. Действовать будем не силой – хитростью. Я уж придумал, как Рауф-бека обмануть.

И Эмархан стал врать, как хорошо он всё рассчитал. Общее дело с аварцем у них было – в Канлырой попасть. Якобы надо Эмархану свои деньги вернуть, пять тысяч серебром – бесстыжий сардар, русская свинья, отказался возместить расходы посреднику. А сумасшедшему Галбацы загорелось выкрасть приемную дочь Рауф-бека и еще (о, Аллах!) какого-то котенка. Полоумных людей на свете много, Эмархан хорошо это знал. Знал он и то, что из чужого сумасшествия при умении легко извлечь для себя пользу.

Послушав собеседника, аварец размяк. Улыбнулся, убрал пальцы с рукояти кинжала. Когда Эмархан сказал: «Может, вместе на смерть пойдём. Надо кунаками стать», – ничего не заподозрил. Только предупредил:

– У меня есть кунак. Русский – так уж вышло. Побрататься с тобой могу, только если пообещаешь ему никогда зла не делать.

– Ладно, – беспечно отвечал Эмархан. – Мне проще, чем тебе. У меня нет кунаков. Ты первый будешь.

На самом деле кунаков у него было без счета, и каждому он говорил, что тот – первый. Особенно хорошо, когда кунаком тебя считает враг, как сейчас. У русских есть отличное слово – «предрассудок». Очень удобно, когда у всех предрассудки есть, а у тебя ни единого.

Достал Эмархан бузу и лепешку – куначеский обряд совершить. Разломил хлеб пополам. Галбацы отпил вина, Эмархан тоже набрал полный рот. Потом, прикрывшись ладонью, выпустил струйку себе под черкеску – пока аварец жевал.

Скоро опоенный зазевал, стал тереть глаза. Повесил голову. Повалился. Первая часть работы закончилась.

Не оборачиваясь, Эмархан махнул рукой.

Из колючих зарослей поднялся Реза. Притащил всё, что нужно. Разложил: две винтовки на сошках, готовые патроны. Сверху понавтыкал веток – чтоб получилось укрытие. Эмархан посмотрел, одобрил. Велел Резе снова спрятаться.

Затем проверил, крепко ли спит аварец. Тот постанывал, супил брови, скрежетал зубами – зелье не подвело. Спящий пробудится, только если над ухом выпалить из пистолета.

Вскочил Эмархан в седло, стал поднимать чистокровного жеребца на дыбы, охаживать плеткой, крутить на одном месте. С четверть часа так неистовствовал, чтобы коня в мыло вогнать. Лишь потом вылетел на дорогу и погнал к ближайшему посту – в ожидании министра они были расставлены по всему тракту через каждые две версты.

Завидев бешено мчащегося человека в папахе, на дорогу с двух сторон выскочили казаки с ружьями наготове. Он издали закричал:

– Засада! Там засада! Я прапорщик милиции князь Эмархан!

Когда его окружили, он, задыхаясь, с нарочной бессвязностью, рассказал, что видал на холме, над трактом, блеснувшее дуло длинного горского ружья. Не злоумышление ли на жизнь великого человека?

Урядник гаркнул на казаков, те мигом вывели коней.

– Веди, господин прапорщик, показывай! Дело государево!

Погнали обратно, Эмархан на своем тысячном скакуне оторвался далеко вперед – так надо было.

Соскочил с седла ниже холма, на котором дрых глупый аварец. Наверху грянул выстрел – стрелял Реза, как уговорено. Казаки с гиканьем, выхватывая из чехлов ружья и обнажая шашки, летели наметом. Не дожидаясь, Эмархан ринулся по склону и через несколько мгновений уже был подле Галбацы. Вдруг не пробудился? Нельзя допустить, чтобы его сонным взяли.

Аварец как раз приподнялся, мотал тяжелой башкой.

– Русские! – крикнул ему Эмархан. – Убить меня хотят! Беги, брат!

И нырнул в кусты. Ничего спросонья не понимая, Галбацы поднялся, выхватил кинжал, второй рукой дернул из-за спины пистолет.

Тут-то его и увидели ломящиеся через заросли казаки.

Расчет был безошибочный. Увидав в укромном месте горца с оружием, русские без лишних расспросов кинутся его вязать. А Галбацы не тот человек, чтоб им даваться.

Взвел Эмархан курок своего длинноствольного пистолета, упер дуло меж веток, прицелился. Если аварец оплошает и даст себя обезоружить, надо уложить его наповал.

Однако не о том Эмархан тревожился.

Едва на поляну высыпали казаки, Галбацы без малейших колебаний выстрелил в первого, бросил дымящийся пистолет и той же рукой обнажил шашку, а вторая рука уже всаживала кинжал в грудь следующего врага.

В одно мгновение потеряв двух товарищей, казаки отшатнулись от сверкающего длинного клинка. Развернувшись, аварец побежал к кустам, прыгая то вправо, то влево. Вслед ему стреляли, но, несмотря на близкое расстояние, попасть не могли.

– Сюда, брат, сюда! – негромко позвал Эмархан.

И, когда абрек, услышав, бросился в его сторону, разрядил пистолет почти в упор.

Пуля попала в глаз. Галбацы, поди, и понять не успел, что убит.

Над рухнувшим навзничь телом собрались казаки.

– Ну, князь, выручил, – сказал урядник. – Ушел было, зверюга.

– Э, мать ваша, – заругался Эмархан, как ругаются русские офицеры. – Живым надо было! Упустили! Что я один мог? Только насмерть бить. А если их тут много? Вдруг еще где сидят? Майор Честноков знаешь?

– Так точно, как не знать. От них наш есаул всю инструкцию получил: где караулить и как.

– Надо майору реляция слать! Срочно!

Казачий начальник сдвинул выгоревшие на солнце брови.

– Зачем реляцию? Пошлю нарочного. Иль сам слетаю.

– Нельзя тебе пост бросать. Тут оставайтесь, мертвец стерегите! У мюридов своих мертвых не бросают. Если он не один был, остальные сюда придут! Садись, пиши реляция!

Грамотных урядников Эмархан от роду не встречал. По слогам читать – еще ладно, но писать начальству простой казак не обучен.

– Не письменный я... – зачесал урядник затылок. – Не умею...

– Э, что ты умеешь? Живьем взять не можешь, реляция не можешь! Ладно, сам напишу. Мой нукер доставит. Я ему велел холмы вокруг смотреть.

– Спасибо тебе, ваше благородие! Бог мне тебя послал! Отпиши всё,

как было!

– Реза! Реза! – закричал Эмархан, приложив руку ко рту.

– Охой! – отозвался издали верный помощник – нарочно отбежал.

Реляция писалась долго. Казаки с почтением смотрели, как на бумагу ложатся слова – каждое с завитушкой на конце (своим почерком Эмархан очень гордился). Но подойти сзади и заглядывать через плечо осмелился один Реза.

– Князь, – тихо спросил он на своем родном языке, которого в этих краях никто не знал. – Зачем так подробно пишешь? Разве не довольно сообщить, что аварец мертв?

– Учил мышонок волка, как зайцев ловить. – Эмархан сложил письмо. – Если коротко напишу, он в железный шкаф спрячет, потом против меня использует. Ну, а такое письмо ему только сжечь. Оно для него гибель. Скажи что есть мочи, он ждет. Гляди только, чтоб в чужие руки не попало.

– Ты мудр, я не стою грязи под твоим сапогом, – поклонился Реза. – Письмо это кроме того, кому надо, никто не увидит.

Он был хоть и жирный, но когда нужно – шустрее барса. Несколько мгновений спустя на дороге один пыльный столб остался.

Эмархан достал золотые часы, напоминание о былом богатстве. Двадцать минут пополудни. Через полчаса или около того письмо будет у Иванываныча.

Работа выполнена безукоризненно. Можно выкурить трубку.

Он сел на мертвого аварца, чтоб не пачкать черкеску. И вообще – приятно чувствовать под собой труп врага. Так и табак вдвое слаще.

Урядник тоже закурил.

– Эх, станичников жалко... Однако не зря головы сложили. Верно я говорю, ваше благородие? Я так понимаю, будет нам от начальства награда?

– Будет, как не быть, – подтвердил Эмархан.

НИКИТИН

За день до того, как в Серноводске ожидался военный министр, Олег Львович Никитин битый час был занят непривычным для себя делом – вертелся перед зеркалом. Бороду, в которой седых волос пока было меньше, чем светлых, перед экспедицией в Канлырой он выкрасил в белый цвет, чтоб походить на почтенного аксыра, а по возвращении в лоно цивилизации сбрил. Но этим перемены во внешности не исчерпались. Для соответствия офицерскому званию пришлось остричь волосы и подравнять усы. Ну и, естественно, поменять всю одежду. Полный комплект обмундирования новоиспеченному прапорщику преподнес в подарок доктор Прохор Антонович – у него как раз скончался один пациент, штабс-капитан того же полка и схожей с Никитиным комплекции. Довольно было поменять эполеты.

На них-то Олег Львович в основном и поглядывал, отвлекаясь мыслью от настоящего в минувшее. Точно в таком же чине он был на Бородинском поле, шестнадцатилетним мальчишкой. Вот планета свершила тридцать оборотов вокруг светила – и всё вернулось в прежнюю точку орбиты. Такой же наряд, та же стянутая мундиром фигура, и даже худое, с тонкими усишками лицо, если не приглядываться, почти такое же. Оболочка изменилась мало, да начинка вся другая...

Однако стоило шагнуть к зеркалу ближе, и становилось видно, что прапорщик-то из стреляных воробьев. Морщины у глаз, складки в углах рта, резкая черта поперек лба. Усы, чтоб срезать крашеное, Никитин подстриг совсем коротко, и они, пожалуй, действительно напоминали пух, которым так гордился шестнадцатилетний участник кровавой баталии.

Собственное обличье Олегу Львовичу ужасно не нравилось. В черкеске он, наверное, смотрелся бы лучше, но старая совсем истрепалась, а новая еще не сшита.

Необычность поведения Никитина объяснялась двумя страхами, не оставлявшими его со вчерашнего дня – с того момента, как пришло письмо от Алины.

Узнает ли она его? Ведь столько лет...

И узнает ли ее он?

Последний раз он видал ее девочкой. Даже лица толком не помнил, остался лишь общий image. Что-то хрупкое и одновременно сильное, лучик ясного света, трепет... Зато голос слышал явственно. Голос этот звучал ему

все минувшие годы и очень многое для него значил.

Душа Никитина была закована в непробиваемые латы, выкованные железной волей и суровыми испытаниями. Но каждое письмо Алины словно проделывало в доспехе пробоину, через которую к сердцу тянулась горячая нитка. Если б не боязнь порвать эту тонкую связь с Иной Жизнью, Олег Львович давно уж совершил бы что-нибудь такое, отчего зигзагообразная тропа его судьбы оборвалась. Зияющие пропасти встречались на всяком ее повороте, каменные обвалы угрожали на каждом шагу. К неблагоприятности внешних обстоятельств и природной строптивости характера прибавлялась фатальная невезучесть. Она преследовала Никитина чуть не с самого рождения. Каких только каверз не подстраивала судьба: были шальные пули, было кораблекрушение, возвращение в Петербург именно 14 декабря 1825 года, встреча в лесу с тигром-людоедом – всего не перечислить. Играть в карты и прочие игры или тянуть жребии Олег Львович зарекся еще в юности. Исход можно было предсказать заранее.

Но явную нерасположенность Фортуны он находил совершенно справедливой. Пусть она помогает слабым, а человек сильный обязан управляться и без ее подачек. Ведь достиг же Никитин почтенного возраста, сорока шести лет – и ничего, жив.

Он по праву считал себя человеком исключительной жизненной цепкости. С такими зигзагами другой пятьдесят или сто раз отдал бы Господу душу, а Олег Львович своей разлучиться с телом пока не допустил.

На то были у него правила выживания, простые и немногочисленные – числом пять.

Первое. Рассчитывать всегда только на себя, в этом залог свободы и обязанность всякого истинно свободного существа.

Второе. Не упираться лбом в непреодолимое препятствие – иначе расшибешь голову, ничего не добившись. Умный человек всегда найдет способ обойти преграду и продолжить свой путь. К античным стоикам, всегда готовым погибнуть во имя непреклонности, Олег Львович относился с неодобрением. Кабы была возможность, он сказал бы сим Зенонам: «Не стойте на месте, стоики. Шевелитесь! Помереть с достоинством – штука нехитрая, вы лучше сумеете достойно победить».

Третье. Всё, что с тобой ни происходит, к лучшему. Каждый удар судьбы – не сразу тобою понятый толчок вверх.

Четвертое. Надо уметь приноравливаться к любой среде, сколь угодно враждебной – однако с условием, что ты меняешь не свою сущность, а лишь окрас. Это правило помогало Олегу Львовичу в любом обществе

сразу брать верный тон. Достоинство можно сохранить или потерять в любой шкуре – будь ты кавалергард, каторжник либо нижний чин. Язык и манеры при этом разные, а внутренний стержень тот же.

Ну и пятое, последнее: скорость. Быстрота – та же сила. На горной тропе, изобилующей острыми зигзагами, раздумывать да рассусоливать некогда. Видишь опасность – наноси удар первым, тем и спасешься.

Олег Львович уже переместился от зеркала к шкапу, мучительно размышляя, не лучше ли переодеться в старую черкеску (оно как-то больше соответствует возрасту), когда из гостиницы «Эмс» рассыльный доставил записку.

«Я здесь. Приходите, я жду на веранде. Очень боюсь. Вдруг Вы меня не узнаете?»

Он узнал ее сразу, хотя на веранде было много дам – как раз подошло время пятичасового чая (эта английская мода перекочевала из столиц и на кавказский курорт). Притом Алина оказалась совсем не такой, как он запомнил: ничего хрупкого и золотистого – высокая, статная женщина с черными волосами. Но сомнений не возникло: она одна из всех была живая, а прочие женщины и девицы показались ему куклами. Он на них и не поглядел.

Поднимаясь по ступенькам, Никитин споткнулся, чего с ним вследствие природной ловкости никогда не случалось. Но это, конечно, объяснялось не мистикой, а тем, что он не мог отвести от Алины глаз.

Она тоже смотрела на него не отрываясь. Собралась было – и забыла встать. Узкая рука мяла салфетку.

Не поздоровавшись, даже не поклонившись, Олег Львович сел к ее столику без приглашения, а ведь считал себя человеком воспитанным.

Очень долго, даже трудно сказать сколько именно, они молча глядели друга на друга.

Вдруг Никитин понял, в чем истинная причина страха, с которым он ждал этой встречи.

Все прежние женщины, попадавшие на его пути, были, как запятые в длинном, сложносочиненном предложении его жизни, Алина же – как точка. После нее никого не будет. И ничего не будет. Для мастера науки выживания это звучало страшно.

А в следующую секунду после этого озарения Олегу Львовичу стало смешно. «Чего ж тут страшного?» – сказал он себе и улыбнулся.

Тут же улыбнулась и она, одновременно заплакав.

– Не обращайтесь внимания. Это я от облегчения, – сказала Алина, смахивая слезинку. – Теперь всё будет хорошо. Мы будем жить долго и счастливо.

Память о голосе не обманула. Он был именно такой, какой слышался Никитину все минувшие годы.

Потом всё было гораздо лучше, чем хорошо. Всё было совершенно: очень просто и в то же время головокружительно.

Безо всяких предварительных обсуждений Алина сразу же переехала к Никитину во флигель, оставив горничную укладывать багаж. После бесконечно долгой разлуки не хотелось расставаться даже на час.

Оба были не избалованы счастьем, поэтому каждый его лучик, каждый дополнительный штрих казались волшебством. И чем далее, тем больше.

Им было так невыносимо хорошо, что ночью по молчаливому уговору они даже не кинулись друг другу в объятия. И поцелуев не было, ни единого. Не от стеснительности, не из дани приличиям. Зачем пить драгоценный напиток любви сразу, залпом? Так можно и захлебнуться.

Они не раздевались, не ложились. Сидели в креслах друг напротив друга и по большей части молчали. Если говорили, то коротко и о вещах, мало существенных по сравнению с чувствами, которые испытывали.

Олег Львович, например, сказал, что подал прошение об отставке, но придется ждать два или три месяца.

– Это ничего, – отвечала Алина. – Ведь мы проведем их вместе.

В следующий раз молчание нарушила она:

– Я знаю, у вас ничего не осталось. И у меня средств почти нет. Наверное, мы будем нуждаться.

– В чем? – спросил он с веселым недоумением. Оба засмеялись.

Перед рассветом он сел на пол, положил голову ей на колени.

– Всё в самом деле будет хорошо? – спросила она, пытливо глядя ему в глаза. – Мы больше никогда не расстанемся?

– Никогда.

– Вы мне это обещаете?

– Слово чести.

Тогда Алина успокоилась, откинула голову. Вскоре по ровному дыханию он понял, что она спит.

Уснул и Никитин.

Впервые за бог знает сколько лет ему привиделся сон.

Чудо что за сон, хотя пересказать – ничего особенного. Просто он шел по пустому осеннему полю, мимо маленькой серой реки, в лицо дул

холодный ветер, в небе клином летели птицы. Ни одной горы вокруг, а тропинка ровная и прямая, безо всяких зигзагов.

Утром всё было по-другому. Алина Сергеевна перестала быть кроткой, нежной и молчаливой, а сделалась деятельна и даже воинственна. Она объявила, что живет Никитин ужасно, по-варварски, и, коли им судьба провести тут два или три месяца, надобно обратить квартиру в приличный вид. От помощи Олега Львовича она с пренебрежением отказалась, сказав, что управится вдвоем со своей Наташей. Никитину было велено куда-нибудь уйти, но только недалеко, лучше всего к Иноземцову – и находиться там, пока не призовут.

– Вот еще что, – сказала в спину покорному жениху Незнамова. – Пригласите ваших друзей вечером. Хочу на них поглядеть.

И пришлось Олегу Львовичу переместиться к моряку. Накануне тот, со своей преувеличенной деликатностью, не только не представлялся невесте товарища, но, когда она вошла во двор, еще и удалился в заднюю комнату. Доктор был менее щепетилен, с утра пораньше он был уже у Платона Платоновича и сразу накинулся с расспросами.

Никитин не знал, что отвечать.

– Вечером придете ко мне... к нам, – покраснев, поправился он, – и сами всё увидите.

Кюхенхельфера заинтересовало, в каком смысле «придете». Просто познакомиться или на угощение. «Ведь, верно, будет какой-нибудь ужин? – говорил он. – У семейных людей всегда бывает ужин». Никитин и тут затруднился с ответом, а у его друзей мнения разделились. Оба они были старые холостяки, но Прохор Антонович имел преимущество: среди его пациентов имелось немало людей женатых, в то время как Иноземцова всю жизнь окружали моряки, люди недомашние. Тем не менее капитан заспорил: нельзя-де рассчитывать на трапезу, когда приходишь с первым визитом, – у англичан, например, так не заведено. Доктор сердился, возражая, что Алина Сергеевна, слава Богу, не англичанка.

Никитин же внимал этим прениям с видом растерянным и даже глуповатым, но одновременно и довольным.

В полдень заглянула горничная. Передала, что Олегу Львовичу велено к двум часам быть готовым – его позовут обедать.

– Ну раз у вас дают обед, стало быть, будет и ужин, – восторжествовал Кюхенхельфер. – Вопрос только, умеет ли ваша суженая готовить?

– Она все умеет, – сразу сказал Олег Львович.

Ему вспомнилось, что перед изгнанием Алина ни с того ни с сего спросила, какое блюдо он любит больше всего.

Он удивился и неуверенно ответил: «Право не помню. Раковые шейки?».

Сразу после явления Наташи доктор ушел. К ужину он желал прибыть в приличном виде, а для того нужно было срочно почистить визитный сюртук и кремовые панталоны. Еще он собирался в городскую оранжерею, чтобы лично выбрать цветы – с приятным, но не навязчивым ароматом.

Никитин с капитаном остались вдвоем. Олег Львович думал, что доктор Кюхенхельфер, конечно, превосходный человек, но очень уж много говорит, а с Иноземцовым отлично молчит. С другой стороны, Прохор Антонович пригодится вечером, чтоб не возникало конфузливых пауз. Перспектива этих пауз Никитина очень беспокоила.

Без четверти два прибежал рассыльный из гостиницы «Парадиз». Принес господину прапорщику записку.

Прочитав ее, Олег Львович поднялся, надел фуражку. Ровным голосом сказал, что будет вынужден отлучиться. Пусть Платон Платонович сделает любезность – скажет горничной, когда та придет, что барина, дескать, вызвали по делам службы.

– А сами не хотите предупредить Алину Сергеевну?

– Не стоит. Скорей уйду – скорей вернусь.

Идя через двор и поправляя на ходу португую, он увидел в окне Алину, вопросительно на него посмотревшую. Улыбнулся, сделал жест: мол, я скоро.

За калиткой улыбка с никитинского лица исчезла, оно приобрело несколько сонный вид. Так происходило всякий раз, когда надвигалась какая-нибудь опасность. Олег Львович внутренне не сжимался, как другие люди, а наоборот, словно давал себе расслабиться. Происходило это от привычки полагаться на свое чутье и инстинкты.

Записка, доставленная из «Парадиза», была от жандарма Честнокова: «Ежели вам дорога ваша жизнь а еще более жизнь прибывшей к вам особы, извольте немедленно быть у меня». Никаких предположений Олег Львович строить не стал, не затрепетал нервами. Просто надел фуражку, прицепил саблю и пошел на встречу.

Майор ожидал его у себя на квартире, в хозяйской половине гостиницы. Слуга провел туда посетителя и с поклоном удалился.

Молча, оценивающе, разглядывал Никитин хозяина, который развалясь сидел у письменного стола. На особенном месте, почтительно расчищенном от папок и бумаг, сверкал орлиным кавалергардским шлемом бронзовый бюст государя императора. Еще одно изображение его

величества, в полный рост, но уже в голубом жандармском мундире, висело на стене.

Не дождавшись приветствия или приглашения садиться, вошедший поступил так: без церемоний и субординации, не промолвив ни слова, уселся и кинул на стол записку. Честноков немедленно чиркнул серником – спалил бумажку.

– Вижу, с вами можно без экивоков и лишних слов, – сказал он, одобрительно оглядывая ладную фигуру гостя. – Это хорошо-с. Экономит время. Есть у меня для вас, прелестный господин Никитин, одно очень неприятное известие и одно довольно приятное.

Он сделал паузу – прапорщик молчал, всё так же на него глядя.

– Отлично. Ваше заинтересованное внимание я обеспечил, посему продолжаю. Сегодня, всего час или полтора назад, у нас случилось – верней, было предотвращено – чудовищное дело. Отчасти по воле Божией, отчасти стараниями покорного вашего слуги. Вам, конечно, известно, что нынче ожидается долгожданное событие, приезд его сиятельства военного министра. За меры безопасности отвечаю я. И вот один из моих агентов, исполняя инструкцию касательно дополнительной проверки Ставропольского тракта, обнаружил на оном засаду: затаившегося в кустах «хищника». Тот изготавился сразить князя Чернышева злодейскою пулей, однако был вовремя обнаружен и в отчаянной схватке умерщвлен. Однако ж на сем подведомственная мне служба не упокоилась, а мгновенно, в неслыханные сроки произвела расследование. Что ж открылось? То был не случайный абрек и не посланный богопротивным Шамилем фанатик. О нет! Всё оказалось куда серьезней. Это, сударь мой, заговор, подготовленный врагами не внешними, а внутренними. Теми самими, которым не по нраву самое устройство нашей державы. Представьте себе, что горец, залегший над дорогою с двумя винтовками, является кунаком и наперсником одного субъекта, который давно со всеми своими связями находится под пристальным моим наблюдением. Именно сия моя предусмотрительность и позволила нам обнаружить всё змеиное гнездо почти в одночасье, так что к прибытию его сиятельства я уж смогу преподнести дело совершенно раскрытым.

– Галбацы убит? – перебил Никитин, впервые за все время разомкнув уста.

Честноков расхохотался.

– Другой на моем месте тут вскричал бы: «Ага, голубчик! Ты сам себя выдал!» А за дверью у меня сидел бы протоколист, который сие невольное признание вмиг записал бы. Но я-то знаю, что это вы всего лишь явили

быстроту ума. Сделали из вышеизложенного логичное заключение. Как раз на ваше быстроумие я и рассчитываю, но об этом, коль позволите, чуть позднее. – Майора распирало от довольства. Было видно, что беседа доставляет ему сугубое наслаждение. – Редко, знаете, доводится говорить с умным, свободным собеседником. Все со мной хитрят, юлят, в глаза со страхом заглядывают. А вы человек лихой, вольная птица, ушкуйник новгородский. Одному вам на всем белом свете и дерзну обнажить красоту своего замысла. Почитайте-ка письмецо, присланное моим мавром, который сделал свое дело и вскоре уйдет, хоть сам о том не подозревает. Из красочного этого документа всё вам станет ясно.

Взяв листок, Олег Львович пробежал его глазами. Жандарм тут же цапнул бумагу обратно, зажег было серник, но дунувший из окна ветерок загасил пламя.

– Каково? – спросил майор, отлучившись, чтоб прикрыть створку. – Оценили размах?

Глаза Никитина были лишены всякого выражения, но следили за каждым движением жандарма.

– Оценил. Что дальше?

– Как что-с? Арест конспираторов. И вот тут вступает та приятная новость, о которой я вас предварил вначале. С неприятными сообщениями мы на сем покончим. – Честноков сел на место. – Выйдет у меня одна небольшая оплошность, впрочем, извиняемая молниеносностью расследования. Предводителя заговора мы, увы, упустим. Узнав о том, что его клевет изничтожен, главный злодей в тот же миг скроется в неизвестном направлении. Теперь-то вам как человеку быстрого ума и стало всё окончательно ясно, не правда ль? И причина вызова, и приватность нашего разговора. Берите милейшую Алину Сергеевну, седлайте коней и скачите прочь, скатертью дорога. Я, сударь мой, не зверь. Мне лишних жертв не надобно. Мы-то с вами отлично знаем, что никакого заговора не было и нет. Что ж вам зря страдать? Опять же ничего интересного на следствии вы все равно показать не смогли бы. Но и оправдаться, конечно, тоже не сможете. Очень уж этот ваш заговор придется ко двору высокому начальству. Я ихний интерес отлично понимаю-с. Бегите, батенька. Скрывайтесь. Три часа вам даю форы. Даже четыре – от щедрот моих.

Но Олег Львович с места не поднялся.

– У меня, я полагаю, есть сообщники? – медленно спросил он.

– Само собой. У меня целый списочек приготовлен. Но вы об них не думайте, вы лучше о себе позаботьтесь. Бегство главаря всем будет на руку:

и вам, и мне, и арестованным. Мы всё на вас одного свалим, все оборванные ниточки к вашей фигуре сведем. Остальным от этого облегчение выйдет, так что своим исчезновением вы еще и людям поможете. Ну, не теряйте времени. Как говорится, с Богом! – Майор крупно перекрестил Никитина. – Скажите только, в какую сторону скрываться станете, – я отправлю погоню в противоположном направлении.

Тут прапорщик наконец поднялся, но еще не уходил.

– Если я правильно понимаю, вы желаете лично доложить министру о заговоре?

– Именно что лично. Прямо сейчас и помчу навстречу его сиятельству. – Жандарм вынул новую спичку. – А вам выражаю искреннее свое восхищение. Выслушали всё без истерик, без эмоций. Ни один мускул не дрогнул. На следствии вы нам определенно ни к чему. Исчезайте. Навсегда.

– И письменного донесения о заговоре министру вы еще не отправляли? – зачем-то всё выпытывал Олег Львович.

– Помилуйте! Весь эффект пропадет.

Тогда Никитин тихо, сам себе сказал:

– Безусловная, беспримесная гадина.

– Что-с? – удивился майор.

Прапорщик схватил со стола бюст императора, довольно изящно размахнулся и проломил майору висок крылом бронзовой каски.

На папки, на бумаги хлынула кровь. Жандарм, закатив глаза под самый лоб, прополз грудью по столу и свалился на пол.

«Зигзаг, снова зигзаг», – шептал Олег Львович, быстро шагая по коридору и пряча в карман донесение чешноковского агента.

Алина Сергеевна Незнамова

Обед остыл. Разогревать приготовленные в кляре раковые шейки – только губить блюдо. Коротая годы одиночества, Алина часто воображала, как они заживут одним домом и, чтоб быть во всеоружии, научилась готовить не хуже привозных французских поваров. Даже известие о раковых шейках не застало ее врасплох. Наташа была послана на базар и вернулась с полуведерком черных клешастых тварей. Тесто удалось на славу, не разочаровала новая сковорода, не подвел и сливочный соус. Потому-то хозяйка и сердилась.

Это состояние наполняло душу счастьем. Муж (да, именно муж!) задерживается по служебным делам, из-за этого пропали кушанья. Обыкновенная семейная неприятность. Это ль не счастье?

Потом он придет, всё объяснит, будет просить извинения. Она его сначала выбранит, потом простит. Они помирятся и будут, смеясь, есть холодное липкое тесто. Счастье! Вечернее меню обсудят вместе – надо же знать, как угодить гостям Олега Львовича. Снова счастье!

В ожидании она начала решать трудную проблему: как они станут друг дружку называть. Не все же на «вы» да по имени-отчеству. Сначала, наверное, он станет говорить просто «Алина», однако это слишком сухо. Любящие супруги, когда нет чужих, всегда обращаются один к другому как-нибудь по-особенному. Какое ласковое имя изберет он: Аля или Лина? Этот вопрос ее волновал. «Аля» и «Лина» – две совершенно разные женщины. Аля представлялась ей милой домоседкой, хозяйственной хлопотуньей. Лина – возвышенной светской дамой, далекой от всякой прозы. Какой из двоих он захочет ее видеть, такой она и станет.

А он всегда будет только «Олег». Твердое имя, негибкое. В детстве, когда Алина еще не знала своего дальнего родственника, ей воображался какой-то сказочный варяг. Это теперь благодаря Пушкину развелось видимо-невидимо Олегов, а двадцать лет назад днем с огнем было не сыскать. Кажется, Никитин-отец увлекался стариной и древними летописями, оттуда и выудил экзотическое прозвание.

Со вчерашнего дня, с того самого момента, когда Никитин пообещал, что они больше никогда не расстанутся, в сердце Алины поселилось великое спокойствие. Ей хотелось только одного: благодарить Бога, судьбу и людей, которые сделали это счастье возможным.

Была особа, перед которой Незнамова чувствовала себя в неоплатном

долгу, – великодушная и щедрая Дарья Фигнер. Прямо с утра Алина послала к ней записку. Послание взяли, но сказали, что барышня еще вчера уехала и неизвестно, когда вернется.

Вдруг – в разгар переживаний из-за остывшего обеда – калитка открылась. Во двор вошла очаровательная блондинка, с которой Алина три месяца назад видалась на бирюлевской почтовой станции.

Радостно вскрикнув, хозяйка бросилась встречать свою благодетельницу.

Та выслушала горячие слова признательности с понятным для деликатной девушки стеснением. Сказала, что только-только вернулась из поездки, прочла записку и решила немедленно явиться. Дарья Александровна была очень бледна – видимо, поездка ее утомила.

Прошли в комнату, где Алина устроила столовую-гостиную.

– Как удачно, что вы пришли именно теперь! Не угодно ль отобедать? Будет кому оценить мои кулинарные способности. Я только немного оживлю соус. Олег Львович присоединится к нам позже. Я даже рада, что его пока нет. Нам о стольком нужно поговорить!

– Я знаю, что его нет, – сказала Дарья Александровна, покачав головой в знак того, что есть не хочет. – Я видела из окна, как он шел к гостинице «Парадиз». Потому и пришла. Есть кое-что, в чем я обязана перед вами повиниться...

– Вы? Предо мной? Ах, милая Дарья Александровна...

– Я не милая! – Голос девушки зазвенел, на ресницах блеснули слезы, на щеках проступили розовые пятна. – Я низкая интриганка! Я предательница! Вы доверились мне, поручили моим заботам самый смысл вашего существования, а я... – Она закрыла лицо руками. – Нет, я не могу смотреть вам в глаза...

– О чем вы говорите? – растревожилась Незнамова. – Я не понимаю!

– Я влюбилась в Олега Львовича, – глухо донеслось из-под сдвинутых ладоней. – Мало того – у меня не хватило сил побороть свое чувство, и я... Я попыталась добиться его взаимности... Вам нечего опасаться. Он отверг меня. Он вел себя безупречно. Но я! На какие мерзости оказалась я способна под воздействием страсти! Знаете, я не могла потом оставаться в отцовском доме. Стыдилась стен, которые были свидетелями моего позора! Я сорвалась ехать в Петербург. Но по дороге поняла, что от себя сбежать невозможно. Я должна вернуться, честно вам во всем признаться. Принять от вас заслуженные упреки и презрение. Может быть, тогда я сумею стать прежнею Дашей...

Бурную исповедь Алина слушала с волнением, схватившись рукой за

сердце. Когда же речь бедной девушки оборвалась рыданиями, она воскликнула:

– Я не виню вас! Вы – женщина, чувства в вас сильнее рассудка. Я сама такова. А он – лучший мужчина на всем свете. Было б странно, если б вы не потеряли из-за него голову. Я не испытываю к вам презрения – лишь одно сочувствие, поверьте!

Она взяла барышню за плечи, и обе заплакали, обнявшись.

– Пусть вы будете счастливы, вы выстрадали свое счастье, – горячо шептала Даша. – И скажите ему, что я прошу у него прощения. Больше ни вы, ни он меня никогда не увидите!

– Отчего же? Вы одержали над собою победу, когда решились всё мне рассказать. Теперь мы трое можем быть дорогими друзьями! Ах, вот и Олег! – Алина показала в окно. – Скорее вытрем слезы. Он ничего не должен знать.

Девушка вся задрожала, обернулась. Ее мокрое лицо выражало страх.

Во двор действительно вошел Никитин, однако проследовал не во флигель, а к капитану Иноземцову.

– Слава Богу! Господь сжалился надо мной, – пролепетала Даша. – Теперь я успею уйти. У меня нет сил его видеть. Поймите...

Алина не стала настаивать. С сочувствием и печалью поглядела она на бедняжку.

– Вы можете выйти через спальню. Там дверь в задний двор и еще одна калитка, в переулок. Служанку я послала в лавку за покупками, вас никто не увидит.

– Прощайте...

И Дарья Александровна скрылась за открытой дверью соседней комнаты. Алина немного постояла, грустно качая головой, и стала разжигать спиртовую горелку.

«По крайней мере, соус будет горячим. Еще лучше настоится», – думала она, помешивая в кастрюльке и не замечая, что напевает. Эмоциональная сцена со слезами не испортила ей настроения.

Раздались шаги, звякнули ножны сабли. Незнамова улыбнулась. Она знала, что первыми словами будет: «Простите меня. Иначе было нельзя».

Никитин вошел, виновато потупился.

– Прости меня. Я совершил нечто непоправимое. Иначе было нельзя.

По позвоночнику Алины пробежал холод. Внезапно обессилев, она опустилась на стул.

Коротко и ясно, в две или три минуты Олег Львович объяснил, что произошло. Местный жандармский начальник майор Честноков из

карьерных видов изобрел несуществующий заговор. Галбаций убит. Товарищам Никитина и, вероятно, многим из числа бывших каторжан грозил арест. Чтобы спасти их, выход был только один – истребить негодяя майора, пока тот не доложил о своей каверзе начальству. Когда обнаружат тело, подозрение сразу падет на последнего визитера – прапорщика Никитина.

Он сообщил еще несколько подробностей и умолк.

Всё это время Алина смотрела на зажатую в пальцах ложку. Но поняв, что рассказ окончен, подняла голову. Совсем недавно, во время объяснения с Дарьей Фигнер, по ее щекам потоком лились слезы, но теперь глаза были сухи.

– Вы убили человека?

– Не человека – гадину. Пока она не перекусила своими ядовитыми клыками неповинных людей. Поверьте, Алина Сергеевна, ничего другого сделать было нельзя!

– Я в этом не разбираюсь и, конечно, вам верю. Но ведь вы обещали мне, что всё будет хорошо!

Он вздохнул.

– Нет, это сказали вы. Я лишь обещал, что мы никогда не расстанемся.

– Да как же?! Ведь вам надо бежать!

– Мы уедем вместе. Мой друг капитан Иноземцов – я только что с ним переговорил – увезет нас на своем корабле в Новый Свет. Правда, сначала нам придется ненадолго разлучиться. Вы отправитесь в Крым обычным путем: по проезжему тракту до Тамани. Я же совершу путешествие через черкесские горы. Это немирная территория, там погоня нестрашна.

– Вы не смеете мне этого предлагать. Вы дали слово, что мы никогда не расстанемся.

– Разлука наша будет недолгой. А ехать со мной через горы вам будет тяжело. Да и опасно. Вы женщина разумная и, конечно же, на одну неделю освободите меня от обещания.

– Ни за что на свете! – отрезала Алина. К ней почти вернулось спокойствие. – Чтоб я сходила с ума, не зная, доберетесь вы до моря или нет? Не расставаться, так не расставаться. Верхом я езжу хорошо. Немного боюсь высоты, но это женские глупости.

Никитин вздохнул, однако спорить не посмел. Хорошо все-таки иметь дело с человеком слова.

– Как угодно... Вы не беспокойтесь, дорогу я знаю. Там только один высокий обрыв, у висячего Сандарского моста. Я переведу сначала лошадей, потом вас. – Он начал быстро расстегивать мундир. – Ну, коли

ехать, не будем терять времени. Я скажу, что нужно взять.

– Только одно еще, – остановила его Алина. – Если я верно поняла, у вас есть записка, изобличающая этого жандарма и его помощника, забыла имя...

– Подписано «Эмархан».

– Да-да. Разве она не оправдает вас перед властями?

– Убийству жандармского штаб-офицера не может быть оправданий. К тому же мерзавец был прав: подобный заговор выгоден слишком многим. Записку я взял на случай, если нас все-таки схватят. По крайней мере, она избавит меня от смертной казни. А на каторге я уже бывал. Выберусь.

Совершенно удовлетворенная объяснением, Алина спросила: как ей одеться.

– Сейчас объясню. Но сначала...

Он приблизился, прижал ее к себе, и они соединились в долгом поцелуе, от которого Алина едва не задохнулась.

– Боже, как я с тобою счастлива! – пролепетала она.

Он весело ответил:

– У нас будет время поговорить об этом в дороге.

Два моления

Вспоминанья старины,
Как соблазнительные сны,
Его тревожат иногда...

Александр Полежаев

Моление двум Сысоям, благодарственное

Житие Сыся Авдеича было долгим и всяким. В первых двух третях бурномутным и суетным, в последней трети – благодарственно-молитвенным. В просветленном возрасте всё-то он Бога славил, ни одного говенья не пропускал, а на шестое июля, день поминовенья двух Сысоев – Сыся Великого и Сыся схимника Печерского – ставил каждому из сих угодников по свече в полпуда. Кто из святых мужей оборонил грешника от лютыя погибели, доподлинно было неизвестно. Потому Сысой Авдеич обоим в одинакости себя и преклонял. Небесные покровители, один из которых был дикий пустынный, второй – богобоязненный плотеумерщвленник, определили всю жизненную планиду своего тезоименца. Первую часть бытия провлячил он воистину в дикости, средь пустынь, кишаших скорпионами да аспидами, вторую же посвятил раскаянию, посту и молитве.

В пустыне, а верней сказать, в пустынном диком краю, именуемом Кавказом, вел Сысой Жуков жизнь нехорошую, алчно-стяжательную. Только о сокровищах тленнопреходящих и помышлял, об истинном же богатстве, духовном, нисколько не заботился. Был он тароват, хватист и хоть храбрости в себе никакой не наблюдал, но с лихвою окупал сей недостаток неукротимой бойкостью. Граница мирных и немирных территорий открывала перед человеком предприимчивым самые разнообразные возможности.

Дело прошлое, давным-давно отмоленное, земными властями позабытое, Господом Богом прощенное: барыш свой Жуков добывал тем, что хаживал тайными тропами с нашей стороны на черкесскую. У разбойных адыгов по малой цене перекупал грабленное, брал контрабандный товар с турецких фелюк, а к нехристям доставлял, чего попросят. Платили они щедро, звонкой монетой. Тогда многие купцы, кто поотчаянней или пожадней, такими делами промышляли.

Страхов Сысой Авдеевич перетерпел немало, но и прибыль имел завидный. Дал он зарок, на святой иконе: двенадцать раз судьбу испытаю, а после ни-ни. Если б исполнил, был бы цел-здоров. Двенадцать ходок сошли ему почти безбедно – если не считать двух кратких тюремных неприятностей. Но дверь темницы легко и не столь дорого отпиралась золотым ключиком, так что это почти не в счет.

Однако тяжко согрешил Жуков против данного обета. Позвали его

лихие товарищи, кислозерские купцы, в выгодную поездку к абазехам, и не устоял он, слабый человек. Прибыль сулилась сам-шест. Сбились они для безопасности в большой караван, и всё поначалу заладилось – лучше не бывает.

Но тринадцать – число известно какое.

На обратной дороге свалил Сысой Авдеича приступ жестокой лихорадки. И трясло его, и несло, и жарило. Испугались компаньоны – не холера ли. По виду Жуков не жилец был, словно бы отходил уже. Товарищи не стали ждать, места-то недобрые. Перекрестили без пяти минут упокойника, накрыли буркой, какая подранее, и отправились дальше. Товар и деньги, Жукову надлежащие, с собой взяли – поделить. Мертвецу оно зачем?

А это не холера была. Просто Сысой Авдеич где-то несвежего поел. За ночь он отпотелся, за день отлежался, да и встал. Ноги слабые, пошатывается, но идти можно.

Хорошо, до русских земель уже не так далеко было. Лишь до висячего моста добрести, а за ним горы вгладь пойдут, там спокойно.

Брел он, бедный, по тропе. Молился то одному Сысою, то другому. Тут еще важно, что день был как раз шестое июля. Жалел Жуков себя, злосчастного именинника, плакал, тревожился, сумеет ли у воров-товарищей добро свое изъять.

Не о том он, дурень, беспокоился.

Сандарский мост – дощатая лента над пропастью меж веревчатых перил – был Сысою Авдеевичу хорошо известен. На пути в черкесские земли и дальше к черноморскому берегу мост этот никак не минуешь. С двух сторон крутой обрыв. Внизу, далеко, дух захватывает, ревет и пенится река. Место скверное. Первый раз Жуков от страха на коленках переползал. Потом привык. Доски были хоть на вид хлипкие, но не то что человека – навьюченную лошадь держали.

Добредя с черкесской стороны до пропасти, Жуков вознес небесным покровителям благодарствие, через мост просеменил отважно. От несказанного облегчения востребовалось ему облегчиться еще и в телесном смысле. Как человек приличный, прямо на дороге он дела делать не стал. Отошел в сторонку, присел в кустах. Вдруг, невзначай, голову поднял – а там, над облюбованным им местом, склон лесистый. И среди листов-веток что-то чернеется.

Пригляделся Сысой Авдеич – батюшки! Папаха косматая, а под нею длинное дуло горского ружья.

Подхватил порты, хотел бежать – какое там. Захрустело, затрещало в

зарослях. Догнали раба божьего, по головушке стукнули, наземь повалили.

Увидел он над собою рожи страшные, черные, бородатые. Абреки, четверо. Потом еще двое спустились. Один нарядный, с острой бородкой, с крюкастым носом. Другой жирный, кривошей, с бабьей мордой.

Заговорили лихие люди меж собой по-черкесски. Наречие это Сысою Авдеевичу было известно, по коммерческой необходимости.

Носатый у них, видно, был главный.

– Что ждете? – сказал он. – Этот русский видал нас. Предупредит.

Над головой окоченевшего Жукова сверкнул преогромный кинжал. Вместо того, чтоб прочесть отходную, Сысой Авдеич зажмурился и не своим голосом взвизгнул.

– погоди, Байзет, – раздалось откуда-то издалека, будто со дна морского. – А ну поднимите его.

Грубые руки взяли погибающего под мышки, поставили на ноги.

Главный душегуб впился в него злющими черными глазами, будто заколдовать хотел.

– Кто таков? – спросил по-нашему.

– Сысой Великий, Сысой Печерский, – бормотал Жуков, ничего не понимая.

– Ты что за человек, Сысой? – Откуда-то колдун прознал, как зовут раба божьего. – А, сам вижу. Ты человек, который помирать не хочет.

И засмеялся.

Жирный – он стоял сбоку – молвил на лезгинском (этот язык Сысой Авдеич тоже понимал, доводилось бывать в тех краях):

– Великий у тебя ум, Эмархан. Я догадался, чего ты хочешь!

Четверо остальных лезгинского, похоже, не знали. Они стали спрашивать начальника на черкесском, почему он не дает зарезать русского.

– Тот, кого мы ждем, хитер и осторожен, – ответил им Эмархан. – Мимо места, удобного для засады, наверняка промчит вскачь. Трудно будет целиться. Если промажем или только раним, плохо. Стреляет он, как шайтан.

– На все воля Аллаха, – сказал Байзет. Он среди четырех черкесов годами был старший.

– Аллах помогает умным.

И главный злодей снова перешел на русский:

– Что тебе дороже, Сысой, – жизнь или нога?

– Жизнь, ваше степенство, – не замедлился с ответом Жуков.

– Ну тогда терпи.

Эмархан кивнул толстяку. Тот взмахнул ружьем. Кованый приклад с

размаху опустился на лодыжку Сыся Авдеича. То-то больно! Заорал он, сердешный, повалился.

– Сейчас не кричи, потом кричи, – наклонился над ним крюконосый мучитель. – Если жить хочешь. Подъедут двое. Вот тогда плачь, проси помощь. Христом-Богом и по-всякому, как у вас принято. Ты меня понял или нет?

Говорил он негромко, но до того страшно, что Жуков и орать позабыл. Хотел спросить, зачем это, но не осмелился. Обещал всё в точности исполнить, только пусть больше не бьют, не терзают.

Вдруг донесся частый стук. С русской стороны на дорогу вылетел конный в стелющейся по ветру бурке.

– Едут! Едут! – закричал по-черкесски. – Из ущелья! Двое! Один в черном! Другой в белом!

– Мужчина в чем? – спросил Эмархан.

– Не поймешь. В башлыках они.

– С коня спустится мужчина, – сказал главарь. – В него и стреляйте. Если же оба останутся в седле или оба спустятся, в черного целим я, Реза и Байзет. Остальные четверо в белого. С пятидесяти шагов по неподвижной мишени такие джигиты, как вы, не промахнутся.

Черкесы переглянулись.

– Ты не говорил, что их будет двое и что там женщина. Убивать женщину – харам.

Это сказал Байзет.

– Я говорил, что за голову этого человека дают тысячу рублей. На самом деле три. Хотел остальное себе взять. Но так и быть, все три тысячи будут ваши.

Черкесы загалдели промеж собой, а толстый Реза по-лезгински шепнул (Жуков слышал):

– Господин, как можно? У нас совсем нет денег.

– У него письмо, которое может стоить мне жизни, – так же тихо ответил Эмархан. – Пусть грязные псы забирают выкуп себе.

Черкесы закончили спорить.

Старший, прищурясь, спросил:

– А русские с наградой не обманут?

– Нет. В бумаге написано: три тысячи тому, кто доставит его или его голову. Этот человек убил большого начальника. Я ручаюсь, что деньги будут ваши.

(По-ихнему это звучало «даю свою правую руку»).

Ручательство успокоило остальных.

– Пусть все они переубивают друг друга, – сказал Байзет. – На место, джигиты!

Кроме Эмархана все побежали вверх по склону, в заросли.

– Если он не слезет с коня, я тебя, как барана, зарежу, – сказал напоследок Сысою Авдеичу жуткий человек.

И тоже убежал.

Остался страдалец лежать посередь дороги. Боялся пошевелиться, нога казненная пылала огнем. Но не кричал Жуков, силы берег. Только поскуливал. И молился, всё время молился святым заступникам.

Минут пять прошло или десять – показались из-за поворота два всадника. Эмархан угадал: близ лесистого склона, вплотную подходившего к дороге, они запустили быстрой рысью.

Жуков приподнялся на локте, другой рукой замахал. Один конник был в белой бурке и белом башлыке, другой во всем черном. Только шагах в двадцати стало видно: черный – с малыми усишками, а белый – баба. Бесстыдница была в портках и сидела обоконь, как женскому полу неприлично. Притом не черкешенка какая-нибудь, русская.

Когда Сысой Авдеич жалостно возопил: «Помогите люди добрые!», она тонко вскрикнула: «Милый, смотри!». Не разглядела раньше – и то сказать, валялся калека в пыли, пылью же весь перепачканный, будто ворох грязного тряпья на дороге.

Тот, кого баба назвала «милый», придержал коня, но вовсе не остановился, только перешел на шаг.

– Что с вами? – крикнул.

– Упал с коня, расшибся, ногу поломал! – прохныкал Жуков приговоренное. – Христа-Господа ради окажите милосердное воспомоществование!

– Нужно ему помочь. – Женщина натянула поводья. – Отвезем его в то селенье, что мы давеча проезжали.

Мужчина отвечал:

– Нельзя возвращаться. Опасно. – Он зорко оглядывался по сторонам. – Подняться можешь? – Это он уже Сысою Авдеичу. – Подсажу к себе. На ту сторону моста переедем – погляжу, что у тебя с ногой.

Ага, так и разбежался Жуков подсаживаться! Чтоб с ним заодно быть пулями продырявленным?

– Ой, моченьки нету! – заплакал он. – Ой, пропадаю, сердешные! Помогите чем можете! Вас за то Бог наградит!

И баба, не дожидаясь, что усатый решит, спрыгнула на землю.

Ой, пальнут сейчас нехристи, перепугался Сысой Авдеич и пополз к

обочине, по-рачьи.

– Хорошо, Алина, – сказал черный и тоже спешился. – Будь по-твоему. Я привяжу его ногу к суку, оставлю ему воду, но ничего больше для него мы сделать не можем... Куда ты, чужак? Что ты всё отползаешь?

Тут как-то жажнет! Будто десяток дровосеков разом вдарили в топоры, только громче. И по горам перекачисто зашумело: трах-тах-тах-тах.

Баба как стояла, так без звука и повалилась. А мужчина качнулся, но устоял. В руке у него откуда ни возьмись появился двухствольный пистолет.

– Гадина! – процедил раненый и нацелил Жукову в лоб.

Тот, бедный, взрыдал:

– Заставили меня! Ногу поломали! Сысой Великий, Сысой Печерский!

Страшным взглядом уставился на него усапый, но выручили угодники – не выстрелил.

Поднял бабу на руки. Шатаясь, подошел к лошади. Перевалил недвижимое тело через холку. С трудом поднялся в седло. Лягнул конские бока.

Горские абреки свои ружья перезаряжают сноровисто – всем про то ведомо. А и лошадь под двойной ношей разгонялась небыстро. Перед самым мостом она была, когда грянул второй залп.

Кувыркнулась подстреленная животиная через голову – и прямо в пропасть, вместе с поклажей. А мужчина в черном, хоть тоже свалился, но остался у обрыва, на самом краю. Тихо лежал, не шевелился. Убили, стало быть.

Через кусты с хрустом и топотом бежали разбойники. Впереди главный душегуб в красной черкеске, локоть в локоть с ним толстяк, потом остальные пятеро.

Шагах в десяти от застреленного Эмархан остановился и еще дважды пальнул из пистолета – надо думать, для верности. От черной бурки отлетели клочки шерсти.

– Слава Аллаху, что он в пропасть не упал, – сказал жирный Реза. – Оттуда не достанешь. Прикажешь отрезать ему голову?

– Нет, – ответил Эмархан. – Приятные дела люблю делать сам. Я отхвачу ему башку, а ты найдешь письмо.

Черкесы столпились у второй лошади: кто рылся в переметных сумках, кто снимал упряжь.

Шагнул Эмархан к покойнику, вынимая из ножен кинжал. Вдруг из-под простреленной бурки выпросталась рука с тем самым пистолетом, что едва не лишил Сысою Авдеича жизни. Щелкнул курок. На лице

остроробородого злодея появилось выражение несказанного изумления. В самый миг выстрела сбоку, по-кошачьи взвизгнув, выпрыгнул Реза – принял пулю своим обширным брюхом.

Но оружие у непокойного покойника было двухзарядное. Курок снова – щелк. Опомнившись, Эмархан попробовал увернуться от гибели – и это ему удалось. Он винтом крутнулся на каблуке, головою дернул. Хоть вовсе от пули не ушел, но жив таки остался. Это сделалось ясно, когда он весь согнулся, зажав лицо руками, и дико завопил. Меж пальцами у него густо струилась черная кровь. Но разбойный атаман не упал, а запетлял прочь, хрипя и вскрикивая. Не убит он был, только ранен.

Черкесы уж бежали к ожившему мертвецу.

Тот, приподнявшись, полз на локтях. Зачем – непонятно. Ничего кроме обрыва, куда упала лошадь с женщиной, перед ним не было.

Вот он перевесился через край, сделал последнее усилие – и исчез. Сысой Авдеич, уставший ужасаться, только крякнул.

Абреки постояли над кромкой, глядя вниз. Почесали затылки. Потом сгрудились над толстяком. Он корчился в предсмертных муках. Подошли к предводителю, у которого был начисто отстрелен его птичий нос. Покачали головами, поцокали. Старший, который Байзет, запихнул в рану ваты, потом замотал изуродованное лицо кушаком. Эмархан всё хватался за ткань руками. Видно, не мог взять в толк: как это – носа нет?

– Цепкий был джигит этот черный, – сказал Байзет. – Оставил тебе память, вовек его не забудешь. Ладно, нос – не рука, без него прожить можно. Перестань выть, ты же мужчина. Лучше растолкуй нам вот что. Головы-то у нас нет. Кто нам поверит, что мы его убили?

Эмархан промычал что-то.

– Как это «не знаю»? – рассердился черкес. – Мы свое дело честно исполнили. Ты нам три тысячи обещал! Правую руку в заклад давал!

– Где я тебе возьму? Нет у меня! – гнусаво, еле разборчиво, ответил ему замотанный.

– Что значит «нет»? А нам какое дело? Уговор есть уговор! По нашему закону знаешь, что за воровство бывает? То же, чем ты клялся – правую руку режут! Три тысячи не дашь – быть тебе не только без носа, но и без руки!

Пока они собачились, стал Сысой Авдеич потихоньку к кустам уползать. Чем бы у них свара ни кончилась, ничего хорошего для себя Жуков не ожидал. Где это видано, чтоб злодеи оставляли живым очевидца черного дела? Тем более, им христианскую душу загубить – что комара прихлопнуть.

Вдруг изверг безносый как крикнет:

– Будут вам три тысячи! Держите русского!

И догнали лиходеи несчастного Жукова, повлачили обратно.

– Вот свидетель! – промычал Эмархан. – Он для них свой. Я тоже в русской службе начальник-прапорщик. Вдвоем нам поверят. Это по их закону так положено: чтоб два свидетеля. Он на их священной книге клятву даст.

– Дам, дам! – подтвердил Сысой Авдеевич на черкесском наречии. Появилась у него, уж и с жизнью попрощавшегося, надежда. – Крест поцелую, что всё сам видал.

Пошушукались абреки, посоветовались.

Старший сказал:

– Ладно. Но к русским вместе поедем. И если ты, князь, нас обманешь, возьмем с тебя плату по-своему.

Вывели откуда-то коней. Сысой Авдеича усадили в седло лошади, на которой приехала баба-покойница.

Двинулись по дороге в российскую сторону.

Эмархан то зубами от боли скрипел, то ругался на всех языках, в том числе по русскому матерному, а то вдруг пристал к Жукову с расспросами – что он за человек, да какого состояния-сословия.

Врать ироду Сысой Авдеич не напустился. Всю как есть правду про себя обсказал, ничего не утаил.

– Ты два раза в тюрьме сидел? – переспросил замотанный, и глаза над кушаком сделались, будто черные дырья. – Так твоему свидетельству цена грош!

Хорошо, по-русски говорили – абрекам непонятно. Не то худо могло бы выйти.

– Чтоб православный крест целовал, да не поверили? – бодро молвил Жуков. – Нет у нас в России такого заведения. Всё, князь, ладно будет.

Мысль у него сейчас была одна: только б до своих добраться, а там как-нито образуется.

– Ага, ври, – кисло пробормотал Эмархан.

Совсем он духом сник, начал отставать. Ну и ляд с ним, с таким собеседником. Сысой Авдеич ехал, держась за лошадиную гриву, да моления шептал.

Потом черкесы разом как загалдят – и давай коней разворачивать. Оглянулся Жуков, видит: Эмархан во весь опор гонит к недалежному ущелью. Решил, прохвост, от собственной шайки сбежать.

Но Байзет на скаку ружье вытянул, в стремях привстал. Дым, треск – и скакун под князем вздыбился, седока сбросил. Хотел тот подняться, да не вышло. Передний из преследователей ему на плечи прыгнул, повалил, а там и прочие подоспели.

– Вор! Обманщик! Руку резать! Расступитесь, братья! Дай я шашкой! Нет, я! – орал в том толковище.

Тонко и гнусаво завопил безносый.

Однако чем у нехристей дело закончилось, осталось для Жукова неизвестно. Пользуясь тем, что все о нем позабыли, стукнул он лошадку каблуком здоровой ноги – и давай Боже прыти.

Ушел, умчался от злодеев. Спас живот бранный и душу нетленную от неминуемой гибели.

И хоть потом много лишений претерпел – охромел навечно, товар вернуть не сумел, болезнью нервической трясучкою захворал – но не роптал на судьбу, а лишь Бога славил. В горы никогда больше не ездил, имущество всё продал, да переселился с лихого Кавказа в блаженные места, на Волгу, в город Мышкин. Там, тихою мышкой, дожил Сысой Авдеич до почтенных лет, как говорится, «премного моляся и постом обуздавше страсти своя». Всем, кто слушать желал, рассказывал, и не по разу, про ужасное свое приключение и про то, как единственно верой от жестокой смерти уберется. А на двух Сысоев неотступительно по свече полупудовой возжигал, не скупился.

Моление Деве Марии о милосердии

Дева милосердная, день за днем молю Тебя об одном и том же. Ты знаешь, я никогда ни о чем ином Тебя не просила и не попрошу.

Я знаю, Ты – Пречистая, Ты никогда не любила грешной земной любовью, но Ты – Заступница. Заступись за меня, вымоли мне прощение, яви чудо.

Ты знаешь, я была не в себе, я лишилась рассудка от боли и оскорбления, я не могла ни есть, ни спать, ни даже плакать.

Это сотворила не я! Это сделал бес, это сделала темная сила, на время завладевшая моей душой. Я не оправдываюсь, не пытаюсь себя обелить. Я отлично знаю, что мне не может быть ни снисхождения, ни прощения, и все же не устаю просить Тебя о милости.

Умоли Своего Сына простить меня! Вот я бью себя кулаком в грудь и повторяю одно и то же, одно и то же, много лет.

Пусть Он простит меня за то, что я тогда не ушла через двор, а осталась подслушивать.

Пусть Он простит меня за слепую ненависть, которая меня захлестнула, когда они обнялись и заговорили о своем счастье.

Пусть Он простит меня за то, что я побежала на постоянный двор.

Пусть Он простит меня за то, что я всё рассказала страшному крючконосому человеку, а когда почувствовала, что он колеблется, помянула и о записке.

Пусть Он простит меня за облегчение, которое я после этого испытала, и за крепкий сон, которым уснула, вернувшись домой.

Я довольно наказана. Всю жизнь я прожила в отвращении к себе, утратив дар любви. Я не умела полюбить ни мужа, ни детей. Я никогда Тебя за них не просила, потому что это ослабило бы силу единственного моего моления.

Дева милосердная, мне нужно только одно.

Когда я умру и всё сокрытое откроется, все двери распахнутся и все тайны разъяснятса, пусть я узнаю, что мое предательство их не погубило, что Эмархан не подстерег их и что они нашли свое счастье в дальнем краю.

notes

Примечания

1

«Искусство стрельбы» (фр.).

Четырнадцатого – от фр. quatorze

3

Удар молнии (фр.)

4

Она так прекрасна! Словно видение... (фр.).

5

Круг, среда (фр.).

6

Горбатого могила исправит (*фр.*).

7

Нахальство (*фр.*).

Азартные игры; игры, зависящие от удачи (*англ.*).

Ну-ка, ну-ка! (фр.).

10

Псевдоним (фр.).

11

Я человек и ничто человеческое... (*лат.*).

Романтическая связь (фр.).

13

Зададут нам «жару» (*фр.-рус.*).

Капитан третьего ранга (*фр.*).

Туда им и дорога (*англ.*).